

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

4

НОВЫЙ
МИР

1999

4

1999

НОВОЛЫТИ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4(888)

Апрель, 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| БОРИС ЕКИМОВ — Пиночет, повесть | 3 |
| ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Блуждающий зуммер, стихи | 44 |
| ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — День писателя, рассказ | 49 |
| ВЕРА ПАВЛОВА — Логопедия, стихи | 64 |
| ГЕОРГИЙ БАЛЛ — Лодка. Мистерия | 67 |
| ИЛЬЯ ФАЛИКОВ — На морском велосипеде, стихи | 97 |

ПОЛЕМИКА

| | |
|--|-----|
| ВСЕ ПРО ТОТ ЖЕ «ТРЕТИЙ ПУТЬ». Александр Носов — Татьяне Чередниченко. Татьяна Чередниченко — Александру Носову | 102 |
|--|-----|

МИР НАУКИ

| | |
|--|-----|
| ГЕНЕТИКА, ОБЩЕСТВО, БИОЭТИКА. Леонид Корочкин. В лабораториях генетики; Ирина Силуянова. Пародия на бессмертие | 110 |
|--|-----|

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

| | |
|--|-----|
| «РЕЧЬ НЕ О КНИГАХ, А О ЖИЗНИ...». Переписка Фридриха Ницше с Готфридом Келлером, Георгом Брандесом и Августом Стриндбергом. Перевод с немецкого, вступительная статья и примечания Игоря Эбаноидзе | 130 |
|--|-----|

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

| | |
|--------------------------------------|-----|
| А. СОЛЖЕНИЦЫН — С Варламом Шаламовым | 163 |
|--------------------------------------|-----|

ОПЫТЫ

А. С. Пушкин. 1799 — 1999

| | |
|--------------------------------|-----|
| ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ — Пьеро Белкин | 170 |
|--------------------------------|-----|

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

| | |
|---|-----|
| СЕРГЕЙ АНТОНЕНКО — Поколение, застигнутое сумерками | 176 |
|---|-----|

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

По ходу текста

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Жизнь врасплох 186

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Мария Ремизова. Ирония, вернейший друг души 193

Дмитрий Быков. Трогательная книга, или О вреде твердой обложки 195

Сергей Ларин. Язык тоталитаризма 200

В. К. О попытках «завершить» Французскую революцию 205

Валерий Липневич. — Афанасий Мамедов. На круги Хазра. Повесть 208

Дмитрий Бавильский. — Игорь Клех. Инцидент с классиком 210

Олеся Николаева. — Абрам Терц. Кошкин дом. Роман дальнего следования 212

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — А могло бы быть иначе? 215

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«...У ВАС ЕСТЬ ЧИТАТЕЛИ!..» 219

«НЕСКОЛЬКО ЛИЧНЫХ ПРИМЕЧАНИЙ...» 226

ПРЕМИЯ

МАКСИМ АМЕЛИН — Краткая речь в защиту поэзии 228

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко) 230

Периодика (составитель Андрей Василевский) 232

SUMMARY 240

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ДЖОРДЖУ СОРОСУ,
ВСЕМ СОТРУДНИКАМ ИНСТИТУТА «ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО»
(ФОНД СОРОСА) И ЕГО ПРЕЗИДЕНТУ
ЕКАТЕРИНЕ ЮРЬЕВНЕ ГЕНИЕВОЙ
ЗА ПОСТОЯННУЮ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ В РАМКАХ
МЕГАПРОЕКТА «ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 4631 экземпляр журнала «Новый мир».

БОРИС ЕКИМОВ

*

ПИНОЧЕТ

Повесть

1

Новый год обернулся двойным праздником: Катерина — родная сестра хозяина — приехала погостить из далекой Сибири, правда ненадолго, проездом. Корытин сам ездил на станцию, к поезду, ее встречать и привез прямо к накрытому столу.

Сестра на родине не гостила давно. Было о чем поговорить. Вот и просидели у елки далеко за полночь, пели и даже танцевали под музыку.

Но по привычке и обычаю людей немолодых сестра хозяина все равно проснулась довольно рано. За окном лишь синело, а в доме горел электрический свет. На кухне хозяйка мыла посуду после праздничного стола.

— Разбудила тебя? — спросила она гостью. — Вроде старалась не шуметь.

— Тоже рано встаю, — ответила ей невестка. — Всех ведь надо поднять, накормить, проводить и самой на работу. А братушка мой спит?

Хозяйка невесело усмехнулась:

— Братушка твой и не ложился, считай. В пять часов укатил. — И, рассеивая недоуменье, объяснила: — На дойку, на фермы, как всегда.

Гостья уже подзабыла колхозные председательские обычаи, но даже вспомнив, все равно удивилась:

— И даже сегодня?

— Каждый день, — со вздохом ответила хозяйка. — Ни выходных, ни проходных. А в праздники — вовсе. В котельных не напились бы. Все заморозят. Времена такие... — Оборвав себя, она смолкла, поглядела в окно: не едет ли?

За окном, синяя, занималось утро нового, молодого дня.

Не торопясь женщины мыли посуду, пили чай, говорили о жизни, о детях. У гостыи и у хозяев они уже были взрослыми. А жить нынче непросто. Раньше молодым одно твердили: старайся, учись. Закончишь институт — станешь человеком. Нынешнюю гостью, сестру хозяина, в свое время, после медицинского института, направили в Сибирь. Там она замуж вышла, там обжилась, теперь уж навек. А нынче — иное...

Пока разводили тары да бары, на улице развиднелось. Потом розовое солнце поднялось из белых снегов. Наконец подъехал и жданный. Рыкнула машина, выскочил навстречу ей лохматый кобель Тришка. Но хозяину нынче был недосуг с ним баловать, он в дом спешил.

— Сеструшка! — громко позвал он, лишь на порог ступив. — Ты — живая?! Головочка не болит с похмелья?

Они заспешили друг к другу, словно не было встречи вчерашней там, на вокзальном перроне. Корытин обнял сестру, нежно целуя. И она при-

жалась к нему щекой. И через морозный и терпкий бензиновый и скотий запах, исходящий от Корятина, и через пахучую сладость и горечь женской косметики они оба чувляли их навеки роднящий дух близкого человека.

Корятин и гостя его были не просто братом и сестрой, но еще и близнецами.

Большие серые глаза — наследство матери, — рисунок бровей, губ, прямого носа, мягкого подбородка, каштановые, в крупное кольцо, волосы... Они были очень похожи, особенно в юности. И прежде, и даже теперь природа старалась сблизить их настолько, насколько это позволял разделявший их пол. Всегда была заметна некоторая резкость черт у сестры, излишняя мягкость — у брата.

От рождения они были вместе. Десять лет отсидели за одной партой в школе. Потом пути разошлись: сельхозинститут — у Корятина, у сестры — медицинский. А потом она уехала в Сибирь и осталась там. Последние годы вовсе не виделись.

То ли завтрак это был поздний, то ли ранний обед, но сидели за столом долго. Рассказывали, расспрашивали, глядели друг на дружку при дневном уже свете. Конечно, годы брали свое: сорок пять лет — не шутка. Но и брат и сестра смотрелись хорошо. Особенно Катерина. Время смягчило резкость черт, сделав лицо женственней. У брата секли лоб морщины, появилась редкая, но седина. Однако он оставался все тем же: густая копна волос, глаза, улыбка — девкам присуха, бабий баловень — Корятин.

Наконец встали из-за стола. День разгорался ясный, солнечный, с легким морозцем. Прямо на заказ: новогодний подарок — не день.

— Поехали, — со вздохом сказал Корятин, и сестра поняла его: к родителям, на кладбище.

Поняла и быстро сыскала в своих вещах привезенный букет искусственных цветов.

Председательская «Нива» стояла возле дома. Корятин ее сам водил. Дорога на хуторское кладбище была расчищена, хоронили и зимой.

Доехали, оставили у ворот машину. Могилки были заметены снегом. Все кладбище — вровень, лишь кресты да пирамидки торчат. Но расчищать, тревожить кладбищенский покой не стали. Прошли, постояли, поглядели на портреты, Катерина всплакнула. Как давно ушла мама... Ее моллодою хранила память. Отец помнил на больничной койке, исхудавший вконец. А здесь — при костюме и галстукe, и лицо еще нестарое. Были — и нет их. Даже могилки — под снегом.

Постояли, повздыхали, прикрепили к портретам яркие неживые цветы, покрошили и сыпанули вокруг печенье для птиц, каких вовсе и не было. Все исполнили, как хотели и как было положено, и ушли.

А в машине Корятин спросил:

— Может, на хутор сбегает?

— Да-да, поехали... — согласилась Катерина, потому что это было так кстати: проведая покойных родителей, проведать родину — хутор Зоричев, где родились и жили когда-то в ранней младости.

Проехав окраиной, выскочили в степь. Черная, прямая как стрела лента асфальта лежала меж снегов. Белая степь, под солнцем, слепила глаза.

В невеликом хуторе Зоричев когда-то начинали жить, там — детство. Он и сейчас был таким же, этот степной хуторок: на краю темнели постройки, базы колхозных ферм; дома — редкой россыпью; старые почерневшие вербы над заметенной снегами речкой. Вся округа — в снегах. А виделось: зеленая степь с лазоревыми цветами, кудрявые вербы, светлая вода.

Посреди хутора — магазин да клуб, кучка домиков. Магазин — новый, кирпичный, а клуб — старый, где кино глядели.

— А где школа была, ты помнишь? — спросил Корятин.

— Возле клуба, — ответила Катерина.

Остановили машину и вышли из нее. Глухая тишина стояла над заметным снегами хутором.

И откуда она взялась, эта старуха? Выкатилась из соседнего дома, раздетая, протрволовася. Выскочила из калитки, кинулась к председателю и упала перед ним на колени:

— Прости Христа ради...

Корытин поднимал ее, а она не хотела вставать и кричала:

— Прости! Прости мою дочушку! За-ради Нового года! Прости дочушку за-ради Христа... За-ради деток ее...

Седые всклокоченные волосы... Пьяные ли, горькие слезы...

Корытин держал старуху крепко и говорил:

— Иди в хату, тетка Прося. Иди в хату. — Он говорил и через ее голову глядел на дом: может, выйдут, помогут.

Старуха вывернулась и снова упала на колени, теперь уже перед Катериной:

— За-ради гостыи твоей дорогой прости...

Пришлось поднимать и вести старую женщину в дом. А она не хотела идти:

— За-ради Христа... За-ради детей...

Корытин молча провел ее двором, приказал:

— Иди в хату.

Из дома так никто и не вышел.

Корытин вернулся к сестре.

— Что это? — спросила Катерина. — О чем она?

— Пьяная, — коротко ответил Корытин.

— Это вижу... О чем просит? Какая дочь, дети? За что простить?

— Дочь — свинарка. Поросят с фермы ukrала. Поймали, наказали, — неохотно и коротко объяснил Корытин.

Сели в машину, поехали вдоль хутора.

Если для Корытина этот случай был пусть не больно приятным, но рядовым, то для сестры его — неожиданное огорченье. Жалела она брата: и нынче, в такой праздник, нет ему покоя.

Двоюродная сестра отца, тетка Клава, жила, как и прежде, в старой своей хате. Когда вышли из машины, Катерина спросила о ее детях:

— Живые?

— Живые. Зовут ее. Она не идет. Говорит, пока в силах.

Поднялись по шатким ступеням крылечка, через холодный коридор прошли.

Боже, боже... Как убоги дома нашего деревенского детства, когда через долгое время, привыкнув к иному, ступишь через древний порог: ситцевая занавеска, небеленая печь, железная кровать, облупленная клеенка на столе, малые оконца, запыленная электрическая лампочка на шнуре...

— Да жалкая моя... Да как тебя не признать... И глазочки, и бровочки — все ее... Откель? Либо Дед Мороз привез из краев холодных?

Все было как всегда и у всех: радость и слезы... Воскрешенная память, в которой не только дни счастливого детства, но и боль утрат: покойные родители, ушедшие годы — в меру всего, как в жизни.

Посидели, чаю попили, теперь уже забытого, с травой «железняк». Посидели и поднялись. Старая женщина, обрядившись в теплый платок да ватник, вышла провожать их, прощаясь и благодаря:

— Спаси вас Христос... Спаси... И ты меня не забыла, а мой сынок и вовсе... — Старая тетка с прежних времен величала Корытина «мой сынок». — Мой сынок надбегает... И сальца, и сметанки везет...

Поехали, оставляя позади малую хатку на заметной улице и старую женщину в темном.

Свернули прежде поры.

— Гляну, — коротко сказал Корятин и объяснил: — Новый год.

Миновали ворота скотного двора, проехали и остановились меж длинных приземистых коровников. Корятин ушел ненадолго, вернулся. Снова ехали и снова останавливались. Корятин исчезал в темных зевах проходов и возвращался.

Когда они уезжали с хутора, магазин был открыт. С его высокого крыльца по ступеням осторожно спускалась женщина. Движения ее были неверны: вот-вот упадет. Корятин притормозил у крыльца. Но женщина, оскользнувшись, все же на ногах удержалась и, повернувшись на гул машины, увидела Корятина и закричала:

— Пиночет! Пиночет проклятый! — Искаженное хмелем и злобой морщинистое беззубое лицо старухи было страшным. — Пиночетина!! Чтоб тебя!..

Корятин нажал на газ, машина рванулась прочь от старухи, криков ее, магазинного крыльца и хутора. Впереди чернела асфальтовая прямая дорога, разрезая снежное поле до самого горизонта. Горизонт белесо туманился, переходя в белесую же небесную синеву.

— Стой! — крикнула Катерина.

Корятин остановил машину.

— Давай вернемся. Ну прости ты ей... Давай вернемся. Прости... — Голос сестры дрожал. Она чуть не плакала, конечно жалея не старуху и дочь ее, а родного брата.

Корятин машину не выключал. Повернувшись к сестре, он через силу улыбнулся, покачал головой и поехал. Вперед и вперед. К сизому туманцу далекого горизонта, к дому.

Катерина глядела туда, вперед, но видела лицо брата. Ни на какого Пиночета он, конечно, не был похож. Какой еще Пиночет?.. При чем тут этот генерал? При чем далекая страна и диктатор ее?.. Брат ее — вовсе другой: сероглазый, с мягким рисунком губ, улыбчивый, добрый — недаром девчата его любили. Таким и остался. Какой еще Пиночет?..

Она говорила и говорила себе. Но иное не оставляло: это ведь не старуха в сегодняшней хмельной злости придумала брату кличку... Старуха и не знает, кто это и что это за Пиночет. Нет, не старуха... Другие, которые поумней.

Внимательно стала глядеть Катерина, искоса, но внимательно, стараясь увидеть и понять то новое, что не знала о брате. Но не увидела ничего.

Когда подъезжали к дому, Катерина сказала вслух:

— И зачем ты сюда, братушка, вернулся...

— Сдуру, как с дубу, — честно ответил Корятин.

2

Его возвращение три года назад в родной колхоз было и вправду не всем понятно. И если еще вслух, в кругу начальственным, официальным, говорили: «Отцовское дело продолжает, корытинское... Наследство...» — то меж собой люди понимающие лишь головами качали: не те времена, чтобы в колхозный хомут лезть, оставляя теплое место... ох не те...

Корятин-младший, была б его воля, никогда бы в этот колхоз не сунулся, будь он ему хоть трижды родным. Он ушел оттуда давно, молодым еще, сначала в соседнее хозяйство, потому что работать под рукой отца-председателя было в ту пору неловко: называли это «семейственностью». Ушел он в соседний колхоз, а потом — в райцентр, на повышение. Работал — и горя не знал, наведываясь к отцу лишь в гости. Должность у Корятина-младшего была хорошая, в семье — порядок, жить, слава богу, есть где. И дочери, которая замуж выскочила, успел дом построить. Сын в институте учился. Оставалось понемногу стареть, рыбачить да охотиться, ругая меж своими новую власть. Так бы и жил, но все поломал отец.

Корытин-старший, не оставивший своего председательства в колхозе и в возрасте пенсионном, вдруг «не ко времени» заболел.

— Не ко времени... — жаловался он сыну. — Такая пора. Вожжи вна-тяг надо держать, а я по больницам шалаюсь.

Сначала не думали о серьезном. Корытин-старший лежал в больнице раз да другой. Съездил на курорт. Вроде ему полегчало. А потом снова подступила болезнь, забирая все круче. Увезли старого Корытина в боль-ницу, в областной центр, приказали лежать. А там он не только своей хво-рюю маялся, но душой и сердцем о колхозе болел:

— Все — враспыл... По-доброму не посеют... Сена не запасут... Гото-вить надо комбайны...

Из больницы, за сто с лишним верст, пытался он руководить колхо-зом: звонил непрерывно, писал и передавал указы. Да не в одну страни-цу: «Главному агроному...» — и список дел; «Главному зоотехнику...» — еще столько же. А порой не выдерживал и срывался в колхоз на день-дру-гой. В последний раз вывезли его «скорой помощью».

Корытин, конечно, понимал отцовскую боль, но как помочь... Он мяг-ко корил, уговаривал:

— Чего ты изводишь себя... Какие тут доктора могут помочь. Лечить-ся — значит, лечись. Выздоровеешь, накомандуешься.

Отец вначале повторял привычное, будто извинялся:

— Такая жизнь... Сам знаешь... Без хозяина дом плачет. Бывало, на не-делю уедешь, и то звонишь: как там?.. А ныне... Такие времена... Сено-кос... И комбайны... Уборка заходит...

Тревога и боль были в словах и в глазах старого Корытина. Начинал он сердиться:

— Либо ты не понимаешь? всю жизнь наживали, а теперь там... Жизнь поклат. Такие труды... — говорил он горячно. — За двадцать лет всего два раза был в отпуске. Вас, детей своих, толком не видал. А те-перь — все без призора...

— Там люди остались, твой спецы... — уговаривал Корытин-младший.

Отец не верил ему:

— А то не знаю, какие они хозяева. Лишь за моей спиной. Нет в них... — Он сжимал костистый кулак. — Вот тебя бы туда, ты бы совла-дал... — закидывал он удочку.

Корытин-младший откровенно посмеялся. Отец смолк. А через день после этого разговора снова сбежал в колхоз. Там ему стало хуже. Привез-ли. Откачали. И снова пошли те же речи.

— Какая меня может взять лека? — с горечью говорил старый Коры-тин. — Поглядел — душа вянет. За два дня хоть разгону им дал. Будут кру-титься.

— Надолго ли... — остудил его сын.

Старый Корытин смолк. В самую точку сын попал. Старик поморгал, словно от яркого света, прикрыл худыми ладонями лицо, потом повернул-ся на бок к стене, будто подремать решил. Корытин-младший стал выхо-дить из палаты, осторожно, на цыпочках, но уже на пороге услышал странный звук: тоненький, скулящий. Тихо вернулся к кровати отца. Да. Старый Корытин, этот суровый мужик, отвернувшись к стене и закрыв от белого света лицо большими ладонями, по-детски, по-щенячьи плакал, неумело, со всхлипами, до боли стыдясь своей слабости и не умея совла-дать с нею.

— Папа... папа... — мягко произнес Корытин-младший, не утешая, а лишь напоминая, что он рядом.

Отец повернулся, стал подниматься. Лицо его, искаженное стыдом и болью, было словно чужим.

— Христа ради... — просил он. — Побудь месяц-другой. Уборка захо-дит. Удержать... Все возвратится... Лишь удержать до весны...

Корытин-младший обнял отца, уложил его в постель и сказал:

— Ладно. Будет по-твоему. Только лечись.

— На совесть?.. — не вдруг поверил отец.

— На совесть. Лечись.

И тогда отец поверил, выдохнул облегченно, сказал:

— Гора с плеч. Спасибо, сынок.

И вправду с плеч ли, с души старого Корытина словно гора упала. В день-другой он переменялся, успокоясь. А тут еще дочь приехала. Стало и вовсе хорошо. Старик словно умылся живой водою: стал улыбаться, играл в шахматы, врачам не перечил. И то, что сын к нему приезжал совсем редко, не огорчало, а, напротив, успокаивало.

Так он и умер, спокойно, во сне. Схоронили его на хуторском кладбище, рядом с женой. Там они и лежали, на вечном покое. Сейчас, зимой, кладбище, хутор, вся округа тонули в снегах. Белым-бело. И тихо.

3

Подъехали к дому, остановились, вышли из машины. И Катерина, и брат ее чувствовали себя не больно ловко. Что-то встало меж ними, непонятное, недосказанное.

А от крыльца, навстречу хозяину, выскочил большой пес в длинной золотистой шерсти: узкая морда, длинные уши, умные глаза.

— По моде завел... — глядя на красивую собаку, засмеялась Катерина.

— Кто его заводил... — ответил Корытин. — Приблудный. По степи осенью ехал, он бежит, замухоренный, страшный. Кто-то бросил. Остановился, он — в машину. Это теперь отдыхался да отъелся, стал на собаку похож.

Рыжая блестящая, волнами шерсть, длинная, с навесом. Сильные ноги. Крупные коричневые глаза.

Приласкали собаку, и она, от избытка энергии и чувств, кинулась прочь от хозяина и гостя, помчалась, делая круг, по просторному заснеженному двору большими прыжками, почти ныряя порой в глубокий сухой снег, ныряя и выбираясь наружу. Хорошо было глядеть, как мчится по белому снегу рыжее, золотистое пламя.

— Большое у вас поместье, — оглядываясь, сказала Катерина. — Много земли, огород...

— Какой огород, кому с ним управлять, — отмахнулся Корытин. — Мне — некогда, она — на работе и прибаливает. Да и кому это нужно! Дети выросли. А мы... уж как-нибудь найдем пучок моркошки да луковичку. Сад — еще отцов. Гляжу помаленьку. Но тоже... Некогда.

Пока у крыльца стояли, подкатила машина с гостями: дочь с зятем приехали из райцентра и привезли на погляд главный подарок — внучку, маленькую топотунью, голосистую, говорливую. Завертелась в доме веселая коловерть: праздничный стол, праздничный дух, шумные разговоры. Так бы и провели время, семейно, да внучка вдруг заявила:

— У вас елка плохая, маленькая, и Деда Мороза нет.

— Ах, плохая... — обиделся Корытин. — А ну пошли...

И подались чуть не всем гуртом в колхозный Дом культуры, который строили в прежние времена, при Корытине-старшем, с размахом. Там было все: просторный зал, огромная нарядная елка, Дед Мороз, Снегурочка, ребятишки и взрослые, музыка, хоровод и подарки — словом, веселый праздник.

Семейство Корытиных заметили сразу. Первым подбежал рыжеватый мальчишка и сообщил Корытину:

— Докладываю: все в порядке. Подарки раздали. Всем хватило, еще остались. Кто болеет, потом отдадим. Скоро театр приедет, уже звонили. А

тебе нечего со взрослыми... — решительно забрал он корытинскую внучку. — Пошли к Деду Морозу, он тебе подарок даст.

Девочка послушно отправилась с мальчиком к Деду Морозу и елке.

— Чей это? — спросила Катерина. — Комендант...

— Наш... — с усмешкой ответил Корытин. — Наш Ваня.

— Чей — наш?.. — не поняла его сестра.

Корытин понизил голос и сказал только Катерине:

— Про какого говорят, что наш с тобой брат.

— Это он?.. — охнула Катерина.

— Он самый. Помощник председателя. Отцов, теперь мой.

— Неужели правда, а? — шепотом спросила Катерина. — Я и не разглядела. Вроде не похож... Рыжий... А глаза какие? Неужели правда?..

Корытин пожал плечами. Об этом болтали давно: вдовый председатель; безмужняя молодая баба; мальчишка, который дневал и ночевал при старом Корытине, не выводился из конторы правления, ездил в машине с председателем и в доме был своим.

— Неужто правда? — еще раз спросила Катерина.

— Не знаю. Отец просил: не гони.

— А откуда не гнать?

— Ну, от конторы, от себя. Помощник председателя. Весь район знает.

Так оно и было. Началось при Корытине-старшем. Сначала над этим посмеивались, потом привыкли. Мальчишка еще в школу не ходил, рыжий карапуз, а уж прилип к старому председателю. Пришел и заявил:

— Я вырасту — буду вместо тебя председателем колхоза.

— Может, лучше летчиком, — отговаривали его. — Или врачом. Лечить нас будешь. Или — космонавтом.

— Председателем колхоза, — твердо стоял на своем Ваня.

То ли это польстило старому Корытину, то ли вдовел он да жил одиноко и просила душа тепла, а может, и в самом деле был грешен... Теперь не узнать. Но Ваню он пригрел. Мальчишка стал своим человеком в конторе, бегал на посылках, ездил в машине с председателем по бригадам да фермам.

И когда три года назад летним днем, прямым от больного отца, молодой Корытин приехал на хутор, то у конторы колхозного правления встретил его именно Ваня.

Этого рыжего мальчишку Корытин и прежде видел, но мельком. Волосы не стрижены, закрывают лоб; одет в заношенные до блеска спортивные брюки с надписью «Рита» да застиранную маечку. Плечи, ключицы, локти — все косточки острые, птичьи. И движения по-птичьи быстрые. Рассоливать не привык.

— Пошли, нечего рассиживать, — приказал он Корытину и понесся.

Когда Корытин вышел из конторы, мальчик уже сидел в машине.

Корытин завел мотор и, не слушая указаний юного провожатого, поехал было своей волей и памятью: как-никак немало здесь прожил. Но далеко не уехали: скоро наткнулись на вал и ров посреди улицы.

— Я тебе чего говорил?! — гневно спросил мальчик. — Тебе говорят — ты слушай. Тут уже целый год не проедешь, никак не закопают.

— Прости, — кротко ответил Корытин. — Не расслышал. А почему не закапывают?

— Трубы нет. Привезли, положили и ночью украли. Теперь канаются, кому трубу покупать.

— А кто же украд? Куда?

— Куда, куда!.. — рассердился мальчик. — В Америку! Не знаешь куда... В дело. В хозяйство. Пригодится. А может, алкаши Вахе отвезли. Он возьмет. Разрезать — на поилки пойдет.

— Какому Вахе?

— Нашему, чечену. Ему поилки нужны. У него скотины допмна.

— Сколько?

— Весной пять-десять голов. А осенью — пятьдесят. И больше. Я у него спрашиваю: «Ваха, откуда скотину набрал?» — а он говорит: «Размножается». Это мы с ним так шутим. Он веселый, наш Ваха.

— Ну что ж, поехали к веселому Вахе. В Зоричев?

— В Зоричев! — одобрил Ваня. — Мы всегда первым делом в Зоричев ездим. Здесь — под носом, а там — рукой не достать, вольничают.

В колхозе было два хутора: Староселье — центральная усадьба с конторой, гаражом, мастерскими и Зоричев — в двадцати километрах.

— Я со всеми езжу... Я все знаю... — говорил и говорил мальчик. — Сколько голов, надои...

— Ну да... — не поверил Корытин. — И какой же надои?

— Где? На какой ферме? — уточнил мальчик.

— На Зоричеве.

— Тысяча восемьсот.

— А на центральной?

— Почти три.

— Правда, что ли? — повернулся Корытин к мальчику. — А почему разница такая?

— Тебе говорю, здесь — под носом. А Зоричев не углядишь. Тянут больше.

Миновали хутор, выехали на прямую дорогу, асфальтированную и потому недолгую. Поднимешься на увал — и вот уже маячат вдали маковки старых верб да осокорей, светит белью водонапорная башня возле скотьих дворов, на краю хутора.

Вначале поехали к свиноферме.

— В свинарнике чего не работать... — сказал Ваня, провожая глазами встречный мотоцикл с коляской. — Кашу бери, пожалуйста, хоть два ведра, хоть три. Корми домашность свою. Тем более при колесах... — проводил он взглядом еще один мотоцикл. — Корма вольные, поросят берешь...

— Как это берешь? — возразил Корытин. — Они ведь колхозные.

— Колхозу тоже достанется. Так положено, — убеждал Корытина мальчик.

Когда вошли они в свинарник, им навстречу попалась пожилая женщина с полными ведрами.

— Борисовна, здравствуй!

— Здорово, Ваня.

— Скажи, Борисовна, ведь положено свинкам поросят забирать? Она же работает?

Борисовна поглядела на гостя и, усмехнувшись, ответила мальчику:

— Ты у нас, Ваня, как старичок. Все знаешь.

Ваня раскрыл было рот, но что-то почуял во взгляде и в голосе своей собеседницы, что-то понял и промолчал. Хотя через короткое время все же не выдержал и убежденно сказал:

— На свинарнике хорошо работать. Я мамку ругаю: меньше пей, говорю, просись на свинарник. Я на велике буду кашу возить. Заведем свиней, будем щи со свиной есть, сало — на всю зиму, а лишнее — продадим.

На свиноферму, на ее территорию, въехали как добрые люди, через ворота, а выезжать можно было, как говорится, на все четыре стороны. Высоценная, с острыми пиками поверху железная огорожа была там и здесь целыми пролетами повалена и вдавлена колесами в землю.

— Мы этот забор в Волгограде, в аэропорту, купили, — со вздохом сказал мальчик. — Там новый забор ставили, бетонный, а этот — не нужен. Мы с председателем его взяли, за одну свинью обменяли. Понял?

— Понял, — ответил Корытин, разглядывая набитые уже дороги от кирпичных свинарников в заборные проемы.

— Раньше лишь в ворота ездили, — объяснил Ваня. — Никаких дыр. Только через ворота. А если в корпус идешь, к свиньям, то дезинфекция. А если в родильное отделение, то белый халат надеваешь и обувь меняешь. Понятно? — явно гордясь, спросил мальчик. — Не веришь? Кто хочешь скажет. Чего мне брехать...

— Верю, верю... — успокоил его Корятин. Он знал, он помнил прежние порядки. Но как быстро они ушли! На нынешние глядеть было не больно сладко.

Хорошо, что мальчик был рядом. Он говорил и говорил:

— Дояркам чего не работать... Комбикорм бери, молоко — тоже бери. На сепараторе перегонишь — сливки. А из снятого — творог. Каймаки делай, откидное. И — на базар. Кто с машиной — вовсе легко. На машине можно много увезти. Я мамку ругаю: меньше пей, говорю, просись в доярки. Я на коляске приеду, хоть целый бидон увезу. А зимой на салазках еще больше упру. Будем жить...

Свернули и поехали к скотным дворам, к базам и фермам, которые раскинулись просторно на краю хутора — целый город: белого кирпича постройки, шиферные крыши, высокая ограда из бетонных плит, распахнутые железные ворота.

Синий пикап, выехав из ворот, катил неторопливо, тормозя на колдобинах. Он медленно проехал мимо и прибавил ходу. За рулем сидела баба.

— Конечно... В «Москвича» можно много грузить, — завистливо проговорил Ваня, провожая машину взглядом. — Но я бы и на тележке упер, а на салазках — тем более. Еще как. Мамка глупая...

Он говорил и говорил, этот мальчонка, пел, словно птица. И словно птичью нехитрую песнь, лишь звуки детского голоса слышал Корятин. Понимал он теперь, зачем отец брал с собою в машину этого мальчонку. Колхозные заботы, обычные нелады, ругня там и здесь. А он звенит и звенит, детский голосок, утишая душу.

А что до слов, то слова были Корятину не нужны. Он тут родился, вырос, работал, навиделся всякого, и не только здесь, и не только такое, а вовсе горькое, особенно в последние годы. И теперь не слепым он был и не зажмурялся, а все видел. Хотя смотреть было несладко. Как быстро, как легко все катится под гору, когда хозяина нет! А как трудно все наживалось... Годами, десятками лет.

Большие, утробистые, черно-пестрой масти коровы стояли на базах. Телок привозили из Англии. Отец сколько здоровья потерял, пока добился их. Как он радовался, как холил, как болел душой за новое стадо. Зимой в растёл даже ночевал здесь, никому не доверяя. «Золотом платили, — оправдывался он перед женой. — Из-за моря везли...» «Забогатеет...» — радовался он и строил новые коровники, телятники, родильное отделение, кормоцех, сеял люцерну, клевер, эспарцет. «У коровки молоко на языке... — повторял он. — Забогатеет...» И вправду забогатели: молочный комплекс, элитное стадо, высокие надои, ордена, награды — все было.

И будто все осталось: коровники, скотина... Но Корятин видел другое: расхлебанные ворота, черные дыры окошек, нечищенные базы — а ведь лето. И коровы словно другие. Прежние под солнцем сияли, словно картинки. Пегая масть: черное пятно, белое пятно — все светит. А нынче — грязные сосули висят.

Все было понятно: долгая болезнь отца, старость, глаза и руки не те, а тут еще — время...

Приехали на гумно. Оно было просторным, словно аэродром. Силосные траншеи пусты. Сенные скирды стоят, уже нынешний укос. Но — мало. На зиму явно не хватит. Обнесено было гумно не просто забором, но тяжелыми бетонными плитами. «Кремлевской стеной» когда-то этот забор величали. Теперь эта крепостная стена была в нескольких местах про-

бита, словно побывала в осаде. Просторные проемы, проезды. Бродила по гумну живность явно не колхозная, гуси, овечки да козы и добрый гурт скотины: коровы, быки, телята.

— Вахины... Он богатый, наш Ваха, — горделиво сказал мальчик, словно о собственном нажитке шла речь.

И хотя Корытину еще командовать не пришла пора, но он не выдержал и погнал скотину:

— Ар-ря! Ар-ря! А ну пошла!

Неожиданно стал помогать ему оборванный мужичок:

— Пошла! Пошла!

А тут и Ваня помог:

— Ар-ря! Ар-ря!

Он гнал и громко укорял пастуха:

— Ленишься, Сережа! Рано еще на гумне пасти!

Укорял и объяснял Корытину:

— Они у Вахи все — Сережи. Он их всех Сережами зовет.

Скотину с гумна прогнали.

— Лезут... Не удержишь... — оправдывался пастух и попросил: — Не найдется курить?

Корытин не курил, но держал в машине табак, угощал. Не отказал и «Сереже». Дал ему сигарету, щелкнул зажигалкой, хотел попенять, но лишь рукой махнул. Черный морщенный лик, черные пеньки зубов, пустые глаза. О чем говорить с ним?.. Да и скотину прогонять было лишним: отъедешь — она снова здесь будет. Гурт немалый и не какой-нибудь разномастный, а словно в хорошем колхозе: черно-пестрые и могучие черные абердины, мясная порода, каких лет десять назад тоже завозили в один из соседних совхозов, кажется, из Голландии или даже из Аргентины.

Позднее, объезжая хутор, добрались до владений чеченца Вахи. Жилье у него было незавидное — старый дом. Но скотьи базы: огорожи, навесы, дощатые сараи, загаты из соломенных тюков — надежная от ветра защита, — все это широко раскинулось на вольной хуторской окраине, спускаясь к речке, к леваде с одичавшими садами, к вербовой да тополевой чащобе, к непролазным цепучим тернам.

Возле дома остановились. На гул мотора кинулись огромные собаки-волкодавы чуть не в машину величиной. Но мальчик бесстрашно выбрался из кабины, крикнул собакам:

— Молчать! Место!

Собаки послушно улеглись, окружив машину.

Выглянула из дома женщина. Потом вышел хозяин — улыбчивый уса-тый Ваха.

— Какие гости! — радушно приветствовал он, признавая Корытина. — Таким гостям сразу двух баранов надо резать...

— Мы твою скотину с гумна прогнали, — сообщил мальчик. — Рано еще на гумно. В степи много корма.

— Молодец, Ваня! — горячо поддержал его хозяин. — Это Сережка ленивый. Будем его наказывать.

— Конечно... — продолжил Ваня. — Если сейчас сено травить, на зиму не хватит. Тем более у тебя много скотины. — Серьезные речи он кончил и пошутил: — Откуда у тебя скотина берется? Весной было десять, а сейчас пятьдесят. Размножается?

— Размножается, Ваня... Размножается... — с улыбкой ответил Ваха. — Молодец! Все знаешь...

Шутили. Но когда Ваня хотел еще что-то сказать, Ваха остановил его:

— Люблю Ваню. Надо его в помощники взять. — И пригласил Корытина: — Прошу. Мы гостей любим, мы гостей уважаем...

— А мы гостить любим... — посмеялся Корытин. — Но не сегодня. Дела...

Они уже отъезжали, когда на хорошей скорости, поднимая шлейф пыли, подкатила машина — красная «тойота», резко затормозив. Собаки бросились к ней, но без лая, а, напротив, ласкаясь к двум молодым чеченцам, вышедшим из машины, один был вовсе пацаном.

— Вахины... — объяснил мальчик. — Крутые... На «хондах» гоняют, — вздохнул он. — Ваха — веселый, а они — задавучие, крутяки. — И, понижая голос и оглядываясь, будто могли услышать его, добавил: — У них — оружие.

— Чего? — спросил Корытин. — У них?

Мальчик кивнул головой:

— Пистолеты. Они умеют стрелять. Их все боятся.

Корытин хмыкнул. Все это было не очень великой новостью для него: чеченцы, их повадки, скотина, которая «размножалась»: купленные за водку колхозные телята или просто украденные в другом колхозе, оттуда — сюда, отсюда — туда, — вот и «размножение». Хитрость невеликая. Но прежде отец чеченцев в свои хутора не пускал, зная их. Да они сюда и не стремились. Колхоз — крепкий, председатель — в силе, значит — поживы нет. Теперь обьявились.

Потом ездили по полям, просто смотрели. Пшеницу, которая уже наливалась, желтея; серебристый ячмень и зацветающий подсолнух. Особенно хорошо все это гляделось с высоты, с увала ли, с кургана. Просторная земля переливалась под солнцем, словно праздничный плат: сияние ячменных полей, темное золото пшеничных, сочная зелень кукурузы, фиолетовая чернота паров.

4

Уезжали неблизко, а поломалась машина посреди хутора. К магазину подъехали — и загромыhalo. Слава богу, поломка оказалась не больно серьезной. Но нужны были болты да гайки.

— К Моргуну! — решительно сказал мальчик. — Он — рядом, и у него все есть.

Потихоньку доковыляли до моргуновского двора. Хозяин был дома: приехал на обед и уже сидел за столом, возле летней кухни.

— Пообедаем, потом будем глядеть, — сказал он как отрезал.

— Садитесь, садитесь... — приглашала хозяйка. — Шей ныне наварила со свиной. Нашенские щи, хуторские, покушайте.

Пахучие огненные щи в белом обводье тарелки пламенели от помидоров, красного болгарского перца, кружили голову духом молодой капусты, морковной и луковой заправки, свежей зелени, переливались тяжелыми разводами жира, не дающего быстро остыть вареву.

Хлебали и хлебали молча, до пота. Спасибо, на ветерке стол был накрыт, под развесистым кленом.

А потом ели золотистую нежную утятину из черной жаровни. И шкварчащие горячие вареники в желтом коровьем масле. А на закуску — тонкие кружевные блинцы с каймаком. И холодное, лишь из погреба, кислое молоко белыми глыбками.

Гости от стола отвалились еле отдыхаясь. А хозяин встал как ни в чем не бывало.

— Теперь жальтесь. Чего за беда?

Корытин объяснил.

— Пошли глянем, — сказал Моргун. Он был ростом невелик, телом кубоват, ходил вперевалку. — Поглядим, может, и найдем.

Миновали чистый прибранный двор, потом — скоты базы, просторное гумно, сенокос да дровник. А дальше... Словно здесь размещалась какая-то база ли, склад. Штабеля строевого леса, досок, аккуратно накрытые рубероидом. Стопы шиферной кровли, оконные переплеты, дверные ко-

робки, стеновые блоки, бетонные плиты, перемычки, трубы, рулоны металлической сетки и какие-то коробки, ящики на подставках, тележки, вагончик на колесах, трактор и даже автокран.

Корытин приостановился, потом догнал хозяина.

— Ну, ты даешь... — восхищенно проговорил он. — «Сельхозтехника», «Агроснаб», «Сельхозстрой» — все вместе.

— Сгодится... — добродушно помаргивая, сказал хозяин. — Дети строятся будут, внуки — все в дело пойдет.

— Откуда напер?

— Нет-нет... Ни грамма не воровал, — упреждая упреки, открестился Моргун. — Вот тебе крест святой. Лишь брошенное забирал. Ныне его по степи... В «Октябре», в «Пролетарии», в «Комсомольце», — называл он окрестные, близкие и далекие, колхозы. — Все покидали. Ничего не нужно. Кошары, полевые станы, фермы. Раньше строили, теперь — не к рукам. Забирай под гребло.

— А техника? Автокран?

— Ныне черта можно за поллитру купить. Заводы свои подсобные хозяйства бросают. Не нужны. А эти фермеры-мелмеры... Кидаются очертя голову, а потом...

— Вот ты бы и шел в фермеры.

— Не с нашим умом, — отмахнулся Моргун. — Твой батя, еще попервах, правильно сказал: «Не с вашим умом туда лезть. Живите как жили. Работайте — и все у вас будет». Он это правильно говорил.

Все нужное, конечно, сыскали. И все сделали.

А во дворе, провожая гостей, радушная Моргуниха словно слышала и теперь повторяла мужние слова:

— Работаем и не жалимся... Я работаю, и он работает, сын, и дочь, и сноха — все работаем, трудимся. Такая наша жизнь. — Она провожала гостей не с пустыми руками: — Варенички тут, блинцы... Берите, берите. Кудя вас ныне бог припутит, день долгий.

Проводили гостей за ворота: приземистый Моргун, крепкий еще мужик, с пузцом, словно кормленный паучок, хозяйка — на голову выше, опрятная приглядная баба, в чистом переднике, цветастом платке; она всегда была чистохолкой: на ферме ли, при коровах, и дома.

— С утра ездит, — сказала Моргуниха. — У свиней был и у нас, на ферме.

— Видно, по работе... — вслух подумал Моргун. — А может, отец просил поглядеть. На смертной доске, а об колхозе душа болит.

— А может, он в председатели, заместо отца?

— Нашла дурака, — хмыкнул Моргун. — Ни клят ни мят сидит.

— А мальчишка с ним, — усмехнулась Моргуниха. — Как со старым Корытиным. Может, и правда корытинский?

— Бог знает. В ногах у них не стояли. Да и не нашей голове об этом болеть. Ты ведь тоже на машину жалилась? — вспомнил он. — Чего?

— На малых оборотах гложнет.

Моргуниха ездила на работу на стареньком синем пикапе, удобная машина. Она и сейчас стояла здесь, у ворот, рядом с колесным трактором самого Моргуна.

— Погляди... А я побегу, молоко надо откинуть.

И сразу про гостей забыли, погружаясь в дела обыденные, свои.

А гости, отъехав, поминали хозяев.

— Напоролся... — похлопывая себя по округлившемуся животу, говорил мальчик. — Неделю можно не есть. Моргуны богато живут. Новые «Жигули» купили. Да еще старые есть и мотоцикл «Урал». И Моргуниха на «Москвиче» рулит. Хорошо живут...

Он говорил и потихоньку задремывал, голова клонилась на грудь. А потом в сторону повело, и он ткнулся в руку Корытина, не доставая до плеча. Заснул.

Корытин смотрел на дорогу, чуял тепло мальчика, приникшего к нему, и думал: «Может, и вправду — братишка, младший...» А потом вспомнился синий пикап, который поутру встретился, когда подъезжали к молочной ферме. Пикап ехал не пустой — пригруженный. А за рулем была Моргуниха.

Мальчик спал до самого хутора, разомлев. И на хуторе, едва разлепляя глаза, указал путь к своему дому. Корытин подвез его ко двору:

— Приехали. Просыпайся.

На гул мотора выглянула из двора мать мальчика и спросила:

— Нароботался? Не проснется никак...

Мальчик зевал, жмурился.

— Ничего. Ваха быстро разбудит. Завтра, а может, и ныне приедет, заберет.

Мальчик вскинулся, глаза округлил, не понимая:

— Куда заберет?

— В пастухи. Некому, говорит, скотину пасть. У него много: гуляк, овечки, козы. Да свиней развел...

Корытин вышел из машины, спросил:

— Это у которого были?

— Он... — кивнул головой мальчик.

А мать его, словно оправдываясь, стала говорить:

— Чем гайды бить у конторы, пусть попасет. Ваха наличными обещал деньгами. Хоть обувку с одежкой к школе купить. От колхоза не дождешься. — Она была еще не старой, но траченной вином и жизнью. Она перед Корытиным или перед белым светом оправдывалась: — Сказали бы — не работаю, а ведь стараюсь, никто не укорит, телята у меня сроду хорошие. Пишут в конторе по триста да по четыреста тысяч. А где они, эти тысячи? На хлеб не выпросишь. А нас трое... — Она вздохнула, погладила сына по голове, спросила: — Попасешь?.. Ваха, он — добрый. Наличными, сказал, заплатит, по сто тысяч.

— Пацаны его задавучие, — опустил голову мальчик. — Крутяки.

— Чего тебе пацаны... В степи будешь пасти.

— Ты не знаешь... — жалобно проговорил мальчик, в глазах его плеснулся нешуточный страх. — Они — наглые, их все боятся... Они...

— Ну, не съдят тебя... — отмахнулась мать и предложила гостю: — Окрошкой вас накормлю. С квасом. Похлебайте холодненького.

— Спасибо. Лишь откушали.

— Мы у Моргунов ныне обедали, — похвастал мальчик. — Утятина, вареники, блинцы с каймаком... От пуза.

— Моргуны... Не нам чета.

— А я тебе говорю: иди в доярки, я сам буду молоко возить, на велике. А зимой — на санках. Я флягу запросто упру. Вот и заживем...

— Мели, Емеля... — остановила его мать. — Болтаешь языком. — И у Корытина спросила: — Отец-то как?

— Хорошего мало.

Женщина опустила глаза.

— Хоть квасу попейте. Свежий квас. В погребе стоит. Ваня, достань кваску. Заходите...

Корытин вошел во двор. Почудилось ему в голосе собеседницы не праздное любопытство, но сердечная боль об отце. Наверное, все же не зря шли по хутору поголоски о старом Корытине, об этой женщине, о сыне ее.

Подворье было обычным, с аккуратными грядами сизого лука да кружевной моркови, высокой картофельной ботвой. Возле дома — навес; под ним — стол и скамейки. Все прибрано.

Ваня принес из погреба четверть с квасом. Женщина обтерла кружки чистым полотенцем, налила питье и снова спросила:

— Значит, плохой, не поднимется?

Корытин в ответ лишь вздохнул.

— Господи, господи... — проговорила женщина. — Как жили... — Она была еще не старой, со следами бывлой миловидности. — Как жили при нем... Горя не знали. Хату колхоз построил. Детсадик бесплатно, в школе тоже бесплатно кормили. Правда что — коммунизм. Лишь не знали про это. А ныне... Скоро и работы лишимся.

— А проку тебе от этой работы?! — еще издали вступила спешащая к разговору соседка. — Здорово дневали! Я тебя враз угадала, — сказала она Корытину. — Издаля кинула глазами — и угадала. Горится она об работе! Лишимся... Да черт бы ее хорошил, такую работу! Другой год зарплаты не видим. Хоть криком в конторе кричи, слезьми плачь, ответ один: ты — живая, даем лишь на похорон.

— А вовсе закроют, куда идти? — спросила хозяйка. — Ныне хоть со слезьми, а иной раз в конторе выклянчишь на хлеб копейку. Мукой тот год выдавали, маслом. Да, может, еще получшеет после уборки. Обещают. А если вовсе лишимся работы? Тогда хоть в петлю... Тебе чего жалиться. У тебя — мать, с пенсией. Каждый месяц живая копейка.

— На мамку молимся, — согласилась соседка. — Говорим ей: гляди не помирай. И у всех так: молятся на стариков. Дожились... — И, переменяв тон, возвышая его, она, словно на митинге, принялась убеждать Корытина: — Правильно говорят: был у нас коммунизм! Работали и как сыр в масле купались... Кипели в масле... А ныне все пухом-прахом идет. Работай, а денег не платят. Привезли из района бумаги, прямо на ферму. Ставь подпись и бери бумагу, с печатью, с гербом с этим! Землей владай! А мы их ногами потоптали, эти бумаги. Потому что хотят обдурить! Налоги собирать! А земля нам задаром не нужна. Зубами ее грызть не будешь! От огорода руки не владают. На черта она, эта земля?! Не землю, зарплату дайте, как раньше! За надой, за привес, за теляток, премию — чтобы за все копейка шла. А земля наша лишь на кладбище. И ты от нас не отпихивайся! Ты — наш, не набéжный. И мы об тебе с надеждой... С батею твоим горя не знали, а ныне...

Корытин с трудом выбрался со двора и, продолжив путь, заглянул в ремонтные мастерские, в гараж, к амбарам съездил, поглядел на тока, которые уже чистили, готовясь к новому хлебу.

5

К отцовскому дому он прибился к вечеру, в колхозное правление так и не завернув, хотя знал, что его там ждали; загнал машину во двор и, не отпирая дом, сел на крыльце. Кончался день, долгий июньский день. На хуторе было тихо, а в отцовском дворе — и вовсе, даже кошка куда-то сбежала. Раньше были цветы. Теперь — пыльная лебеда, конопля. И в доме — пусто. Заходить туда неохота.

День кончился. Красное солнце садилось за деревьями. Редкие высокие облака, рассеянные по небу, загорались розовым. Корытину ни о чем не думалось, ничего не хотелось. Так бы сидел и сидел на теплых ступенях, словно подремывая. А когда прервется эта спокойная дрема, надо будет что-то решать окончательно.

Сюда, на хутор, Корытин приехал с твердым намерением исполнить волю отца. Эта воля — предсмертная. Тем более, что слово дал. Но если прежде просто-напросто не хотелось ему лезть в председательский колхоз-

ный хомут, это было естественно для человека взрослого и знающего, что творится в стране и здесь, рядом. Он и в добрые годы к председательству не стремился. Знал ему цену. А теперь — и вовсе: никому ничего не надо, никто ничего не знает, никто ни за что не отвечает. Сегодня — социализм, завтра — капитализм, послезавтра — может, иное... А у него была спокойная работа, положение и даже наперед добрый загод: новая организация появлялась в областном центре, и Кoryтина туда звали, обещая хорошую квартиру, хорошую зарплату и кое-что сверх того. Все это бросить? Ради чего?... Тем более, что, проехав нынче и поглядев, Кoryтин совершенно отчетливо понял, что даже отцовский колхоз, который считается крепким, лучшим в районе, даже он расплывается как тришкин кафтан. И уже не залатаешь: нечем и не к чему лепить — все прелое, все само собой рвется. Была огромная система, называлась «колхозный строй». Снизу был фундамент, со всех сторон — крепкие связи, поддержки, подставки — словом, здание. Оно рухнуло. И как теперь в одной ли, в двух уцелевших комнатах жить? Бежать надо из этих комнат, пока цел.

Кoryтин это понимал и прежде — сколь об этом говорено-переговорено! — а теперь вовсе убедился. Все так и идет. Но как объяснить отцу? Не объяснишь. Один выход: сказать, что начальство против. Такое отец, может, и поймет. Мол, против — и все. И разговаривать не хотят. Начальственное слово, начальственную дурь отец всю жизнь на своей шкуре испытывал и цену этому знал.

«Против начальство...», «Иди им и докажи...» — повторял и повторял про себя Кoryтин. И чем более повторял, тем более убеждался: это — единственный выход. Отец должен поверить. Тогда не нужно будет бросать все налаженное и ехать сюда.

Так он сидел на ступенях отцовского дома, пока не окликнул его девичий голос:

— Крестный! Ты где хоронишься?!

Стукнула калитка. Кoryтин поднялся. К веранде шла его крестница, старшая дочь двоюродного брата Степана.

— Здравствуй, крестный. Мы тебя в обед ждали. Пошли ужинать. И баню натопили.

— Здравствуй, здравствуй... — заулыбался Кoryтин.

Все печальные мысли его разом пропали, и лишь одно думалось: «Как быстро растут, как скоро взрослеют чужие дети...» Еще вчера девочка-школьница, нынче крестница его обернулась зрелой красивой девушкой. Высокая, статная — это в отца! — с длинными светлыми волосами, схваченными лентой. Легкое летнее платье не скрывало в меру полных, женственных плеч и рук. Лицом крестница тоже была хороша: ясноглазая, белозубая.

— Баня — это здорово, — одобрил Кoryтин. — Пошли.

Путь был недалек: лишь два двора миновать.

— Крестный, мамка с папкой не велят. Ты им можешь сказать? Они тебя послушают... — быстро-быстро, взхлеб стала говорить девушка. — Скажи им, пожалуйста, ведь это же не позорно — работать манекенщицей. Какой это позор? По телевизору показывают. Это ведь такая профессия. Так ведь? А они всяких глупостей наслушались. Мамка кричит, а папка молчит. Уперлись — и все. Меня приглашают...

— Погоди, погоди... — Кoryтин повернулся к девушке: — Кто тебя приглашает? Куда?

— Было объявление по телевизору. Я послала фотографию, и меня пригласили. А мамка — ни в какую... А папка — молчит. А мамка кричит: не смей. Они не понимают, что есть такая профессия. Им все кажутся всякие глупости... Наслушались...

Кoryтин не сразу сообразил, о чем речь, настолько это было неожиданно. А поняв, он чуть отступил, пропуская вперед себя крестницу и

оглядывая. Она была хороша: высокая, статная, с милым лицом, в молодой, цветущей поре. Но то, о чем она говорила, было и для Корытина неожиданным и диковатым.

— А кому ты фотографию посылала? Откуда вызов? Какой город?

— Я по адресу посылала. Я покажу тебе, крестный.

— Покажи. Я погляжу.

Они уже подошли ко двору.

— Только не давай мамке. А то она все порвет.

Перед домом, за решетчатым штaketным забором, яркий палисадник красовался цветочными грядками, клумбами: анютины глазки, крупные, в ладонь, ромашки, синие васильки, бархотки, кусты алых и кремовых роз. Сразу было видно: здесь невесты живут.

За палисадом — крепкие ворота.

— Не отдавай мамке. Ладно? Пусть у тебя будет.

Ворота распахнулись.

— Крестному еще голову забей! Здорово живешь, кум. С приездом тебя. Проходи, — приветствовала гостя хозяйка и тут же дочьню занялась: — Тебе сказано было: забудь! Голову сверну, как куренку! В погреб посажу, под замок, и не выпущу! Учат дураков, не научат. Артистки нашлись, модельницы! Одна намоделилась, не ныне завтра на кладбище понесут.

— Я вовсе не собираюсь за границу. Я — в наш город, в Ростов. Я буду работать!

— Замолчи! Овечка глупая... Зарабатывальщица... Сиди где сидишь!

— Правильно! Лучше сидеть! И драные чулки да колготки штопаные носить! Да чирики! Чтобы все смеялись...

Девушка заплакала и убежала в дом.

Во дворе сразу сделалось тихо.

Стоял у ворот Корытин, рядом — хозяйка, а две ее младшие дочери испуганно глядели на них.

— Растишь, растишь этих детушек... — горько проговорила мать. — На свою голову... Прости, кум, что так встречаем, — со вздохом обратилась она к Корытину. — А вы чего встали? — спросила она у дочерей. — Не знаете дела?..

— погоди, — с улыбкой остановил ее Корытин. — Дай хоть поздороваюсь с ними да погляжу.

Девчушки были славные, тоже — в отца: рослые, светловолосые, с разницей в два ли, три года.

— Гостинца вам не привез, — извинился Корытин. — В машине — жарко, конфеты расплываются. Возьмите, купите чего надо. Поделите на троих, не подеретесь? — шутливо спросил он, протягивая полусотку.

— Поделим, крестный! — радостно ответили девочки. — Мы купим...

— Покупайте чего хотите... — отмахнулся Корытин.

— Коз да корову не забудьте перевстренуть, покупальщики... — напомнила им мать.

— А Степан где? — спросил Корытин.

— Баню топит...

— Топлю... — подтвердил Степан.

Он стоял за воротцами база, все видел и все слышал.

— Стоит как столб! — возмутилась жена. — Молчит! Вроде он — стонный. Тут замрачается ум, — пожаловалась она. — Про Кирееву дочку не слышал, кум, бригадира нашего? Тоже вот такая, нотная. Я не я — буду зарабатывать. Все мыкалась за тряпками, за границу ездила. Возит, продает, снова едет. А потом ее чуть живую привезли. Да еще, спасибо, братья ездили, вызволяли. Какая девка была... цветок. Ныне — на смертной доске. Мать рядом с ней в дощечку высохла, во слезах...

— Ладно... — стал успокаивать ее Корытин. — Не забивай голову прежде поры. Я погляжу на бумаги, позвоню, разузнаю. Ты на нее не шуми, она — взрослая. Тоже про жизнь думает. Поспокойней надо.

— Какой тут покой, куманек. Ночи не сплю, стерегу. Вдруг убежит.

— Не убежит. Только не шуми. Сговоримся.

Крестницу он тоже успокоил, посидев возле нее недолго в доме. А потом ушел в баню, отмывал дневные пыль и пот, а когда вернулся во двор, там было тихо и мирно.

Солнце село. Небо, его высокие облака, догорали алым. Пахло жареной рыбой.

— Степан, — спросил Корытин, — ты когда ловил, где?

— Он наловит... — хмыкнула хозяйка и добавила горделиво: — Девки у меня — на все руки.

— Рыбачат? — удивился Корытин.

— Еще как... До зари летят. И будить не надо.

Сели за ужин. Хозяева расспросили о старшем Корытине, повздыхали, поохали.

— Не ко времени слег, не ко времени... — сказал Степан.

— А то бывает болезнь ко времени, — фыркнула жена. — Доумился. Она тебя спрашивать будет, болезнь.

Так было всегда в этом доме: хозяин — мужик рослый, телом большой, в кабину трактора с трудом умещался, говорун не больно великий; зато хозяйка — не помолчит, сыпет и сыпет. Как и ныне:

— Болезнь, она... С ней судиться не будешь. Тоже бегаем до поры, а — годы... Там — колет, там — нудит. Некогда по врачам ездить, а то бы...

Корытин в охотку похрумливал жареными карасиками, девок хвалил:

— Ну и рыбачки... Кормилицы. Чего отцу с матерью не жить!

— Только и надежда на карасиков, — вздохнула хозяйка. — В январе получили двести тысяч — и все. Как хочешь, так и живи. Лишь ведомости пишут в конторе. А чего там пишут, и когда мы эти деньги увидим...

— Обещают после уборки, — сказал Степан. — Мол, зерно продадим...

— Брешут! Не будет никакого зерна! — решительно ответила хозяйка. — Разворуют, растянут, на нет сведут. Суслачины... В прошлом году та же песня была: зерно, подсолнушек продадим... А чего увидели?

— Сушь... — коротко оправдывался хозяин. — Да еще черепашка напала да жук-кузька.

— Этих кузек да черепашек, им — счету нет. Кузька... — желчно процедила супруга. — Как уборка зайдет, эти кузьки да черепашки со всего белого света летят. Машина на машине... Лишь отъезжать успевают. Кузьки... Все подберут. Нам лишь азадки оставят. Дуракам. Вот и живи карасиками.

Хозяйка всегда была говорливой, но нынче в словах ее прорывалась нешуточная боль. Перед гостем она сдержалась, стала потчевать:

— Кушай, кум, кушай. Помажь сметанкой карасиков. Девчата мои со сметанкой любят. Потому и гладкие, как репки.

Девчата лишь посмеивались. У них нынче был свой пир: пластмассовая бутылка фанты, какие-то сладости в ярких обертках. Успели сбегать купить. По возрасту разные, они были похожи статью, светлыми волосами — сразу видно, что одного гнезда.

— Девки что надо... — похвалил Корытин. — Тем более рыбачки.

Хозяйка улыбнулась: как матери не гордиться! Но потом, когда отужинали и сидели сумерничая, она сказала:

— Девчат своих не корю. Везде помогают. Но вот как их до ума довести. Ты успел своих выучить, — позавидовала она.

— Учится еще, — сказал Корытин о сыне.

— А наши вовсе лишь опереются. Одну лишь учим. Ей суем и суем. И то недовольная, — вспомнила мать слова старшей дочери о дранных кол-

готках. — Ну и что, если подштопано. Это разве позор? А тут еще двое! В школу не знаешь как собрать. Мамка, у всех — куртки! Мамка, у всех — костюмы! На какие шиши их брать? К свекрови бежишь на хлеб занимать. Стыду...

Корытин молчал, оглядывая просторный двор, сарай, базы. Хозяйка, словно поняв его, сказала:

— Конечно, джуреки не грызем. Две коровки. Но ведь и нас шестеро, со свекровью. Бычков держим, поросят, козы... Но все — лишь на прокорм, на базар нечего отвезть. Раньше пух был в цене, платки. Девчата мои вяжут как огнючки. Ныне — хоть даром отдавай. Не берут. А где копеечку взять?.. Кормиться мы кормимся. Огород хороший. Картошки, капусты, закуток на весь год хватает. Но без копеечки тоже нельзя. Сами пообносились... Двести тысяч в январе дали. И все. Лишь ходит на работу, обувку рвет. Добрые люди...

— Ну, хватит... — остановил речи своей хозяйки Степан. — Иди...

— Вот и хватит. — Она будто послушалась его, поднялась и пошла, но напоследок бросила: — Люди цветут, а мы...

— Замолчи! — прикрикнул Степан неожиданно резко.

Его услышали дочери, смолкли. К ним и ушла хозяйка, принялась им что-то вычитывать. А хозяин, словно лишний пар спустив, сказал задумчиво:

— Туда-сюда кидаешь умом. И везде, парень, — решка.

— Вы перед другими еще козыри, — возразил ему Корытин. — Другие колхозы разве сравнить? У них все порезано, коровьего мыка нет, стены доламывают.

— И мы того не минуем, — твердо ответил Степан. — Вот-вот зашумим: спасайся кто как может. Мы вниз летим, но пока за ветки цепляем штанами да рубахами, а ветки кончатся — тогда ой как загудим.

Он помолчал, а потом неожиданно улыбнулся, вспомнил:

— Мы когда переехали сюда из Кумылги, прямо не верили: чудо какое-то. Каждую неделю — выходные. В клубе — концерт, артисты приехали. А хочешь, в город поезжай, в цирк, на своем автобусе. И все — бесплатно. На стадионе — соревнования, тренировки. Я в городки играл. По области всех побивали.

Он сидел большой, чубатый, ручищи — могучие, для таких городошная бита — игрушка. Корытин помнил, как одним ударом сбивал Степан фигуры. Ахнет — и смел. Ахнет — и новую ставь.

И вдруг этот богатырь пожаловался негромко, оглядываясь на жену:

— Ну, не могу я воровать. Понимаешь, не могу.

Но жена услышала:

— Надо у людей учиться, а не слезы точить. Техника — в руках. Люди при технике...

— Замолчи! — крикнул Степан и снова стал говорить Корытину, жалуясь, негромко: — Ну, не могу. Не привык. Мне стыдно. Я сроду колхозного пальцем не тронул. Я работал. Я этого зерна по двадцать, по тридцать тонн зарабатывал. Девать было некуда. И деньгами хорошо зарабатывал. Каждый месяц получал, потом — премии: за уборку, по результатам года, тринадцатая зарплата. Мы раньше даже свиней не держали. Надо, осенью покупаем тушу. На курорты ездили, по путевке. В Германии были, в Польше, в Болгарии, на Золотых Песках, в Прибалтике. Я работал и зарабатывал. Зачем мне воровать? И я не привык. У меня и батя всегда говорил: работать надо. Я с ним с тринадцати лет. В тринадцать лет, в первую уборку, больше трех тонн заработал. Ну зачем мне было воровать? И поэтому я не могу. Мне кажется, что все видят, глядят. Мне стыдно... Ты веришь, братушка, мне стыдно... И красть стыдно. И стыдно, что семью не могу обработать. Вот и кидай умом. И везде получается — решка. Другая жизнь пошла. К ней не применишься. Сломался трактор, идешь к механику, шестерню ли, подшипник какой, и ответ один: «Сам ищи». Где искать,

кто мне где положил? Весь чермет, все свалки десять раз перебрали. А он свое: «Ищи! — И весь сказ. — Тебе работать, значит, ищи. Покупай. Денег нет? Значит, станови трактор, иди домой». Вот и все разговоры.

Корытину все дела колхозные, все беды были известны. Но думалось прежде, что колхоз отцовский все же покрепче. Он и был крепче: земля обработана, скотина — живая. Но что проку...

— Ты лучше кума поспрошай, может, у них кому машину нужно. Все же — район... — сказала хозяйка.

— Чего? — не поверил Корытин. — Машину продаете?

— Приходится, — нехотя отозвался Степан.

— Ты чего?.. Это какую за уборку получил? Награда?

— Она самая. Конечно, жалко. Но обойдемся мотоциклом.

— Награды... За наградами тоже приезжали. Продай да продай, — сказала хозяйка.

— Ордена?

— Да. Приезжают. Чужие спрашивали. И свои — сынки Вахины. Ведь узнали. Два ордена Ленина, говорят, и этот... Революции. Это большой каковой. А откуда узнали? Кто им доложил?

— А чего узнавать, — объяснила одна из дочерей. — В школе папкина фотография, большая. Там он со всеми наградами.

— Ну вот! Весь белый свет знает. Залезут и упрут. Может, и вправду лучше продать? По сколько они обещали?

— За Ленина пятьсот, за Октябрьскую революцию тоже пятьсот тысяч.

— Негусто, — усмехнулся Корытин. — А за медали и вовсе...

— Те вовсе негожи. А их чуть не десяток.

— Семь, — подсказала одна из дочек. — А почетных грамот и дипломов шестьдесят три и у мамки — двенадцать.

— Вот бы чем торгануть, — засмеялся хозяин.

А Корытин спросил его:

— Может, тебе землю взять? Три, даже четыре пая у тебя. Поздновато, конечно...

— Не хочу и думать об этом, — решительно отказался Степан. — Чем ее ковырять, эту землю? На гранях отведут, за тридцать верст. Один тракторишко если и выделят, то — утиль. А семена, горючее, удобрения? Где брать? На какие шиши покупать? Это — одни слезы... Кто попервах выходил, те еще дышат, но тоже через раз. А у нас в колхозе, сам знаешь, неплохо жили и никто в эти фермеры не стремился. Работайте, твой батя говорил, — и все будет. И не суйте нос... Оно и верно, кум. Тот же банк. С какой стороны к нему подходить? Там бумаги, там надо расписываться за все. Обдурят. А продавать зерно? Какие из нас купцы? Облапошат. Нет, не с нашим умом. В колхозе выросли, с колхозом и помирать.

Хозяйка издали, через двор, но разговор услышала и попросила, тревожась:

— Не надо, кум, его туда пихать. Последней хаты лишимся. Да-да... Отымут. Были такие случаи. Отведут глаза, подпись поставишь, а потом милиция все забирает, вплоть до хаты. Это — истинная правда, кум. Нашего брата всяк норовит обмануть. Уж лучше по-старому, в колхозе. Тебя — в председатели, заместо отца.

— Это кто придумал? — спросил Корытин.

— Идут поголоски... — пожал плечами Степан. — Всякое говорят. Может, возьмешься? Берись, — попросил он. — Ты все же при власти и в силе, голова варит. Иначе нам точно решка. Без хозяина — вовсе конец. Поставят абы кого... Вон в Грачах. Поставили бабу — и за ночь разнесли мастерскую. Все дочиста. Вплоть до ворот.

— Сами же разнесли, — сказал Корытин.

— А то кто же, сами... — подтвердил Степан.

— И правильно сделали, — постановила хозяйка. — Хоть чем да поджились. Иначе бы председательше в карман утекло. Она всю скотину за месяц на север отправила. Дуракам глузды забила: там — цены, там — цены... И ни скотины, ни цен никто не увидал. Зато сынок ее в городе магазин открыл. Вот и радуйтесь... Всяк норовит обдурить. Такое время.

Корытин стал прощаться. Уже стемнело. Проводили его до ворот.

— Может, и правда, кум, — попросила хозяйка. — Как мы хорошо жили при твоём бате! Может, и ты возьмешься?..

Что мог Корытин ответить, что обещать?

Проводили гостя за ворота. Вечер еще не принес прохлады. Веяло теплом, ароматом цветов, которые росли в палисаднике.

— Цветы у вас красивые, — похвалил Корытин. — Молодцы, девчата.

Он постоял возле палисадника. Время было позднее. Но еще не погас в мире летний призрачный свет. И без огня виделась улица, дома.

Хозяйка подала узелок.

— Тут — рыба, сметана, пышечка. Позавтракаешь.

А младшая из ее дочек успела нарвать букет цветов.

— Возьми, крестный, — сказала она. — У тебя же нет, а у нас — много. А хочешь, мы и тебе цветов насадим. Они еще успеют, вырастут.

— Спасибо, мои хорошие. Рук не хватит донести ваши подарки.

— Мы поможем! — ответили ему хором.

Помогли. Проводили все трое. И пока шли, старшая говорила и говорила:

— Крестный... Мамка сама жалуется: нет денег, спасибо, бабушка пенсию получает, ее обираем, папку ругает каждый день... Но их ведь и не будет в колхозе, денег. А жить надо. Ну, кончу я техникум, получу диплом. А куда с ним идти? А манекенщица — это специальность. У нас в городе есть дом моделей. Может, у меня получится. Жить-то надо.

Она говорила и говорила до самого дома, пока Корытин не зажег на веранде свет и не сказал:

— Спасибо, что довели до места, — и добавил, для старшей: — Я стараюсь все узнать как можно скорее. И тогда мы с тобой поговорим.

6

Когда Корытин остался один, первое, что он сделал, — поставил цветы в воду. Нашел стеклянную банку, набрал воды и поставил букет посреди веранды, на стол. Даже в электрическом свете хорошо было глядеть на яркую пестрядь голубого, зеленого, алого, желтого. Садовые ромашки, васильки, лилии...

Корытин глядел на цветы и видел свою крестницу, милое лицо ее. Как объяснишь, что приглашают, что зовут ее не к доброму? В Греции ли публичный дом, в Турции или в Германии — вот и весь выбор.

На свет, а может, на цветочный дух на веранду стали слетаться ночные мотыльки да бабочки, кружась возле абажура и освещенного букета. И тут же объявился гость — старый агроном Петрович, такой же, каким был всегда: сухонький, шустрый, вприскок ходил ли, бегал в заломленной кепочке. Как воробей он всегда насканивал, сухим перстом грозил провинившемуся трактористу: «Ты — неграмотный, да?! Глубина заделки?.. Кто такой — глубина заделки? Ты не понимаешь?!» Или дома, собственную жену вразумлял: «Горячие должны быть щи! Горячие! Потому что это — щи! А не больничный супчик!»

— Чего глаз не кажешь?! — с ходу попенял он. — Ждешь приглашения?

— Лишь к базу прибил... — оправдался Корытин. — Хату открываю.

— Нечего ее и открывать! Какой прок! Там — ни выпить, ни закусить. Одни дохлые мухи. Пошли!

Отнекиваться или возражать было бесполезно. Петрович уже развернулся и заспешил со двора, твердо зная, что его слово — закон.

А в доме своем, еще со ступеней веранды, он крикнул:

— Бабы! — и объяснил Корытину: — Телевизор. Опиум для народа. Не религия, а именно телевизор, — подчеркнул Петрович. — Вечернюю дойку коров в колхозах сдвигают, потому что доярки хотят посмотреть «Просто Марию». Ты понял?

Сели на веранде, у стола, который тут же стал обрастать едой и закусками. Накрывали стол двое: жена Петровича и молодая темноглазая женщина, которую Корытин признать не мог.

— Не угадываешь? — спросил Петрович, перехватывая взгляд гостя. — Володькина дочка, Таня.

Корытин лишь руками развел. Володю он еще помнил, а уж дочку его...

Когда, по мнению Петровича, стол стал глядеться пристойно, он скомандовал бабам: «Все! Исчезли!» Сам же заспешил к своим ухоронам за питием. Пока он ходил, жена Петровича спросила о старом Корытине, поохала. Хозяин и без расспросов все знал. Первую рюмку он поднял, сказав: «Помоги ему бог». И больше об этом речей не было.

— Как? — спросил Петрович, опорожня рюмку и глядя на гостя, который, зная обряд, понюхал питье, пригубил, почмокал, а уж потом выпил.

— Марка... — одобрил Корытин. — Фирма.

— Но ты не знаешь. Настаивать нужно лишь неделю. Не больше. И сразу отцедить. Иначе весь букет пропадет, останется горечь.

Водку Петрович делал сам. Двойная перегонка, тройная очистка, потом — коренья да травы. На пенсию он ушел давно. Время позволяло и свою водку делать, и заниматься хозяйством.

Все было на столе: провесной балычок и копченая утиятина, мясо, вареники, блины с каймаком.

— Листовка! — объявлял Петрович и наполнял рюмки прозрачной, с прозеленью настойкой, которая пахла смородиновым листом. — Огурчиком ее закусим. С хрустом!

— Хреновка!

Эта настойка была вовсе светлой, но дышала остротой только что натертого хрена.

— Ты чего приехал? — теряя вдруг пыл, скучно спросил Петрович. — Батя послал? Точно? Илью Муромца... Лети, мол, спасай. Уборка! Зимовка! Без догляду! — Он пригнулся над столом, заглядывая в глаза Корытину. Тот молчал, потому что знал: Петровичу ответ пока не нужен. Не выговорился. — Послал... Чую... Сам уже не может шашкой махать, значит, молодого — в атаку.

Петрович замолчал и сказал с печалью, но твердо:

— Уезжай, родной. Не ломай себе жизнь. Сила пришла, какую шашкой не возьмешь. С ней и пушкой не сладишь. Гаубицей.

— С кем? — спросил Корытин.

— Антанта! — воздел сухой перст Петрович. — Новая Антанта, я ее так зову. Мировая мощь. И с большим умом. Старая была дураковатей. «Навалимся... гужом... задавим...» А с Россией так нельзя, силой. Это пробовали не раз. Дубиной, но отмахаемся. Живота не пожалеем, но отстоим. Новая Антанта все учла. Весь опыт. Поставила задачу: взломать изнутри. Зачем идти войной, губить территорию, рабочую силу. ЦРУ работало. Внедрить. Подкупить сто человек, самую верушку. Их руками все сделать. Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев... Все продумано, все расписано, лишь исполняй. И все исполнено: Союз развалили. Первый этап. Начали второй, по сценарию. С новыми людьми: Ельцин, Гайдар, Чубайс... Эти — для России. Чтобы ее доконать. Умные люди. Все по сценарию. Для каждой страны

свой план. Для Германии — план Маршалла. Для Японии — план Макартура, для Советского Союза, для России авторы пока в секрете. Но все выполняется точно и в срок. А ты приехал, Илья Муромец... Испугались они тебя, аж трясутся... ЦРУ! Точная работа. Каждый объект на учете. Мы раньше, после войны, удивлялись немецким картам. Там каждый хутор, вплоть до дома, обозначен. Каждый полевой стан. И даже — отдельное дерево. У ЦРУ — то же самое. Все в плане учтено. Развал должен быть окончательный. Каждый колхоз, каждая молочно-товарная ферма должны быть уничтожены до фундамента. Каждая кошара!..

Корытин за эти годы наслушался и начитался всякого, ничему не удивляясь. Это раньше втихую поругивали власть. А нынче — свобода. С утра до ночи шуми. Работа ли, совещание, новый человек или старый друг — об одном речь, потому что боль одна. Хотя понять происходящее ума не хватало. Один хорошо говорит — ему веришь, другой — еще лучше. И врут не краснея, хоть плюй в глаза. Голова кругом идет.

— Ограду на фермах, на гумне ЦРУ повалило? — спросил Корытин. — Трубу, посреди хутора лежала, они уперли?

— Конечно! — подтвердил Петрович. — Все — по плану. Вон они, сидят... — кивнул он. — У телевизора. Что старый, что малый, не оторвешь. Три программы. На всех — одно и то же: украл завод, украл город, убил, зарезал, украл. Один три миллиарда упер, другой поотстал, лишь два с половиной. А вчера — все ровные, при семидесяти рублях. И они — не воры. Ни в коем случае! Приватизаторы! Умнейшие люди! Профессора, академики... А какие вовсе бандюги с обрезом, это — наше будущее. Они награбили и стали — цветки лазоревые, почетные граждане. Вот так нас и убедили. И все теперь знают: воруй все подряд, что под рукой. Газпром — значит, Газпром. Норильск плохо лежит. Его прикармань. Далеко до Норильска? И ума не хватает? Значит, хватай поросенка с фермы. И говори, что приватизация, третий этап. Воруй как можно больше. Потому что за портянку с забора участковый может сграбастать. А за миллион — побойтся, за два — честь отдаст. Это уже все знают, убедились. Либо не так?! — вскинулся он, ожидая ответа.

Что мог ему Корытин сказать?.. Спорить давно уже не хотелось. Что проку от пустых споров?.. Тем более с людьми старыми. Их жалеть надо. И потому он лишь улыбнулся, головой покивал, соглашаясь.

И Петрович тоже выдохнул, словно выпуская пар. Выдохнул, наполнил рюмки и, подняв свою, держал ее в сухой, но крепкой руке, разглядывая на свет питье.

Но говорил о том же, спокойно и с горечью:

— Да, много дураковали партийные власти. Командовали кому лень; умничали. Все о Никите да о кукурузе галдят. А кукуруза — в помощь. Без нее бы скотины не было. Спасибо Никите. А дурости было много, всякой. Но помаленьку в гору шли. А в последние годы и вовсе. Какие фермы построили для скотины, какие мастерские, полевые станы, кошары... Зачем все это разламывать? В «Комсомольце» комплекс по переработке овцы, ты знаешь, за валюту купили. Полная переработка. Загоняешь овцу, на выходе — мясные консервы, костная мука, дубленка. Все растащили, за гроши распродали... В «Пролетарии» холодильник на двадцать пять тонн разбили, медяшки выдирали на металллом. Лабораторию разгрохали — спирт искали. Все разбить, разгромить, скотину вырезать, поля вконец испоганить... Нет! — убежденно сказал он. — И в Америке, в этом ЦРУ, тоже дураков хватает. Зачем громить? А потом начинать с землянки, по кирпичику снова собирать. Тут они недодумали, перестарались.

— Может, на нас понадеялись? — спросил Корытин. — Что мы сами сообразим.

Серый денек,
Белый летит снежок.
Сердце мое...
Сердце мое... —

повторила она и смолкла, глядя на деда:

— Тебе плохо?..

Петровичу было и вправду нехорошо. Его увели в дом, уложили, дали лекарство.

А гостя провожали до ворот и на улицу. Говорила о Петровиче супруга его, жалуясь:

— Так близко все к сердцу берет. С телевизором с этим, пропади он... А из дома уйдет — еще хуже. В контору ли, в магазин... Там — новости. А доброго — ничего. Придет, расстроится, таблетки глотает. Все тебя ждал...

— Меня?.. — удивился Корытин.

— Вас! Так ждал! — горячо подтвердила Татьяна высоким певучим голосом. — Он придет, говорит, наведет порядок. И многие так говорят на хуторе: вот придет...

Корытин же о дневном, о колхозном, будто вовсе забыл. Иное было в душе: теплый вечер, молодая женщина, певучий голос ее, сердечная доброта. Давно уж такого не было. «Серый денек...» — вспомнил он и пропел, промурлыкал негромко:

— Серый денек, белый летит снежок. Сердце мое... — и споткнулся, сказав: — Я эту не знаю, не слышал. Новая...

— Сердце мое... — повторила вслед за ним молодая женщина и рассмеялась. — Споем еще... — пообещала она.

Распрощавшись, Корытин ушел. А потом в пустом душном доме раскрыл настежь окна, впуская ночную прохладу.

Он заснул скоро, но успел почуять свежесть воздуха, а перед смеженными глазами пошел медленный хоровод дневного: Ваня, мать его, Моргуны, кум Петро с дочками, яркие цветы палисадника, хуторские дома, речка с вербами, пестрое стадо коров, пшеничные, ячменные поля, легкое серебро их, струистый след ветра... Будто вернулся в детство ли, в юность.

Он заснул крепко, и снились ему молодые жаркие сны. А разбудил поутру не только урочный час, но петушиный крик, стон горлицы и негромкий людской говор...

Соседский петух дважды прокричал и смолк; горлица где-то рядом стонала убаюкивающе и сонно: спи да спи; а вот говор людской тревожил непонятностью: кто-то разговаривал совсем рядом. Это была явь, утро.

Корытин поднялся, вышел из комнаты на веранду. Там его ждали ранние гости: старый учитель Зотич, в очках с толстенными стеклами, фельдшерша Клавдия, давняя соседка Тимофеевна, с ней еще на Зоричеве рядом жили. Встретили его с мягким, но укором:

— Зорюешь долго, председатель.

— Ждем тебя, ждем...

— Господь с вами, — открестился Корытин. — Какой я вам председатель? Кто придумал?..

Договорить ему не дали:

— Не отпихивайся...

— Ты — при власти, в районе...

— Всем — об стенку горохом!

— Наши как печенег сидят, хучь варом на них лей...

Корытин понял, что спорить и доказывать — бесполезно.

— Родные! — громко сказал он. — Не галдите. Чем могу, помогу. Жальтесь по порядку.

Выслушав одного да другого, он со вздохом сказал:

— Пошли в правление. Там сподручней.

Колхозная контора ждала Корятина уже другой день. Он пришел. В отцовском кабинете, который пустовал без хозяина, со стариковскими заботами худо ли, бедно разобрался. Настало время иного.

Не сговариваясь, по одному сошлись в председательский кабинет старого Корятина помощники, «спецы». Давнишний заместитель по прозвищу Личный. «Лично Корятин приказал... Сам лично проверит...» — пугал он непослушных. Со стуком, на костылях, пришагал одноногий главбух Максимыч. За ними — агроном да зоотехник, кто-то еще из конторских. Понемногу собрались, расселись на стульях, вдоль стен кабинета. Словно обычная планерка вот-вот начнется.

Корятин поглядел, все понял. Напрямую отказать было вроде неловко, да и отец об отказе узнает. И потому разговор пошел, как говорится, вокруг да около.

— Слышал — рушилку отдаете? Зачем?

— Без толку лежит, — объяснили ему. — А за нее обещают долги погасить по электричеству и вдобаву — векселя. Горючего возьмем, запчасти.

— Какими векселями? Областными? Значит, дисконт — наполовину. И за горючее по векселям шкуру сдерут. Это вы зря придумали. Добрые люди нынче, наоборот, переработку покупают. На ней выжить можно. От проса ногой отпихиваются, за так не берут. А пшено можно продать военным, железнодорожникам, на горючее обменять. Так что рушилку зря отдаете. Чем так торговать, как говорится, лучше уж воровать. И с молоком, гляжу, дело у вас не клеится. Надои все ниже. А коровки — хорошие. Но у коровы молоко на языке... Корма... Да и какое есть молоко без толку молзаводу, а ведь можно...

Корятин говорил и говорил слова верные. Но в кабинете поскущнели, по тону поняв, что в председатели вместо отца он не пойдет. А что до слов, до советов... Их много и много было слышано в этих стенах от людей приезжих, начальственных, которым сверху и со стороны, конечно, видней.

— Молоко можно либо напрямую продавать, с машин, в городе, либо договориться, тоже напрямую, с городским хладокомбинатом. Со своей стороны я вам, конечно, буду оказывать помощь, но и вы должны энергичней работать, время нынче такое...

Корятин говорил мягко, с улыбкой, он умел это делать.

Зазвонил телефон. Корятин поднял трубку и услышал голос отца:

— Ты, сынок?.. На месте уже? Работаешь? Слава богу. Спасибо тебе... — Отец глубоко вздохнул. Через телефонный провод явственно был слышен этот вздох облегчения. — Спасибо тебе, сынок. И прости меня Христа ради. Ты пообещал, уехал, а я, старый грешник, не поверил. Думаю: это пустая говоря, потом увильнет, чего-нибудь придумает... Спасибо тебе, мой сынок... Спасибо...

Корятин слушал опустив голову и прикрыв ладонью глаза. А когда отцовская речь оборвалась и телефонная трубка запела гудком, Корятин не опустил ее. Держал, слушал, словно ждал иного. И наконец положил трубку, потом отвел от лица ладонь.

Глаза его глядели холодно. После недолгого молчания он сказал, ошеломляя уже в иное поверивших людей:

— Тянуть нечего и некогда. Завтра — собрание. Всех — не созывать. Лишняя галда. С утра пусть во всех подразделениях выберут уполномоченных. Протоколы оформлять как положено. Чтобы потом никто не придрался. В шестнадцать ноль-ноль соберемся. Сегодня в четырнадцать всем руководителям бригад, ферм и прочего быть у меня. Определим, кого выбирать.

Голос звучал скучно, скрипуче, словно через силу.

Назавтра Корятина-младшего выбрали председателем колхоза. Единогласно. Голосование — тайное, как и должно быть.

Повторись эти выборы даже неделю спустя, такого бы не случилось.

Ранним утром в Староселье и Зоричеве, считай, в одночас загромыхали по кочкастым хуторским улицам просторные телеги-стоговозы, прицепленные к могучим тракторам «Кировцам»; вослед им — рогатые стогометы.

Днем раньше в бригадах, на фермах было объявлено, что хорошее сеяное колхозное сено — житняковое, эспарцетовое, — какое в сенокос по дворам растащили, надо вернуть. Объявленное послушали, похмыкали. Мало ли нынче слов...

Но ранним утром загромыхали по улицам пустые телеги-стоговозы, зарычали тракторы, идущие друг другу вослед. Нашествие началось.

На хуторе Зоричев далеко ехать не пришлось, встали у первого же двора. Из одной кабины вылез Степан — кум нового председателя, из другой — участковый милиционер Максаев. Хозяйское гумно размещалось рядом, за крепкими жердевыми воротами. Их широко отворили, зашли. Стог эспарцетового зеленого сена красовался на самом виду. На защиту его бежал от дома хозяин, крича:

— Куда лезете?! Чего на чужом базу потеряли?!

Степан, глядя поверх головы хозяина, что при его высоком росте было нетрудно, заученно проговорил:

— Правление постановило. Эспарцетовое и житняковое сено со дворов свезть на ферму.

— Со своего гумна и вези! — зло ответил хозяин.

— Свез, — коротко объявил Степан. — Вчера. Две телеги. Жена досе ревет. Утром и завтракать не дала.

Пока собеседник моргал, переваривая услышанное, Степан махнул рукой, запуская на гумно стоговоз и стогомет. Хозяин, опомнившись, кинулся закрывать им дорогу.

— Назад! — кричал он. — Не имеете права! Я покупал сено! Лично!

Могучий Степан легко отгеснил его в сторону, где участковый милиционер Максаев, человек не молоденький, тертый, перехватив крикуна, стал ему спокойно внушать:

— Документ есть? Купли-продажи? Предъяви. Нету. Нечего предъявлять. Тогда чего шумишь? Наш колхоз сеяного сена никому не выдавал. Значит, ты сам его взял, не спросясь. А о чем тогда крик? Спасибо скажи, что не пишу протокол, не привлекаю.

— Не дам... Я лучше сожгу его!

— Жги... — спокойно ответил участковый и поднял глаза, огляделся. — Жги. Как раз ветерок к твоей хате.

Ветер и вправду с утра шумел, серебря маковки тополей, легко пригибая их.

— Жги, родный... — мягко повторил участковый. — Сам — в тюрьму, домашние — по соседям. Если те уцелеют.

Тем временем стогомет, ловко подхватывая снизу длинными железными рогами слежавшееся плотное сено, поднимал его, натужно урча, чуть не стогом и укладывал на просторную платформу тележки. Потянуло острым сенным духом, сенная пыль запершила.

Со двора, на помощь хозяину, спешили его домашние: жена да отец-старик, в бороде, с костью наперевес, словно с пикой.

— Помогитя-а-а!! — истошно вопила хозяйка. — Грабят-ат! Люди добрые!! Чего рот раззявил!! — кричала она мужу. — Отец! Отец! Ружье неси! Пужани их! Имеешь право! Грабят-ат! Помогитя-а-а!!

Но поздно было кричать. Стогомет со своим делом справился ловко. На месте высокого аккуратного скирда остался лишь светлый знак его; с писком разбегались по сторонам, ища укыва, юркие мыши-полевки.

Как говорится, лиха беда начало. Дальше поехало и пошло. Проверяли за двором двор.

— Правление постановило... — заученно, не глядя в глаза, повторял Степан.

— Документ есть? — допрашивал участковый. — Наш колхоз сеяного сена никому не давал. Откуда взялось? С неба упало? Давай справку от небесной конторы. Нету? О чем тогда разговор? Молись богу, что не составлю протокол, не привлекая. А ведь могу и привлечь.

Весь долгий день висел над хутором сеной острый дух, словно в июньскую сенокосную пору. Громыхали пустые телеги. Тяжко катили груженые.

И весь долгий день взрывался по хутору то один, то другой двор криком да руганью, бабьим плачущим воплем:

— Чтоб тебя лихоман забрал, бесстыжая морда!

— Чтоб тебе сохнуть и высохнуть в мышинные черева!!!

— Набрать полон рот слюней да харкнуть! Чтоб ты захлебнулся!!

— Ой, люди добрые!.. Сладили, сладили со вдовой!

— Берите! Везите! Корову сводите со двора! И детву забирайте! Будете их сами кормить! Колхозом!

— Чтоб тебя!.. — а дальше шло «в бога», «в креста», родителей поминали, живых и покойных. Первым от таких поминаний икалось, вторые — в гробу ворочались.

А порой — лучше бы матерились.

— На чужом сенце не расцветете. Оно вам поперек горла станет.

Доставалось всем. Но более всего — Степану.

— Родной... Ты чего уж так стараешься нас кулачить? Рогами землю роешь? — спросила с горечью одна из баб. — Корятин пыль собьет и увестя. А тебе — жить, и детям твоим...

— Вот именно... — угрюмо подтвердил Степан.

— Чего именно?

— Жить! — с каким-то остервенением сказал Степан.

Баба испуганно отшатнулась. А потом убеждала всех: «Их дурниной опоили! Дурниной... Всех! Они — бешеные!»

Для Степана слово «жить» осталось в памяти, отпечталось из недавнего разговора, когда Корятин сватал его на нынешнее поганое дело. Корятин тогда собрал людей, объяснил: колхозное сено надо вернуть, иначе — ни молока не будет, ни телят. А значит — денег. Надо вернуть растащенное.

В словах председателя все было правдой. Степан сразу сказал:

— Со своего база сам привезу, — и также твердо добавил: — А людей кулачить не буду. Ищи другого. Мне стыдно. Не могу.

— Ах, не можешь?.. Стыдно?.. — проговорил Корятин и, поиграв желваками, рубанул сплеча: — А перед своей семьей, перед девками своими тебе не стыдно?! Нарожал, а кормить кто будет? В драных чулках ходят. И это тебе не стыдно?

Степан побледнел, пытался что-то сказать.

— Молчи! — остановил его Корятин. — Твоих детей обижают. Обкрадывают. По миру пускают. А добрый стыдливый папа лишь руками разводит. Раз стыдно, значит, не держи своих девок под замком. Чему быть, того не миновать. Нынче старшую отправляй к туркам, пока в соку. А следом — других!! Раз папа у них стыдливый. Нехай едут.

Корятин сказал — словно ударил. Мертвенная желтизна разлилась по лицу двоюродного брата. Сжались тяжелые кулаки.

Корятин гадал: ударит, нет?

Степан не ударил, вытерпел. А Корятин, перемолчав, добавил:

— Ты пойдешь. Сено, какое растянули, свезете. А после уборки примешь бригадирство на ферме. Будешь там работать. Будешь деньги получать, — подчеркнул он, — семью содержать. На ферме будешь, пока дочь не выучится и не сменит тебя. Чтобы она училась спокойно и твердо зна-

ла: есть у нее отец, есть надежда, есть место в жизни. Давай, брат, работать, — помягчел он. — Это старый кобель сидит на косогоре, жмурится и ждет, когда его повесят. А нам еще рано сдаваться.

Самому Корытину такие разговоры были очень несладки. Но как по-иному?..

К старому Петровичу в дом он ходил еще до собрания, сказал словно решенное:

— Пойдешь ко мне заместителем. Чувалы с зерном тягать не заставлю. По полям мыкаться тоже не будешь. Верный глаз нужен. Сиди и приглядывай.

Петрович моргал растерянно. Разом запричитали жена и внучка:

— Он еле пекает... Вовсе здоровья нет. На таблетках сидит. Помрет...

— Помрет? — переспросил Корытин. — Мы все помрем. Второго века не будет. Но помирать легче со спокойной душой. А не в слезах да в соплях, из-за плетня выглядая да слушая, как колхозная скотина с голоду ревет. Работать надо, — постановил он, — а не под бабьей юбкой сидеть. У меня у самого — сердце, — признался он. — При деле оздоровеем, при людях. Они не дадут нам дремать да хворать. Наши люди, они...

Люди и впрямь не давали дремать.

В короткие дни центральная усадьба и Зоричев зашевелились, гудя, словно растревоженный улей:

— Не имеет права...

— Будем жалиться...

— Нынче, парень, не те времена...

Но сено свезли с подворий на колхозные гумна, поставили скирды.

— Вахину скотину кормить, — при Корытине сказал кто-то вслух. — Вот кому — жизнь, при любой власти. Аж завидки берут.

Корытин ответил недобро:

— Не завидуй. Нечему завидовать.

Свезли сено. На гумнах, возле коровников и свиначен работали автокраны и люди, поднимая могучие ограды. Поверх оград в три ряда протянули колючую проволоку. Оцинкованную, новенькую, она под солнцем сияла. Болтали, что электрический ток по ней пущен.

— Оборону будем держать... — похмыкивал кое-кто.

Восстановили ограды; на проходных за железными воротами уселись караульщики. Доярок да скотников пропускали на фермы лишь пешими. Вся личная «техника», вплоть до велосипедов, оставалась снаружи.

— Концлагерь...

— Надо жалиться — в газету писать.

— Профсоюз куда глядит...

— Куда и раньше: в рот заглядает.

— А если прокурору? Прокурор не похвалит...

У Корытина ответ был один для всех:

— Забудьте всю эту болтовню про газеты и прокуроров. Их нет. А я — вот он, сами выбрали, единогласно. Кому не нравится, дорога на все стороны. До самой Америки, до Израиля. В двадцать четыре часа. И никаких прокуроров. — Глаза у него делались холодные, прямо ледяные.

— Но это смотря кого... — говорили уже за спиной, шепотом.

Корытин и без чужого шепота знал, без намеков, где чирей сидит.

А подсобить мог — хоть и душа к тому не лежала — лишь Ваня, тот рыжий мальчонка, помощник старого председателя, а нынче — чеченца Вахи пастух.

Ваню Корытин встретил в степи, колеся по округе.

Отара овец, две большие мохнатые собаки, в руках мальчишки — чабанский посох-герлыга.

— Возьми лучше меня в колхоз на работу, — просил мальчик. — Я с гуляком управлюсь, хоть — пеше, хоть — на коне. Могу и в свиначнике...

Корытин, думая о своем, спросил:

— Ночуешь у Вахи?

— В вагончике, — ответил мальчик, — все работники там спят. Ваха — добрый, а вот пацаны его...

— Потерпи... — попросил Корытин. — Недолго. И приглядись. Что там и к чему. Осторожненько. Может, и впрямь есть оружие. Пригляди... — Он говорил и недоговаривал. — Нам будет нужно. А кроме тебя некому. Гляди, осторожно гляди, заметишь — молчи до срока. Я дам знак.

Корытин говорил через силу, перебарывая себя. Он понимал, что научает мальчонку неладному. Но по-иному как? Серьезный нужен крючок, чтобы не сорвалось. Капкан нужен волчий. Чтобы попал и не выдрался.

Он поговорил, уехал, досадуя на себя, совестясь, но и надеясь. Мальчишка — смысленый.

Быстро пролетела неделя, за ней — другая. Погода стояла жаркая. Спели хлеба.

8

Уборку начали празднично. Прямо в поле Корытин речь держал, поздравляя. Потом комбайны вышли в обкошенные хлебные делянки. Стоял полудень. Бронзовела пшеница. Стрекотали жатки. Первые копны легли на стерню, и повеяло хлебом: горячим духом пшеничной соломы, зерна.

Корытин уехал с поля не сразу. Вместе и порознь с агрономом и бригадиром ходили и ездили от комбайна к комбайну, от копны к копне, проверяя, как обмолачивается колос, порой останавливая машины, подлаживая их, как это всегда бывает в первый день жатвы и молотбы. Полнились бункеры; потекло зерно тяжелыми струями в кузова машин, тележки тракторов. И вот уже поднялись над степью длинные шлейфы пыли: первый хлеб повезли на ток.

Уехал туда и Корытин, чтобы проверить и поглядеть. Он так и мыкался целый день, от поля к току — и назад. И лишь к вечеру сказал: «Поехал на хлебоприемный». Но это уже было лукавством. В районном центре на хлебоприемный пункт он даже не заглянул. Иным был занят.

В путь обратный он выехал ночью. В его машине сидел человек в погонах. Позади катила другая машина, с дюжими ребятами при оружии, в пятнистой форме.

На центральную усадьбу прибыли в полночь. Но их ждали. В колхозной конторе окна не светили, но на гул машин вышли два человека: взрослый и мальчишка. Разговор был не больно долгим. Мальчик говорил торопливо, вздохнул, его останавливали:

— Понятно... Понятно... И это понятно. Это — точно? Понятно. Хорошо. Вопросов нет. Ты останешься дома. Сделал свое, молодец. — И короткая команда: — Скотовоз и «КамАЗ» бортовой к Вахе. За рулем — Молчанов и Чинегин. Полная заправка, путевые листы.

И снова поехали, теперь уже на хутор Зоричев, который крепко спал во тьме густой июльской ночи. Лишь на окраине желтели тусклые огни скотских ферм, да во дворе чеченца Вахи ярко светили на высоких столбах огромные лампы, к которым со всей округи слеталась летучая тварь и кружилась возле огня, словно метель мела.

Подъехали к самому дому, долго сигналили, из машин не вылезая.

— Кого надо? — спросил из тьмы сиплый голос.

— Хозяина!

Вышел полуодетый Ваха.

Долгих разговоров не было. Испуганно и спросонок моргали понятые — соседские мужик с бабой.

Ваха не сразу в себя приходил, потому что гости были серьезные: не свой участковый, не райцентровская милиция, а офицер в защитной фор-

ме и ребята с ним — не шутейные. Они быстро перетряхнули дом, все кладовки его, нашли автомат, пистолет, две гранаты. Работников, которые ночевали в вагончиках, подняли и велели пригнать с дальнего база, от речки, двенадцать бычков-абердинов черной масти. В просторном сарае курганом лежало свежемолоченное зерно. В бетонированной яме, возле свиных загонов, — тоже зерно.

Закончив обыск, работников-бичей заперли в вагончик. На улице под фонарным огнем писались протоколы обыска. Ваха принялся было за привычное:

— Дорогой... Погоди... Зачем спешишь? Мы — люди...

Но ему приказали:

— Молчать. — И еще раз: — Молчать! Или рот заткнем.

Он хотел было к дому пройти, но сказали:

— Стоять.

Молчаливые ребята в пятнистой форме были строги. Вахиных сынков они успокоили мигом.

Наконец окончили бумажную писанину, отпустили понятых, сели тут же, на воле, втроем, под яркой лампой: Корытин, военный чин и хозяин. Ваха снова открыл было рот. Его остановили:

— Когда спросят, ответишь. А сейчас слушай внимательно. Краденое колхозное зерно, порядка десяти тонн. Двенадцать голов скота, украденных в Иловлинском районе, колхоз «8 Марта». Порода абердино-ангусская, клейма повреждены. Незаконное хранение огнестрельного оружия. Теперь — ваше слово. Коротко.

— Дорогой, так не надо: ночью, я думал, грабят, дети, жена... Мы разберемся, меня все знают. Я звоню нашему старейшине... Он подъезжает. Мы разбираемся. Какое зерно, кто меня обманул, указываю, у кого купал, при свидетелях. Какое оружие... Это игрушка, ребята нашли, не успели отдать... Молодые, глупые... Завтра поедем в райцентр...

— Сегодня поедем, — поправили его. — И не в райцентр, а подальше, вместе с твоими сыновьями.

— Я могу...

— Ты ничего не можешь. Уясни это. А мы можем еще и могилку раскопать.

— Какую могилку?

— Ты не знаешь какую?

— Бичи... Пьяницы... — начал сбивчиво объяснять Ваха. — Помирают... Хороним...

— Смотря как помирают. Но это — к слову.

Случайно или нарочно звякнул металл наручников.

— Все будет сегодня, сейчас. Слушай председателя.

Корытин продолжил речь:

— Слушай внимательно. Или тебя с сыновьями они забирают, — кивнул он в сторону военных, — или другой вариант. Называешь адрес за пределами нашей области. Забираешь скот, кроме этих бычков. Забираешь семью, имущество, и тебя везут по твоему адресу. Прямо сейчас. Выбирай. Времени на раздумья у тебя нет.

И, подтверждая слова Корытина, ко двору, к его яркому свету, медленно подползли два автомобиля — огромный скотовоз и бортовой «КамАЗ».

Ваха снова пытался что-то говорить, несвязное. Его оборвали:

— Три минуты на раздумья. Грузись — или увозим.

Ребята в камуфляжной форме, словно занудившись, стали прохаживаться. В такт шагам позвякивали наручники, пристегнутые к поясам.

— Бумаги отдаете мне?

— Бумаги в надежном месте. Мое слово — гарантия, — ответил Корытин.

Ваха шумно и коротко вздохнул, переводя взгляд с Корытина на офицера и обратно, сказал:

— Уезжаю.

Машины, утробно рыча, вползали во двор. Выпустили из вагончика работников-бичей. Началась погрузка с мычаньем да бляньем.

Той же ночью, еще до рассвета, груженные машины ушли из хутора.

Корытин с помощниками и понятыми успел проведать на хуторе еще один двор. Нашли зерно. Составили акт.

Корытин спать не ложился. Рано утром на поле, возле комбайнов, собрали всех: комбайнеров, штурвальных, шоферов, ремонтников. Корытин держал речь:

— Первый день уборки. Воровство. За хищение зерна Ваха с семьей выселен из пределов области. — Это уже было не новостью. Разлетелось. — Ворованное зерно обнаружено у Моргунова. Дело передано в прокуратуру. Краденое изъято. Пре-ду-пре-ждаю, — громко, раздельно и внятно сказал Корытин, — воровства зерна не допущу. Ни от комбайнов, ни при перевозке, ни с тока. Зерно — это жизнь колхоза. В целях сохранности точно определены и будут охраняться маршруты движения машин с зерном от комбайнов на ток. За малейшее отклонение от маршрута — немедленное увольнение.

— А если поломка какая, дорогу уступить, свернуть... — зачастил один из шоферов, поглядывая на своих коллег и ожидая поддержки.

— Говори, говори... — приказал ли, одобрил Корытин. — Говори сразу...

— Если чуток в сторону, указателей нету... Там — лесополоса, там — сверток...

— Говори, говори...

— Вот я и сказал.

— Все сказал?

— Все.

— Спасибо за честность, — поблагодарил Корытин и бригадиру приказал: — С машины его снять. Сажайте моего шофера. Вечером разберемся. Начинайте работать! — возвысил он голос. — И помните: дитё мамку сосет, оттого и живо, но сиськи у нее не откусывает! А кому новиньы, новой пшенички захочется, то уже по итогам первой недели заработанное зерно можно выписывать. Доставка на дом. Начинайте работать, — закончил он. — И пусть нам поможет бог.

Расходились молча. Без обычных в таких случаях разговоров, галды. Затрещали движки, один за другим расползались комбайны от ночной стоянки. И скоро потянулись машины, пыль, от поля к току, с тока к полю.

Но сегодня на этом привычном пути неторопливо колесили два «жигуленка», в их cabinaх сидели чужие люди — молодые, крепкие ребята в короткой стрижке. Порою их видели в придорожной лесополосе, возле хлебных полей, в дозоре.

В последние годы, лишь начиналась уборка, на свежее зерно, словно воронье на падаль, слетались большегрузные, да еще и с прицепами машины. Слетались и кружили возле комбайнов, дожидаясь своей поры. Расплачивались они сразу и наличными.

Нынче в первый же день несколько таких машин перехватила новая охрана и поставила «на прикол» в колхозном гараже, до выяснения.

Еще одна новость: участковый милиционер всех владельцев машин объехал и лично объявил:

— Две недели, пока уборка идет, со двора не выезжать. Иначе обещаю... — Понятно, что обещал.

На току в тот же день новая охрана вытрясла все бабы сумки с зерном. Начавшийся было гвалт остановил Корытин.

— Не голод, — твердо сказал он. — Хлеб — в магазине. Зерно еще работать надо. Малейшая попытка будет караться строго. И долго, — по-

обещал он. — У кого слабинка, лучше дома сидите. С сумками на работу не ходить. От греха.

Повздыхали — с тем и разошлись. Уже потом, через время, старая женщина попеняла Корытину.

— Бывалочка, батя твой... — вспомнила она. — Уборка подошла, он со снопом хлеба по людям, по дворам идет. Смотрите, говорит, люди, какой хлебушек уродился. Разве можно такое добро упустить. Милости прошу на поле, на ток. Давайте потрудимся. А ныне под конвоем да под обыском.

— Шаг влево, шаг вправо считается побегом, — подсказал кто-то из молодых. — Конвой применяет...

Корытин ничего не ответил, но на молодуху поглядел так, что она язык прикусила. Потом повернулся и ушел.

9

В зимнюю пору недолгие дни летят быстро. Тем более — в гостях. Будто вчера Катерина приехала, а уж пора собираться.

В один из последних дней она решила по хутору, встретить, а может, и заглянуть к кому-то из старых подруг. Еще день-другой — и дальше надо катить, и когда придется снова приехать, и придется ли, при нынешних временах, об этом знает лишь бог.

Стоял солнечный, с легким морозцем день. Искрился радужными переливами свежий снежок на крышах домов, сараев, на пригорках. Детвора гомонила на воле, радуясь каникулам.

Катерина, женщина уже немолодая, мать троих детей, выйдя на улицу, почуяла себя чуть не девчонкой. Она и гляделась неплохо: хорошо пошитое пальто облегалo полную фигуру, высокие сапожки ладно сидели на ноге. Песцовый воротник, песцовая шапка... В пушистом обрамленьи лица Катерины, гладкое и ухоженное, словно помолодело, размямлившись на морозе.

И показалось вдруг Катерине, что за плечами у нее не годы и годы, не трое уже взрослых детей, а что она снова молода и, приехав на институтские каникулы, летит повидаться с кем-нибудь из подружек.

Ее не узнавали. Одну давнюю знакомую встретила, потом — другую. Казались они много старше. А глядя на Катерину, завидуя ей, ровесницы охали да ахали, еще более поднимая настроение.

Толокся народ у магазина. Катерина шла мимо, направляясь к школе. Конечно, сейчас — каникулы. Но кто-то в школу приходит, и можно встретить старых педагогов, подруг, в школе работающих. В магазине ей делать было нечего, но завернула туда из любопытства. Как и везде, главный торг шел возле магазинных стен. Две машины, на капотах разложен товар, веревки протянуты с цветным тряпьем. Тут же притулились железные киоски, за их стеклами пестрят яркие обертки да наклейки. Все как везде.

Катерину заметили, глядели на нее. Женщина фигуристая да еще — при мехах. Это в Сибири песцами не удивишь, а здесь — редкость.

Она поздоровалась и уже проходила мимо, да вдруг увидела старинную свою подругу: когда-то с ней в школе учились. Она бы ее не признала во все, но, постарев и подурнев, подруга стала похожа на мать свою, покойную тетку Варю. И если бы Катерина не знала, что тетка Варя умерла, она бы ее и окликнула. Но то была уже не мать, а дочь. Катерина подошла к ней, поздоровалась и, не сумев сдержаться, сказала:

— Господи... Как ты изменилась... Все мы изменились, — мягко добавила она, жалея подругу.

— Изменишься, — резко ответила та. — Братушка твой поедом ест. Загрызает... Тут изменишься. В гроб вгоняет.

— Как? — не поняла Катерина. — Почему?..

И женщина вдруг закричала:

— Потому, что зверюка он, не человек! Пиночетина! Всех готов загрызть! — И без того заветренное, морщенное лицо женщины потемнело, сузились глаза. Она с ненавистью глядела на Катерину, которая была виновата не только родством с вражиной Корытиным, но всем своим видом: сытым лицом, мехами, сладким запахом парфюмерии. Тоже чью-нибудь кровь пьет, порода одна. — Ненавистные... — процедила женщина. — Но бог накажет... — не договорив, опомнившись, она резко повернулась и зашагала прочь.

А Катерина растерянно оглядела тех немногих людей, что стояли у торгового павильона. Ничем ответить она не могла, да и не смогла бы, потому что душили подступившие от обиды слезы. Она повернулась и быстро-быстро, почти бегом, пошла от магазина, напроочь забыв, куда и зачем собиралась. Она спешила по улице и чувствовала, что вослед ей глядят, и казалось, вот-вот раздается еще что-то обидное и болезненное.

Скорей, скорей унести бы ноги...

Не помня себя, она добежала до дома. И лишь за порогом, дверь прикрыв, вздохнула облегченно.

— Чего так скоро? — спросила из кухни невестка и, не дождав ответа, вышла в прихожую. — Чего?..

Катерина сидела одетая, как вошла: лицо закрыто руками.

— Что с тобой? Что случилось?..

Волей-неволей, а пришлось рассказать.

— Господи... — заохала невестка. — Нашей кровушки мало попили, так на тебя кидаются. Ни стыда, ни совести... А ты не бери к сердцу... Народ нынче извадил. Совести нет, а дури — конем не наедешь...

Она помогла раздеться; на кухне чайник поставили. Катерина вроде отошла, со вздохом попеняла:

— Надо братушке как-то помягче быть. Все же люди...

— А мы — не люди? — горько спросила невестка. — И капканы на него ставили. И машину подломали, вверх торманом в балку летел. Спасибо, бог спас. И поджигали...

— Вас?

— А кого еще?.. Спасибо, сосед углядел под утро, так загорелось...

— Господи... За что?

— Есть за что. Заворовались да запились. Тянули все подряд. А он обрезал. Да по рукам... А кое-кого... — Не больно разговорчива была невестка. — Ладно. Давай чаю попьем... — сказала она.

Чаевничали на кухне. За чаем понемногу и мысли, и речи потекли иные: о нынешней славной зиме, о доброй памяти прошлых зим, совсем давних, из детства да юности.

Но нынешний день еще не кончился. И он готовил для женщин новый подарок.

Телефон в доме Корытиных звонил лишь по вечерам. Днем обычно молчал. Знали, что хозяин дома не сидит. А тут вдруг позвонили, попросив Катерину. Хозяйка удивилась:

— Тебя... — и добавила в сторону от трубки: — Видно, подружки прослышали.

Удивилась и Катерина, трубку взяла:

— Слушаю...

— Вы по профессии — врач? Правильно?

— Да. А что случилось? Помочь надо?

— Надо. И причем срочно.

— Кому помочь? Где?

— Брату своему помогите.

— Что с ним?! — крикнула Катерина. — Где он?

— В конторе. С ума сошел.

— Не пойму...

— И мы — тоже. Но вы — врач. Идите, пока не поздно. Он там портреты членов Политбюро продает. Его вот-вот скрутят и в дурдом увезут.

Голос в телефонной трубке смолк. Катерина, растерянно поглядев на невестку, не знала, что сказать. Но и молчать не могла.

— Что-то случилось... — вымолвила она. — Пошли.

Все было будто во сне. Какие-то лекарства схватила. Хотя неизвестно, что брать. Набросила пуховый платок и помчалась. Невестка за ней бежала, повторяя: «Что случилось?.. Что случилось?..» То рядом, то обгоняя женщин мчался, повизгивая, торопя, словно чувял недоброе, рыжий кобель Тришка. Хорошо, что колхозное правление недалеко. Добежали. Запыхавшись, поднимались по лестнице. Все было тихо и спокойно в конторском коридоре. Слишком тихо. У Катерины сердце оборвалось: «Опоздали...» С разбегу ударившись в дверь кабинета, она распахнула ее. Коротин сидел за своим столом; рядом — люди.

Женщины ввалились в кабинет и встали.

— Что случилось? — поднялся Коротин. — Алена, Михаил, Танюшка?... — перебирал он имена близких, дорогих людей.

— С тобой что? — спросила Катерина и, не дожидаясь ответа, заплакала, уронив из рук сумку с лекарствами.

Вернулись домой на машине. Женщины пили валерьянку. Коротин добрую стопку водки опрокинул. У Катерины вначале и слов не было. Она лишь глядела на брата так, что он чувял этот взгляд и спрашивал:

— Ну что? Ну давай я пойду ей морду набью? А что еще я могу сделать? Моя уж ко всему привыкла, — кивал он на жену. — А тебе внове.

— Уж ты бы как-нибудь с ними помягче. Меньше бы ругался. И отдал бы трактор. Ведь себе дороже.

Коротин лишь вздыхал. Женские, бабьи резоны. Как им ответишь? Чем возразишь? Даже толком рассказать не получится. Как расскажешь про эту жизнь, в какой он варится? Со стороны, может, и просто.

Он ведь сегодня и не ругался. Он объяснял. Обычный день, обычный разговор. Правда, потом привычная ругня пошла. Грозилась властям жаловаться: в область, в район, в газеты — чтобы все знали. Ведь об этом в кабинете был крик: «Ты вовсе с ума сошел! Я всем властям позвоню и во все газеты! На тебя пальцем будут указывать! Тебя в дурдом заберут!»

А начинали разговор нормально. И люди были не с улицы, а свои, всем известные Моргуны. Сам Моргун — старинный механизатор, с мальж лет — на технике; жена до недавних пор на молочной ферме трудилась; дети — тоже в колхозе. Моргуниху при нынешнем председателе с фермы убрали, дома сидела. А ныне решили Моргуны из колхоза уйти. «Пока не поздно... — объясняла всем мудрая Моргуниха. — Пока не растабанили все... Пока...»

Что ж... нынче вольному воля. Хотя Коротину это было не по нутру. Во-первых, знал он, что когда рядом колхозное и свое, то колхозному это не в пользу. Утекает горячее, всякие железяки от трактора да комбайна вдруг исчезают, зерно не туда идет. Тем более Моргуны — хозяйева, у каких все к рукам липнет.

А еще не нравились разговоры. Лишь собирались Моргуны заявление подавать на выход, а уже вся округа до точности знала, какие богатства они из колхоза заберут. Потому что «положено». Трактор заберут новый, грузовик, сеялки-веялки да еще скотины чуть не десять голов. Потому что «имеют право», «по закону». А еще потому, что первым, кто рано встает, тем бог и государство — в помощь. «Пока не растабанили колхоз... Пока есть что делить... — Моргуниха везде и всем это не таясь объясняла. — А кто спит, тем азадки...»

Моргуниха молола языком, за ней повторяли. Кое у кого слюнки течь начинали. И, конечно, мысли: «Не опоздать к дележу...» В соседнем райо-

не по суду получил из своего колхоза бывший главный инженер зарплату за год и пай — неплохие деньги. Через неделю в суде лежало триста заявлений. Через месяц колхоза не было. Не успели опомниться, все тракторы, автомобили, комбайны проданы на сторону с аукциона. Как всегда, потом поумнели: «Возвратить надо! Абманаты! Жалиться надо!»

Об этом Корытин помнил, своих «выходцев» поджидая.

И те пришли наконец. Моргун, как всегда молчаком, вошел в кабинет, разом споткнулся да так и остался стоять у порога, лишь слушал, покряхтывая да потея. Зато супруга его ступала, словно гоголушка, горделиво. Кожаное пальто да высокие сапоги с бляхами, норковая шапка, и губы накрашены. Не кто-нибудь, а сама Моргуниха.

Людный председательский кабинет ее не смутил.

— Здорово живете! — громко молвила она и процокала каблуками к столу. — Примите заявление. Выделяйте землю, имущественный пай на всю семью. Слава богу, тридцать с лишним годков отработала, а он — поболе, да сын, да дочь. Мы все посчитали, слава богу, грамотные. Выделяйте два трактора, ДТ и колесный, комбайн, прицепные, а еще коров возьмем. И не тяните, число там указано, согласен указу — в течение месяца. Иначе мы напрямик к прокурору. Ныне, знаете сами, не дадут в обиду.

Народ, какой был в кабинете, примолк.

— Все выделим, и раньше месяца. Чего тянуть, — успокоил Моргуниху Корытин и пригласил: — Садись. Зовите бухгалтера и народ, какой там есть, зовите. У нас — не диктатура, а колхоз. Сейчас и решим сообща. Зовите всех. Кто там есть в кабинетах, в коридоре. Всех — сюда.

Моргуниха уселась, несколько удивленная, но показывая всем видом: ну, сядем... ну, послушаем... мы — не трусова десятка...

Собрали чуть не полный кабинет: конторские люди, две доярки с фермы, правленческие шофера, ко случаю поспевшие пенсионеры.

— Вот он — народ, — бодро начал Корытин. — Коллективный хозяин. Что он решит, так и будет. А мы лишь подпишем. Кроватей сколько возьмете? Бери десяток.

— Какие кровати? — опешила Моргуниха.

— Богатые. Полуторки, с сетками, никелированные грядушки... — нахваливал Корытин. — Шик-блеск! Новые! Для детского лагеря закупали.

— Зачем мне кровати?

— Как зачем?.. Семья большая, да еще прибавка будет. В семье кровати всегда сгодятся. А можно продать.

Народ слушал не больно понимая.

— Ты чего изгаляешься? Ты еще горшки ночные детсадовские мне навяжи.

— Горшки у нас на складе числятся? — с ходу спросил Корытин у бухгалтера.

Тот плечами пожал.

— Горшков нет, — отказал Корытин. — Только что провели полную инвентаризацию. Кроватей — двести. Еще есть три комплекта портретов членов Политбюро. В рамах! — нахваливал он. — Масляная краска! С орденами!

— Какого Политбюро?

— Память у тебя короткая. Политбюро ЦК КПСС. Вместе ведь в партии были.

— Их тоже мне?

— Возьми хоть пяток.

— Ты пьяный или с ума сошел?! — не выдержала Моргуниха.

— Сердишься?.. — понял Корытин. — А зря. Ты, конечно, умная. Хвалю. Выходите из колхоза, берете все нужное: гожий трактор, комбайн, хороших коров. А что нам оставляете? Вот ему? Наш колхозный нажиток —

это и коровы, и кровати, и тракторы, и стулья. А ты хочешь как в сказке делиться: себе корешки — репку, а нам, медведям, — одни листья. Митрич? — спросил он у своего шофера. — Ты согласен отдать трактор, а на свою долю оставить кровати? Ты не хмыкай, ты прямо скажи.

Митрич, немолодой мужик, не сказал, а показал Моргунихе очень выразительно.

— А кто хочет кровати, портреты, клубные стулья, трибуну для выступлений? Кто? Отвечайте? — обвел Корытин взглядом кабинет. — Сегодня у нас — колхоз. Завтра — неизвестно что. Если ты трактора заберешь, нам одни портреты и останутся. И всякая рухлядь. Разве это справедливо? Давай делиться по-честному. Тем более, — возвысил Корытин голос, — вы на свободу уходите. Кормить будете лишь себя. Дороги, по которым все ездим, нам ремонтировать. Водопровод — опять нам на шею. Школа, детский садик, медпункт — все это нам, на колхозную казну. Вы пять лет налогов не будете платить. А мы — кряхтим, но платим. Армия, больницы, все государство... Все — колхозу. И малые, и старые. Гроб сделать — колхоз, на кладбище отвезть — колхоз. Так что давай по-честному. Но если народ сейчас скажет, чтобы все отдать тебе, как ты просишь, я отдам. Спрашивай у людей, я — не хозяин.

В кабинете народ был разный, но глядели все одинаково. Корытин понял, сказал:

— Можно расходиться.

Затопали, заговорили все разом:

— Продуманные... Рогали.

— Раздиктовала, скорохватая...

— Ты свою долю давно уперла, днем и ночью с фермы везли. Покуда не спешили...

— Оторвали от титьки...

— Уходят — значит, отрезать им водопровод. За мотор три миллиона плочено.

— А электричество? Новый купили... этот... как его?..

— Моргуниха премудрая... Любит нахалтай...

Кабинет стал пустеть. Тут Моргуниха опомнилась. Начался ор:

— Ты — больной! Тебя лечить надо! Я всем позвоню! В область! Во все газеты!! Членов Политбюро — на пай! Раскладушки заместо трактора! До Москвы дойду!! На весь свет опозорю!

К шуму и крику за немалую свою жизнь Корытин привык. Слушать несладко. Но привык.

Правда, не думал он, что нынче достанется не только ему. И теперь он понимал, как больно сестре, и чуял свою вину не столько за короткий испуг, когда бежала она от дома к конторе, сколько за то, что не может Катерина всего понять, а он объяснить ей не в силах нынешнее и вчерашнее.

Объяснить было трудно, почти невозможно, как всякую чужую жизнь. А для сестры эта жизнь стала чужой давным-давно.

Но хотелось оправдаться. Кончались короткие дни свиданья. А потом снова, может, на годы расстанутся. Будет душа болеть у него, у нее.

Готовились обедать. Жена собирала на стол. А Корытин сестру приглубил, обнял ее за плечи, подвел к широкому окошку, за которым лежал зимний день. Хороший был вид из окна: дома, улица — все снегом прикрытое, словно принаряженное. Не улица, а новогодняя открытка. Глядя туда, на волю, и обнимая сестру, Корытин пропел негромко:

Серый денек,
Белый летит снежок.
Сердце мое...

По голосу, по сердечному тону, по лицу и глазам брата — что-то в них чудилось! — Катерина поняла и прошептала:

— Братушка, зачем ты сюда приехал? Уезжай.

— Поздно, сестра.

— Господь с ними, пусть живут как хотят... — уговаривала она.

— Не получится. Это ведь детский сад, детишки, как их оставишь.

При спичках... Хату сожгут. Помнишь, мы в детстве сарай сожгли. Отец нас выпорол. А нам ведь хотелось интересного: не думали сарай жечь. Верно ведь?

— Конечно.

— А сожгли. Так и здесь. Детвора... Ныне будем пряники есть, конфетами закусывать. А завтра от голода заревем. В Бударинском колхозе племенную ферму, тысячу двести коров, за неделю на мясо порезали, продали. И весь район им завидовал: забогатели, на свадьбах гости по миллиону жениху с невестой «на блюдо» клали. Чем завтра будут жить — об этом загаду нет. И у нас такие же. Лишь отвернись, все порежут, все растянут. Одни — на пропой, другие — на шоколадки. Детвора... Хоть и взрослые люди. Пойди к Петровичу, он тебе про дураков в третьем поколении расскажет.

— Так зачем же ты сюда приехал?

— Потому что сам — дурак. Умный человек не полез бы в такой хомут.

— Нет, братушка, ты — не дурак, — искренне сказала Катерина.

— Спасибо, сестра, — улыбнулся Кoryтин. — Тогда, значит, мой ученый сынушко прав. Он поет, что я — коммунист. И ведь не отбрешешься. В пионерах, в комсомольцах выросли. Помнишь? Как стремились туда! Старались... Тимуровцы. Чтобы старым помогать. В школе отстающих подтягивать, чтобы звено не позорили, отряд. Все было. Не скинешь с руки. Вот и теперь... Жалко... Понимаешь такое слово? Скотину жалко. Такие коровы у нас... Землю жалко. Сколько с ней пестались: севооборот, пары... Все кинь, завтра — дикое поле. А понастроили: фермы, мастерские... И все в дым: растянут, разломают, сожгут. Детвора... С папой привыкли жить, в семье. Прикажут: «Паси», — значит — паси; «Коси!» — буду косить. А без папки хоть помирай. «Туды-сюды кидаю... — передразнил он. — Умом не догоню... Как жить!»

— Думаешь, спасибо скажут? — спросила Катерина.

— Дождешься! — прежде мужа презрительно хмыкнула невестка. — Тебе нынче сказали спасибо, это — за него.

— Слыхал, слыхал... — отозвался Кoryтин. — Доложили. Это тебе еще мало досталось. Такой кусок отобрали. Триста литров молока умножь хотя бы на две тысячи рублей, — начал считать он. — Шестьсот тысяч получается. Хотя бы трижды в неделю. Это уже два миллиона в карман. За месяц — почти десять. Вот так она бригадирствовала, твоя подружка. Выгнали. Конечно, я виноват. За это не ругать, а стрелять впору.

— Еще дождемся, — с горечью сказала Кoryтину жена. — Как Васю Аникеева, прямо при детях. Землю не дал дураку.

— До смерти? — не поверила Катерина.

— Наповал.

— Это какой Аникеев? Рыжий, зоричевский, тетки Матрены сын?

— Он самый... Председателем был в колхозе Калинина. Долго не женился. Будто знал, что сиротами оставит. А детей любил... Сыновья у него — близнята. Господи, за что...

— Обедать мы ныне будем или слезы точить? — пытаюсь обрезать горестное, спросил Кoryтин.

Катерина его не слышала, не хотела ли слышать.

— Но так нельзя... — с болью сказала она. — Так же нельзя жить, чтобы тебя все... чтобы тебя все... ненавидели, — смогла наконец она выговорить самое горькое слово.

Кoryтин поморщился.

— А как можно? — спросил он. — Такое нынче время, сама видишь. Все я понимаю не хуже тебя, не хуже моего сынка ученого, не хуже сватьев. Но у вас — слова, а у меня — живые люди. Их держать надо внатяг, иначе все пухом-прахом пойдет! Держаться надо нам, понимаешь, держаться! — Корытин уже кричал, но вдруг опомнился, подошел к сестре ближе: — Все меня точат, и все меня ругают. Пожалей хоть ты меня, Катя.

Разговор он обрезал. Но сердцу ли, душе не прикажешь. Обедали, считай, молча. А потом — каждый к своему. Хозяин уехал по делам. Жена его на кухне прибиралась. Гостя же, подумав недолго, стала одеваться.

— Куда? — спросила ее хозяйка.

— На кладбище схожу, — ответила Катерина. — Одна схожу. Чего-то мне... — недоговорила она.

Хозяйка в ответ лишь вздохнула.

10

День-другой мело и пуржило. Выйдешь из дома — белая мгла, ничего не видать. Потом погода утишилась.

В день отъезда утром светила луна. Солнце встало в белесой мути. Поднимался день светлый, но дул и дул стылый восточный ветер, обжигая лицо. Снежок перепархивал.

К станции, к полуденному поезду, ехали загодя. Причиной тому — председательские заботы: сначала путь лежал в Зоричев, потом в соседний колхоз «Пролетарий», а уж оттуда — на станцию.

— По-другому не выходит, — объяснял Корытин. — А одну отпускать тебя не хочу. Проветришься.

— Проветрюсь... — легко соглашалась Катерина.

Последние дни тянулись долго. И ведь не ругались, но легла меж сестрой и братом какая-то неловкость. Разъехаться бы и вздохнуть свободно. Какие ни родные, но у каждого — свое.

И вот он пришел, последний день, последний путь. Из дома поехали к правлению колхоза, где уже стояли три больших скотовоза-«КамАЗа». Тронулись впереди их, возглавляя колонну, но быстро оставили позади тяжелые машины. «Нива» спешила к хутору Зоричев, к тамошним фермам.

В машине молчали, лишь порой переглядывались, чувствуя все ту же стену отчуждения, которую трудно сломать.

В Зоричеве, на скотьей колхозной ферме, проехав через ворота проходной, встали возле коровников и базов.

— Выходи. Промнешься... — сказал сестре Корытин. — Я тут кое-чего...

Катерина вышла. Рядом, за железной огорожей, возле кормушек с сеном, у высоких соломенных куч, разложенных по базу, стояли и бродили коровы, все до единой черно-белой пятнистой масти, словно близнята. Они были хороши на погляд: тяжелые, утробистые, чистая шерсть, большие глаза, горячие струйки пара из темных пещер ноздрей. Катерине сразу вспомнилось давнее: своя корова, которую в детстве в стадо прогоняла, встречала, а зимою ждали от нее теленка.

— Телята есть? — оживляясь, спросила она у брата.

— А как же без телят... — засмеялся Корытин. — Еще не растел, но есть. Поглядеть хочешь?

— Очень.

— Пошли.

Под крышей телятника из калориферных труб легко веял теплый ветер. Ярко светили низко опущенные белые кварцевые лампы. И милая скотья детвора — телята — покойно дремали в своих клетках или задумчиво тянули из ясель зеленые былки сена, порою взбрыкивали, играясь, мягко стуча копытцами по засыпанному опилками полу.

— Лобаны... — горделиво похвалил Корытин, останавливаясь возле клетки.

А сестра его, протягивая через огорожу руки, доставала и гладила бархатные головки, горячие носы, нежную молодую шерстку — детскую плоть.

Как давно она не видала телят! А когда-то... Снова вспомнилось детство. Здесь, на хуторе. Сколько было всего: цыплята, гусята, игручие козлята, телята... И сама — теля малое, а рядом — братец, бычок лобастый. Каким он был смешным, славным. Катерина объявилась на свет божий первой и потому всегда считала себя старшей, а брата — меньшим. Она по-матерински опекала его, заботясь. Привыкли к этому. А теперь, через время, отвыкли. Но сейчас прошлое так ясно вспомнилось. Она поглядела и будто снова увидела того давнего, совсем молодого брата, мальчишку. Нынче он поседел, погрузнел. Но все — прочь! Такой же добротой и любовью светят глаза его. И душою он тот, прежний, дорогой сердцу братец. А все остальное — неправда.

Она качнулась, прижимаясь к брату плечом, потом тронула, погладила его по щеке. Корытин понял и принял ее ласку.

— Лобанок... — с улыбкой повторила Катерина. — Лобанок ты мой, лобанок...

Одним разом все было забыто: непонимание, недавняя ссора. Все ушло. Не торопясь они прошли по тихому телятнику, глядя на скотью малышню, а вспоминая и вздыхая о своем: о прошлом, о нынешнем.

На воле дул стылый ветер, обжигая лицо после тепла и затишки. Возле машины Корытин говорил и говорил провожавшему его бригадиру:

— Привезут... Через час-другой первая машина придет. И до последнего, чтобы все на месте. Никому не уходить. Разместить, напоить тепленьким. И пусть отдыхают. Фельдшер подъедет, он сделает свое. Я сам к вечеру буду. Ни одной головы не потерять. Привезли — значит, уже на нашей шее. Немного овсяной соломки, немного сенца. Пускай отойдут, обвыкнутся.

Поехали от скотных дворов и хутора по заснеженной степи. После недавней метели на обочинах громоздились снежные увалы. По дороге мело. Даже в тепле машины чуялась стылость январского ветреного дня. Хохлатые жаворонки, что искали поживу по краям асфальта, распушили перья, спасаясь от стужи.

Белое солнце порою проглядывало оловянным слепым зраком. Белое поле стлалось и стлалось, туманясь белесо у близкого горизонта. Навстречу машине бежала и бежала поземка дымными змеистыми струями.

Катерина глядела на брата, сердцем, душой вдруг почуяв близкое расставание. Вот сейчас кончится дорога. А там — станция рядом. И все. Когда и где теперь встретятся? Недавняя размолвка казалась такой обидной. Горько было сознавать, что пустая ссора отняла часы и минуты, о которых столько мечталось. И потому Катерина, повернувшись, глядела и глядела на брата. Он тоже порой поворачивался от руля, от дороги, спрашивал с улыбкой:

— Чего?..

— Ничего, — кратко отвечала Катерина. — Просто на братушку своего гляжу.

Серый денек...
Белый летит снежо-ок... —

негромко запел Корытин, глядя вперед и вперед.

Серый денек,
Белый летит снежо-ок...
Сердце мое...

За машинным стеклом все было именно так: не больно взрачный зимний день, солнца не видно, лишь порою белый диск обозначится — и все. И редкий снежок. Под ветром, наискось, летел и летел.

Сердце мое...

Корытин мурлыкал, Катерина слушала и глядела на брата, порою переводя взгляд на дымную от поэмки дорогу, на белый простор впереди и вокруг. Так и ехали.

И наконец открылось с бугра селенье, куда въезжать не стали, свернув к скотским дворам: возле них чернели на снегу три колхозных «КамАЗа», с которыми начинали путь.

Подъехали. Встали.

— Полчасика — и на станцию... — пообещал Корытин. — Хочешь, выйди, промнись.

— Конечно, — легко согласилась Катерина, открывая дверцу машины.

Она выбралась из кабины и встала, ошеломленная.

Рядом, откинув на землю задние борты-трапы, стояли «КамАЗы». Возле них кучей теснились страшные, на коров не похожие скотиняки: рога, череп, проваленные глаза, грязная, в сосулях, шерсть, острые хребты, ребра, маклаки — все наружу, лишь кожей обтянутое. Коровы сами лезли на трап, по которому подняться у них сил не хватало, и они падали и ревели, вытягивая тощие шеи, видя и чуя совсем рядом пахучую солому, насланную в кузовах. Люди поднимали коров, пропуская под брюхо брезентовые ремни, волокли в кузов, укладывая на подстил. Коровы тут же начинали яростно грызть сухие будылья соломы. А те, что еще оставались внизу, на земле, истощно и тонко мычали, лезли и падали, пытались подняться и не могли. И тогда принимались реветь, задирая голову, словно предсмертно. Висел над базами, сливаясь и впереклик, неумолчный вопль.

Катерина стояла, не смея ли, боясь ли сдвинуться с места. Она глядела не веря. Зажмурилась и снова открыла глаза.

Белый день до боли ясно высвечивал все ту же картину: кирпичные коровники, черные проемы дверей, ископыченный баз, по которому там и здесь валялись рогатые коровьи головы, ноги, шкуры, припорошенные снегом; в дверях же, в проеме, — гора коченелых телячьих трупов, на ней — большие серые крысы, с писком ныряющие в проеденное скотье нутро.

Мужик в крытом большом полушубке, заметив Катеринин испуг ли, ужас, набился с разговорами, охотно сообщив:

— Лисапеты... Наши лисапеты... Я их так называю.

И впрямь: рога да костлявый остов — похоже на велосипед.

— Как же это... — выдавила из себя Катерина. — Колхоз... такое...

— Колхоза нет, — внушительно объяснил мужик. — Акционеры. Закрытого типа. Чтоб никто не влез. Да наши еще живые, — успокоил он Катерину и даже похвалился: — Через раз, но дышат. У Корытина откормятся, еще и молоко, глядишь, будут давать. А в «Комсомольце» гурт навовсе поморозили. Стояли как статуи. Поезжай погляди. Изю льда ноги досе торчат. Как топорами рубили...

Он что-то еще говорил о колхозе, о жизни, Катерина же слышала лишь скотины недужный рев и крысиный писк. Ей сделалось нехорошо. Она залезла в машину, затворила дверь и сидела опустив голову.

Мужик пошел с докладом к Корытину. Тот заспешил к сестре:

— Чего с тобой?

Катерина подняла голову, проговорила:

— Глядеть не могу...

Корытин понял, сказал со вздохом:

— Без привычки... Конечно. Прости. Сейчас поедем.

И потом, в машине, когда отъехали от коровника и скотины — от всей этой беды, — Корытин увещевал сестру:

— Чего переживаешь?.. Везде нынче так. Развал. А то не видишь. А у вас разве лучше? Свою работу возьми...

— Не в привычку... — оправдывалась Катерина. — А эти коровы, они у тебя выживут? Они не подохнут? Ты их зачем берешь?

— По дешевке купил, — ответил Корытин. — Кормов хватает, место есть. Перезимуют, мясá нарастят, продадим. Вот и барыш... — улыбнулся он. — А как же... Такая нынче жизнь.

На станцию приехали вовремя. Спокойно разместили вещи в купе и вышли из вагона. Стали прощаться.

Катерина плакала, обнимая брата и целуя его холодное лицо. Обнимала — и не могла разнять рук. И снова целовала.

На вокзале все можно. Здесь встречаются люди после долгой и долгой разлуки: прощаются, расставаясь порой тоже надолго, а порой — навсегда.

Потом, в поезде, у вагонного окна, Катерина глядела и глядела на волю. Кончился поселок, дома его, открылась белая степь. Чернели голые деревья вдоль полотна дороги, туманился горизонт белой мглой. И вспомнились слова песенки: «Серый денек... Белый летит снежок... Сердце мое...» А вот дальше Катерина не могла вспомнить. «Сердце мое...»

Мама... Мамочка умерла молодой, от сердца. Брат так похож на нее лицом и характером. Весь в маму. Не дай, не дай бог...

Серый денек,
Белый летит снежок.
Сердце мое...

Она заплакала, прислонясь к окну, и шептала: «Зачем, зачем ты туда вернулся, братушка...»



ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ



БЛУЖДАЮЩИЙ ЗУММЕР

Секстет

1

Я вполне лояльный житель, но
на расспросы о досуге
бормочу невразумительно
любопытной подруге:
мол, тружусь как пчелка в тропиках
вне промышленных гигантов
над созданием новых допингов,
то бишь антидепрессантов.
Производство допотопное,
сам процесс небезопасен,
результат в такое злобное
время, в сущности, не ясен,

но нередко тихой сапою
в пору утренне-ночную,
шевели губами, стряпаю
строки беглые вручную.
И немым разговорившимся
сообщаю шатким соснам,
а вернее, заблудившимся
в трех из них последним звездам:
«Ваши жалобы услышаны,
приступаем к расшифровке.
Мы и сами тут унижены
от подкормки до подковки».

23 апреля.

2

Ветер втирает в подшерсток реки
пресные слезы.
Невразумительных гроз далеки
водные сбросы.
Много отчетливее твое
околоптичье —
впору забыть про еду и питье —
косноязычье.

Кублановский Юрий Михайлович родился в 1947 году в Рыбинске. Окончил искусствоведческое отделение истфака МГУ. После выхода в США стихотворного сборника «Избранное» («АРДИС», 1981; составитель И. Бродский) был вынужден эмигрировать. Жил в Париже и Мюнхене. В 1990 году вернулся на родину. Автор десяти стихотворных книг.

Тут не слова и не слога —
звуки и ноты.
С мая подтопленные берега
в коме дремоты.

Вдруг на заре судного дня
ты в одночасье
в будущем веке припомнишь меня
не без участия —
монстра, родителя выпрених строк
с слезной концовкой,
как наполнялись по ободок
рюмки зубровкой,
и головой покачаешь: толмач
как тот чумной мой?
Алой луны зависающий мяч
вспомнишь над поймой.

10 июня.

3

Когда на отшибе заволжского севера
шмель облюбовал себе шишечку клевера,
то тенью покрытый, то вновь облучаемый,
я прибыл на смотр облаков нескончаемый.
Окрест недобитые флора и фауна
забыли, поди, пионера и дауна,
тем более зенками к стенке прижатую
сперва медсестру, а потом и вожатую.
Джаз-бандец наш с горнами и барабанами
не справился с репертуарными планами.
Лишь в темном предгрозые роятся капустницы,
как белые искры под сводами кузницы.

С тех пор миновали срока баснословные,
то бишь временные отрезки неровные.
С настырностью паводка послепотопного
жизнь вырыла русло поглубже окопного.
И как рядовой ветеран на задание,
я перебегаю себе в оправдание,
рукой прикрывая глаза от зарницы и
без необходимой на то амуниции —
к истокам: узнать, вспомянув колыбельную,
с какого момента вдруг стала бесцельною
жизнь, славная целью. И брезжит той самую
тот свет раскаленной своей амальгамою.

13 июня.

4

По праву века стариковского
и холостого разговора
на дебошира из Островского
я сделаюсь похожим скоро,
беря не мастерством, а голосом.
Ярчают в раскаленной сини

сноп темно-белых гладиолусов
 тяжелый на руках богини
 и платья схожие с обносками:
 мы на просцениуме в раме
 шагаем скрипкими подмостками
 и низко кланяемся яме.

И снятся памятные сызмала
 лощины с зыблющимся крапом.
 Как будто зазвала и вызнала
 жизнь главное перед этапом.
 Я рано на высотах севера
 заматереть поторопился.
 Сомнамбул шмель в головку клевера
 уже неотторжимо впился.
 Мы тоже были отморозками,
 хотя и не смотрели порно,
 а засыпали с отголосками
 начищенного мелом горна.

17 июля.

5

Дернули с друзьями,
 выглянули в окно,
 мама, а там цунами,
 ветрено и темно.
 Бивни ветвей качались
 и в беззаконии
 рушились и кончались
 в шумной агонии.
 Время для передышки:
 чтобы побрить скулу,
 переменить бельишко,
 дать поостыть стволу.

Нынче в своей нетленке
 постмодернист вполне
 может послать на сленге,
 мало понятном мне.
 В общем, пошел на «вы» я
 и оказался бит.
 Рваные, пулевые
 заговором целит
 твой — с прикасаньем — голос,
 словно берущий в плен
 флоксы и гладиолус,
 в вазе дающий крен.

10 августа.

6

Знаю твои приколы: тягу к гуру, брахманам
 и цыганью на рынке шумному поутру,
 веришь ты их посулам, сбывшимся их обманам,
 играм на их же поле в мрачную чехарду.

Преодолев неспешно склоны и перешейки,
руку кладу на сердце вспыхнувшее твое
русской надежной бабы, вовсе не любодейки,
знающей в равной мере дело и забытье.
Даже периферийной роли рисунок чистый,
палево-травяные платьев твоих цвета
мог оценить Островский, первые символисты,
впрочем же, и галерки честная мелкота.

Ветер продолжил тему — тему без вариаций
с самым простым рефреном: зиждительным *люблю*.
Осень придет с обвальным паводком девальваций:
туго придется иене, тугрику и рублю.
А у тебя прикрыта бусами из нефрита
схожая с материнской дряблость между ключиц.
Чуткого театрала сделай из неофита,
буду читать программки вместо передовиц.
То бишь аристократа сделай из демократа.
Станет моим заданьем впредь бормотанье строк —
оберег против века вяжущего, наката
хлама через порог.

15 августа.
1998.

Неотправленное письмо

Пишу, будто попусту брешу
про давние наши шу-шу,
как будто отправить депешу
тебе, задыхаясь, спешу.

Как в годы застоя, желанна
и в годы убойных реформ.
И розовый персик Сезанна
все с той же неровностью форм.

За четверть без малого века
я, видимо, стал вообще
проходим с лицом имярека
в потертом на сгибах плаще.

Тебе же дается по вере
все новую брать высоту,
ты там у себя в ноосфере
всегда на слуху, на свету.

Нам было не просто ужиться,
ведь жить — означает одно:
все глубже и глубже ложиться,
все глубже ложиться на дно.

...Когда же ты мысленным взором
прочтешь, изменяясь в лице,
о белого света и скором
и необратимом конце,

нахлынувший ветер своими
холстами тотчас
возьмется сырыми,
как мумий, спеленывать нас.

Плохо слышно

Доныне не умер,
но где-то на линии есть
блуждающий зуммер,
твою добывающий весть.

Постой... не узнаю... простужена?
Кичиться техники успехами
не стоит, ежели нарушена
такими тишина помехами.
Как будто говоришь из Скифии,
а заодно с тобой на линии
мегеры, фурии и пифии,
сирены, гарпии, эринии,
озвученные не Овидием,
а кем-то из другого ряда.
Да, я горжусь своим развитием,
хоть, слышу, ты ему не рада.
Звонок блокадника из города,
который много лет в осаде:
сплав послушания и гонора,
наката с просьбой о пощаде.
Про баснословную коллизию
я слушал бы, не смея пикнуть,
но в виртуальный твой Элизиум,
как хочешь, не могу проникнуть.

Нет, нет, на рычажок из никеля
не нажимай, срывая ярость
на аховом комфорте флигеля,
где ты когда-то обреталась.
Забуть про свистопляску с ценами
и расквартировать бы снова
наш маленький отряд под стенами
Борисоглебска ли, Ростова...
И скоро снега торопливые
завалят басменные хлопья
округу, астры незлобивые
и полустертые надгробья
в их сочетании таинственном.
Дозволь, смирясь с моим решением,
мне сделаться твоим единственным —
на расстоянье — утешеньем.
Затихни, как перед разлукою
после отказа от гражданства.
А я возьму и убаюкаю
пучину черную пространства.

2.X.1998.



ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

*

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

Рассказ

В России все что-нибудь просят, а те, что не просят, умоляют ничего не просить. Так что выходит, что и они просят.

Сегодня поехал в нашу бывшую писательскую поликлинику, чтобы снотворное себе раздобыть. Я говорю — бывшую, хотя нас туда еще пускают, но неохотно. Говорят, что скоро, кроме писателей — инвалидов войны, никого туда пускать не будут. А сколько осталось этих несчастных инвалидов войны? Почти никого. наших детей уже не пускают, но жен еще лечат, видимо боясь разрушения семьи.

Что же случилось? Это хорошая поликлиника, и я совершенно точно знаю, что построена она на писательские деньги. И мы, бывало, раньше не без гордости лечились в ней. С врачами были самые дружеские отношения. Просто братские. Иной врач так интересно начинает говорить о твоей книге, что заслушиваешься его и совсем забываешь о своей болезни.

А теперь ее кто-то приватизировал. И теперь она в основном будет лечить состоятельных людей за наличные деньги. Какой-то туман вокруг этого вопроса. Говорят, главврач нашей поликлиники совершил сделку с какими-то людьми, и потому все так получилось. Сам главврач исчез не только из поликлиники, но даже отчасти из Москвы.

Впрочем, говорят, иногда наезжает в Москву с подозрительным израильским загаром и еще более подозрительной российской справкой, что он сумасшедший. Говорят, его вызывали в правоохранительные органы и хотели допросить. Но ничего не получилось. На все вопросы он давал один и тот же ответ:

— Красное море превратилось в Черное море, а Черное море превратилось в Мертвое море. До встречи в Гефсиманском саду!

Что он этим хочет сказать, никто не понимает. Как бы дает намек на преимущества Израиля. Но в чем? Непонятно.

Говорят, один из работников правоохранительных органов, измученный его однообразными ответами, вдруг спросил у него:

— А как вам нравится Охотское море?

— Не нравится, — ответил тот не моргнув глазом и при этом совершенно нормальным голосом.

С его справкой о сумасшествии возникли еще более головомомные сложности. Органы правопорядка долго и безуспешно пытались установить — справку о сумасшествии он получил до этой сделки с поликлиникой или уже после. Но никак не могли установить. Оказывается, для привлечения его к ответственности это имеет огромное значение. А тут еще, говорят, в это дело вмешался какой-то большой юрист, просто философ, и сказал:

— В обоих случаях его нельзя привлекать.

— Почему?! — взмолились простодушные работники правоохранительных органов.

— А вот почему, — ответил юрист, — если он справку о сумасшествии получил до этой сделки, значит, он совершил эту сделку в невменяемом состоянии, а невменяемого нельзя привлекать к уголовной ответственности. Но, допустим, он, будучи вполне нормальным мошенником, совершил эту невероятно выгодную ему сделку, и его можно было бы привлечь, но он от радости по поводу этой волшебной сделки внезапно сходит с ума, и теперь его опять нельзя привлекать к ответственности как невменяемого. Вопрос упирается в гегелевскую дурную бесконечность, а против дурной бесконечности нет лекарства.

Во всем этом поражает девственная чистота наших правоохранительных органов. Им даже в голову не приходит, что в России справку о сумасшествии может купить вполне нормальный человек. Более того, даже сумасшедший может купить справку о том, что он вполне нормальный человек. Еще неизвестно, каких покупателей больше.

Наши крупные чиновники, запасаясь справками о нормальности России, шастают по миру, чтобы у тамошних богачей выцыганить деньги. Как это ни странно, те иногда дают. Но некоторые нахалы, несмотря на предъявленную справку, не дают денег. А потом наши чиновники, возвращаясь в Россию и стараясь скрыть раздражение, публично говорят:

— А мы и не хотели их денег! Пусть подавятся! Мы нарочно просили, чтобы показать нашему народу, какие буржуи жадные и даже негостеприимные.

Впрочем, повторяю еще раз: все, что касается нашей поликлиники, — слухи, кроме того, что нас, писателей, туда очень неохотно пропускают, а детей чуть ли не палкой отгоняют. Ну и главврач куда-то провалился.

Да, нас еще пропускают, но у дверей — правда, с внутренней стороны — стоит охранник и проверяет писательские билеты. Тоже странно. Как будто посторонний гражданин под видом писателя зайдет в поликлинику и будет бесплатно лечиться под тем же видом. Прежде чем попасть к врачу, еще повертись в регистратуре. Там же все данные о писателях. А если ты посторонний гражданин, плати деньги и лечись. Была бы еще какая-то логика, если бы охранник проверял бумажники посторонних граждан, мол, есть деньги на лечение или нет. Но я этого не заметил. Зачем тогда охранник? Исключительно для того, чтобы припугивать нервных писателей.

Одним словом, поехал в поликлинику за реладормом. Очень аккуратно поехал, предварительно справившись по телефону: аптекарша вернулась из отпуска или нет? Да, говорят, вернулась. У нас там своя маленькая аптека.

И вот, значит, еду в поликлинику. Еду в метро. Поликлиника находится недалеко от метро «Аэропорт». Там рядом писательские дома. Я сам там раньше жил. Родные места.

Вышел из метро, иду по переулку и встречаю знакомого старого поэта. Несмотря на старость, он крепко пожимает мне руку и говорит:

— Как давно я тебя не видел! Я написал гениальную поэму! Не называю редакцию, куда ее отдал, чтобы, тьфу-тьфу, не сглазить!

— Очень хорошо, — говорю, стараясь высвободить руку. Старый, а рукопожатие цепкое. Кого-то мучительно напоминает.

— Да не в этом дело! — говорит. — Ты мне помоги! У меня же нет никакой поддержки!

— А чем я могу помочь! — говорю. — Я с редакциями не связан личными отношениями.

— Да это ерунда, — говорит, — ты только мнение распространяй, что я написал гениальную поэму! Мнение распространяй!

— Обязательно, — отвечаю, обрадованный легкостью задачи.

И вот захожу в поликлинику, показываю охраннику свой писательский билет, как говорится, в развернутом виде и не раздеваясь прямо в аптеку. Она на втором этаже. Аптекарьшу я давно знаю. Это очень добрая женщина.

— Пойдите к врачу и выпишите рецепт. У нас теперь очень строго, — говорит она.

Захожу к знакомому психиатру. Тут же рядом. Сидит грустный, а раньше был такой жизнерадостный. Просто лучился.

— Что такой грустный? — спрашиваю. — Больные довели, что ли?

— Ты что, не слыхал, — отвечает он мне, — у нас тут все изменилось. Скоро нас всех тоже выгонят. Своих врачей подбирают.

— Да, — говорю, — слыхал, писатели тоже волнуются. Некоторые даже ищут правды.

— Пока они ищут правды, никого из нас тут не будет, — говорит.

Ну, я не стал углубляться в эту болезненную тему. Так, мол, и так, говорю, мне снотворное. Только обязательно реладорм, а не радедорм. А то в прошлый раз другой врач то ли по ошибке, то ли я сам по рассеянности не так сказал, выписал мне радедорм вместо реладорма. Но радедорм на меня уже слабо действует. То ли бессонница крепчает, то ли радедорм ослаб.

В самом деле так оно и было. В первую ночь, когда я еще не знал о невольной подмене лекарства, я ошибочно быстро заснул. А потом, когда узнал, что это радедорм, а не реладорм, долго мучился от бессонницы. Мало того, что пил две таблетки на ночь. Мало того, что после этого считал до трех тысяч, но и заснув, продолжал считать. Вот в чем подлость!

И вдруг мне пришла в голову мысль о вероятности другой подоплеки этой ошибки. Возможно, мне правильно выписали реладорм, но лекарство я брал в городской аптеке. И там стояла очередь. Только я подошел к окошечку, как ко мне наклонилась милая девушка с очень бледным аристократическим лицом и натуральными слезами на глазах. Она сказала мне:

— У меня любимая собачка умирает. Пропустите без очереди.

— Пожалуйста, — говорю и пропускаю ее вперед, отчасти боясь, что она зарыдает.

— Двадцать шприцов, — просит эта девушка у аптекарши.

Аптекарьша с молчаливой ненавистью выдает ей двадцать шприцов. Какая там еще собачка и зачем ей двадцать шприцов?! Конечно, это наркоманка взяла шприцы для своей компании. Вот тебе и аристократическая бледность! И что удивительно — на моих глазах обманув меня, она ушла не испытывая ни малейшего смущения. Но я хорошо почувствовал тайное молчаливое возмущение аптекарши. Может, она боялась за своих детей? И вот она-то, вконец расстроенная покупкой этих шприцов, могла мне сунуть одно снотворное вместо другого. Еще хорошо, что она по ошибке не всучила мне снотворное для вечного сна.

— Я вам точно выпишу реладорм, — говорит врач, — только у нас теперь строгости. Принесите из регистратуры свою карточку.

Спускаюсь в регистратуру и прошу у одной из работниц свою карточку. Это история болезней так у них называется. Замечаю то, чего раньше никогда не было, — за перегородкой компьютер, и женщина сидит перед ним. Вижу — и работниц в регистратуре стало гораздо больше, и все они почему-то крайне взволнованы, бегают или ищут чего-то в стопках бумаг.

Великий закон преобразований в наших учреждениях: как только что-то преобразуется — людей становится больше.

Та работница, у которой я попросил свою карточку, тоже довольно долго ее искала, наконец нашла, но тут выяснилось: на карточке нет отметки, что я прошел перерегистрацию в Литфонде. Но в прошлый раз был именно из-за этого скандалец, и я попросил жену поехать в Литфонд и перерегистрировать меня, что она и сделала, заплатив при этом немалые деньги.

И главное, я предусмотрительно захватил с собой новенький билет Литфонда. Я пытаюсь показать свой билет этой женщине, из чего неминуемо следует, что я прошел перерегистрацию. Но она стыдливо отводит глаза от билета и даже слегка краснеет. Для нее гораздо важнее, что эти сведения не поступали к ним по внутренним каналам.

— Если я вам дам карточку, — слабым голосом говорит она, — с меня вычтут деньги за ваше лечение.

Вот до чего мы дошли! Ну как можно обидеть эту пожилую женщину, которая явно какие-то гроши получает! Да я лучше тысячу и одну ночь не буду спать без этого снотворного, чем обижу ее!

Конечно, этого я не мог допустить, но все-таки настаивал, что мы проходили перерегистрацию. Она еще долго рылась в каких-то списках и даже попросила у женщины, работавшей за компьютером, перепроверить информацию по нему. Дурак компьютер помигал, помигал и показал, что сведения обо мне в него не поступали. Но наконец эта старательная женщина сама нашла мое имя в каком-то завалющем списке.

— Карточку я занесу сама, — сказала она, — у нас теперь строгости. В руки не даем.

Я снова взлетел на второй этаж к психиатру. На этот раз к известным мне уже строгостям он открыл еще одну новую строгость. Оказывается, теперь в одни руки дают только две облатки — двадцать таблеток.

— Мало, — говорю я ему жалобным голосом, — опять придется приезжать.

— А ты принеси карточку жены, я и на нее выпишу, — сказал он с немалой долей героизма.

Я скатился вниз и сказал регистраторше, что врач просит карточку жены.

— Хорошо, — согласилась она, — но у нас теперь строгости: мы карточку жены не даем в руки мужу. Скажите ему, что карточка будет на подъемнике.

Я взлетел на второй этаж, волнуясь, что врача отвлекут, куда-нибудь уведут и мне придется ждать его. При этом я смутно размышлял о неведомом подъемнике, куда, видимо, теперь громоздят карточки богачей.

Врач оказался на месте. Наконец он вручил мне два рецепта. Я снова скатился на первый этаж, отдал рецепты регистраторше, и она старательно вдавила в них по две печати.

Только я ринулся наверх к аптекарше, как вдруг меня истошно окликнула гардеробщица:

— Гражданин, куда вы в пальто? У нас теперь строгости, раздеваться обязательно!

Опомнилась! Приметила! Я разделся и взял номерок. И вдруг я осознал, почему впервые в жизни кружусь по поликлинике одетый. Всегда, бывая здесь, я сам раздевался. Тонкость заключается в том, что раньше, приходя сюда, я считал, что прихожу в родное учреждение. А сейчас подсознательное желание скорее выбраться отсюда заставило меня не раздеваться бегать по этажам. Кстати, этим же объясняется необыкновенная скорость, которую я развивал: быстрее, быстрее, быстрее!

Я снова взлетел на второй этаж, уже боясь, что аптекарша куда-нибудь выйдет. Но она оказалась на месте. Я вручил ей проштампованные печатями рецепты, и она выдала мне четыре облатки. Я расплатился и осторожно сунул их поглубже во внутренний карман пиджака, уже боясь, что из внешних карманов они могут как-нибудь выпасть.

Мысль о том, что ночью перед тем, как ложиться в постель, я таблеткой реладорма приведу себя в сонливое состояние, прибавляла мне дневной бодрости. Чем бодрее проводишь день, тем больше шансов, что ночью будешь хорошо спать. А не напоминает ли моя радостная бодрость состояние наркомана, раздобывшего порцию наркотиков? Нет, трезво решил я,

сейчас, утром, я радуюсь тому, что ночью приму таблетку, а наркоман, вероятно, радуется, что он через несколько минут войдет в кайф. По дороге в метро я увидел нищего, сидевшего возле забора под накрапывающим дождем. Странно, что я его не заметил, когда шел в поликлинику. Рядом с ним стоял маленький мальчик. Я сунул руку в карман пальто, гребанул горсть мелочи, но почему-то высыпал в ладони мальчика, а не мужчины, хотя тот сидел гораздо ближе ко мне. Так мне было приятней, хотя я, конечно, понимал, что ребенок тут же отдаст деньги взрослому. Если этот мужчина не отец ему, то будет по крайней мере больше ценить его.

Отойдя от них, я подумал: не объясняется ли моя маленькая щедрость радостью по поводу раздобытого снотворного? И не так ли игрок после хорошего куша отдает сторублевку швейцару? Бог его знает.

Недавно гулял по нашему писательскому дачному участку. Гулял, поглядывая то на улицу, то на дачу, как бы необременительно постораживая ее. Вдруг незнакомый человек, бедно одетый, открыл нашу ветхую калитку и вошел во двор. Ничего не спрашивая, он пошел, но не по дорожке, а свернул в рослые заросли вдоль забора.

Исчез. Я гадал про себя: кто он такой и почему, не спросив разрешения, вошел на наш участок? В конце концов я решил, что этот человек, срезая путь, через наш участок хочет выйти к какой-то другой даче. Но почему он пошел вдоль забора по густым зарослям?

Продолжаю гулять. Минут через сорок он вышел из зарослей с полиэтиленовым мешочком в руке, наполненным грибами. Пронзила догадка: нищий, голодный!

С выражением жесткой решительности на лице и как бы ожидая осуждающих вопросов, он снова открыл калитку и вышел на улицу. Я молчал. Закрывая калитку, он сурово взглянул на меня и громким голосом возвестил:

— Скоро с... будет нечем!

И удалился. Такого апокалипсиса ни один пророк не предвидел. А вокруг — дачи-дворцы богачей с железными воротами на замках, с мощными каменными оградами, словно в ожидании скорой феодальной войны.

Кстати, для полноты феодальных впечатлений... Я гулял по нашему дачному поселку и увидел, что хозяин одного из новейших замков сидит на короточках с наружной стороны каменной ограды и играет с медвежонком. Маленький медвежонок лежал на спине, а хозяин щекотал ему живот.

— А что вы будете делать с ним через год? — не удержавшись, полюбопытствовал я.

— Он гораздо раньше пойдет на шашлычок, — доброжелательно отвечал хозяин, не подымая головы и продолжая щекотать сладостно урчащего медвежонка.

Так вот, когда грибник исчез, я вдруг подумал: а не вернется ли он когда-нибудь сюда с этим же полиэтиленовым мешочком, уже наполненным взрывчаткой, чтобы взорвать одну из этих оград и теперь набрать грибов богачей все в тот же полиэтиленовый мешочек?

У самого входа в метро я снова столкнулся со старым поэтом. Бедняга был так плохо одет, что, если бы он стоял прислонившись к стене, могла возникнуть мысль о необходимости подаяния. И грустно и смешно, учитывая его боевитость.

Лицо его снова выразило радостное удивление. Хотя я уже лет пять не живу в писательском доме на «Аэропорте», он, по-видимому, редкость наших уличных встреч объясняет какой-то неприятной случайностью. Он накинул на меня и еще крепче пожал мне руку.

— Как давно я тебя не видел! — воскликнул он. — Где ты пропадаешь? А я написал гениальную поэму! Я бы тебе ее прочел, но вижу — ты спешишь. Уже сдал в журнал. Не называю журнала, чтобы не сглазить!

— Очень хорошо, — говорю я ему, стараясь освободить руку. Старый, а рукопожатие мощное. При всех наших бедствиях, видимо, он все еще неплохо питается.

— Помоги мне, — говорит, — у меня же нет никакой поддержки!

— А чем я тебе помогу, — вразумляю я его, — у меня с работниками редакции никаких личных отношений.

— Это все ерунда, — говорит он, — ты только распространяй мнение по Москве, что я написал гениальную поэму. Сейчас новые времена. Реклама играет огромную роль.

— Это обязательно! — воскликнул я, обрадованный уже не только легкостью задачи, но и тем, что он сам разжал свою ладонь. Он смотрел поверх моей головы и, по-моему, своим взором орла, хоть и потрепанного, заметил другого писателя. Если это так, предстоящий диалог легко угадать.

Я вошел в метро, чтобы поехать в редакцию. Не показывая пенсионной книжки, я прошел мимо контролера. Но вот что удивительно: чем увереннее контролеры, что я действительно пенсионер, тем меньше мне это нравится.

«Гражданин, а вы куда без билета?» — кажется, я этого никогда не услышу. Но есть и свои достижения. Мне, например, в метро или в троллейбусе никогда не уступают место. По-видимому, здоровая, лишенная инвалидных оттенков пенсионность. Или здоровая, лишенная сентиментальности молодежь.

Через одну или две остановки в вагон вошла нищая женщина, катившая перед собой коляску с больным ребенком. Или якобы больным. Понять было невозможно. Я отдал ей остатки мелочи, уже не испытывая особой жалости. Скорее всего, я отдал деньги, чтобы не испортить свое впечатление от первой жертвы. Так сделанное добро само вынуждает сделать новое добро. Вообще самое надежное добро — это добро, которое люди делают по привычке.

В редакции я часа два работал со своим редактором. Когда мы кончили, мне предложили кофе.

— Нет, — поблагодарил я, — слишком перевозбужден.

Так оно и было, но признаваться в этом было глупейшей ошибкой. Обычно после предложения кофе следовало угощение рюмкой-другой коньяка. Но на этот раз коньяк мне не предложили, по-видимому решив, что я и без него слишком перевозбужден. А рюмка коньяка сейчас очень не помешала бы. И что за глупое признание: перевозбужден. А может, это наша российская болезнь — такая депрессивная перевозбужденность? Коньяк ее хорошо снимает.

Он, видите ли, перевозбужден! Что за дамский язык! Что за дикая откровенность? Это даже некультурно. Что же людям остается делать, слушая такое признание? Шарахаться?!

Другой человек с литературным комплексом подумал бы: вот, коньяка не предложили! Видимо, по их мнению, моя рукопись не тянет на прибавочную стоимость коньяка. Но я сам же, дурак, сказал: перевозбужден.

Только я вышел из редакции, клянусь, это не фантазия, мне вдруг опять встретился тот самый престарелый поэт. Он спешил в ту же редакцию. Он опять забыл, что мы уже встречались. Удивительно, что он меня самого не забывает. Впрочем, двадцать лет прожили в одном доме. Все повторилось — и то, что давно не встречались, и слова о гениальности поэмы и необходимости распространять мнение о ней.

— Ну, редакцию, куда я ее дал, — сказал он, кивнув на здание редакции, — не буду от тебя скрывать. Ты же не такой дурак, чтобы не догадаться. Но мы, поэты, суеверны.

Я еще доклокатывал, досадуя на себя за допущенный промах.

— Первозбужден, — язвительно сказал я вслух, но, сказав, опомнился.

— Кто, редактор? — насторожился престарелый поэт.

— Нет, — уточнил я, — конец века.

— Не морочь мне знаешь что?.. — сказал престарелый поэт. — Мне предстоит серьезный разговор. Но мнение распространяй.

На этом мы расстались, и в этот день я его больше не встречал.

После редакции я снова двинулся в метро. Я был на одной из центральных улиц, когда ко мне подошла, как раньше говорили, прилично одетая девушка и сказала:

— Мы собираем пожертвования на церковь. Дайте что-нибудь. Взамен получите наклейку.

В руке она держала какой-то картон, на который были наклеены бумажки величиной с фантик с какими-то цветными рисунками. Я даже не присмотрелся к этим рисункам, тем более что без очков плохо вижу, а очки доставать было лень и неинтересно.

Почему-то только тут я почувствовал, что маразм крепчает. Но она так застенчиво сказала: на церковь! — что мне стало стыдно, и я, достав бумажник, дал ей десять рублей.

— А наклейку? — напомнила она.

— Не надо, — ответил я и ринулся в метро, с тревогой понимая, что и правда маразм крепчает... Церковь — банк для бедняков с процентами на том свете. Банк — церковь богачей с Богом, запертым в сейфе.

Ехать было довольно долго. И в метро, слава богу, никто ко мне не приставал. Только какой-то полупьяный работника время от времени, поймав мой взгляд — он сидел напротив меня, весело подмигивал, явно намекая, что не прочь выйти со мной из метро и выпить.

..Я давно заметил, что иногда рабочий класс тянется к интеллигенции. Когда не с кем выпить.

Кстати, еще в юности меня удивляли идиллические рассказы о дореволюционных встречах марксистов с рабочими в подпольных квартирах. Там всегда подчеркивалась исключительно остроумная маскировка на случай, если внезапно нагрянут жандармы. Подпольщики держали наготове выпивку и закуску, мол, сидим, мирно пьем и закусываем, в чем дело? А сами читали газету «Правда». Но вот что интересно: во всех этих описаниях с нагрянувшими или не нагрянувшими жандармами никогда не говорилось, а куда, собственно, потом девалась выпивка и закуска.

Конечно, они явно выпивали и закусывали. Причем хитрость марксистов состояла в том, что они при помощи выпивки и закуски приманивали рабочих, чтобы ознакомить их с революционной литературой. А хитрость рабочих заключалась в том, что они, делая вид, что интересуются революционной литературой, были не прочь выпить и закусить задарма. А позже даже за счет Вильгельма.

В результате всего этого революционеры и рабочие взаимопрониклись. Рабочие научили марксистов пить, а марксисты в благодарность убедили рабочих, что они главные люди на земле.

Самый первый марксист, развернув газету «Правда» и увидев, что рабочий разливает водку, мог сказать:

— Мы сначала прочтем газету, а потом можете выпить.

— Нет, — отвечал смекалистый рабочий, — мы будем одновременно пить и слушать газету.

— Почему? — мог удивиться тот первый марксист.

— А если ворвутся жандармы и скажут: „Дыхни!“ — тогда что, в Сибирь шагать?

Какой умный, мог подивиться первый марксист, подставляя свою рюмку. Будущее, конечно, за рабочим классом.

Вот так по пьянке сварганили и революцию. Погромы винных подвалов — самая характерная черта революции. Это отмечается во всех воспоминаниях. Даже заняв Зимний дворец, революционная солдатня в первую

очередь искала винные подвалы, чем воспользовался бедняга Керенский и ускользнул.

Одним словом, рабочие научили марксистов пить, а марксисты убедили рабочих, что они главные люди на земле. Но в конечном итоге всех победила водка, и Советский Союз рухнул, а население, оставшееся в живых, героически продолжает пить.

Кстати, один умный человек замечательно сказал, что нет никаких революций, а есть контрреволюции. Как это точно ложится на историю нашей страны! Даже если не считать миллионные жертвы ни в чем не повинных людей, что объективно революция дала России? Она вернула крепостное право в виде колхозов. Абсолютно точно.

...Одним словом, еду в вагоне, а этот полупьяный работяга, сидящий напротив, продолжает весело подмигивать мне, призывая подняться на поверхность земли и выпить. Я выражаю своим взглядом полное непонимание его намеков и даже делаю вид, что я иностранец.

Этот подмигивающий работяга чем-то напомнил мне одного из героев Михаила Булгакова. На днях как раз перечитал его знаменитый роман «Мастер и Маргарита». Сейчас он представляется мне ясным как божий день.

Это великая и грешная книга. Грех ее заключается в том, что автор пытается показать, и при этом довольно подобострастно, величие сатаны. Сатана действует в нем как некий заместитель Бога, тогда как он его главный враг.

Юмористический и сатирический эффект его переигрывания советских бюрократов мог быть достигнут без ущерба художественности, если бы автор с тонкой, присущей ему иронией намекнул читателю, что сатана условный. Никакой он не сатана, а просто здравый ум в безумном мире.

Серьезность отношения к сатане в высшем, философском, смысле здесь просто глупа. И везде, где автор явно всерьез относится к сатане, скучно и нехудожественно.

Но роман и велик, потому что в самом замысле — попытка объять жизнь как таковую, как бы взгляд с высоты на весь земной шар. Изумительные лирические строки, порожденные отчаяньем художника, и прекрасный юмор — плод превосходства ума художника над окружающей жизнью. Первые две главы написаны гениально. Много прекрасных страниц и в следующих главах, но грех остается в силе. Ведьмачество Маргариты просто противно, бешенство феминизма в потустороннем исполнении.

Ясно, что болезненное любопытство к чертовщине у Булгакова, как и у его кумира Гоголя, не было случайным.

Сходство и в страшной, тоскливой смерти обоих. Случайно ли? Не знаю, хотя смерть Булгакова была смягчена нежной заботой любимой женщины. Бедный Гоголь!

Хорошая книга пьянит сама. После прочтения плохой книги хочется сейчас же из санитарных соображений прополоснуть мозги спиртом. Что я и делаю...

Настоящие стихи, еще не вдумываясь в смысл, узнаешь по гулу правды, заключенной в них. И если есть этот гул правды, то сам понимаешь, что технические недостатки этого стихотворения, если они есть, второстепенны.

Стихи Цветаевой и Маяковского, при всем огромном таланте их, как бы заранее рассчитаны на молодого читателя. Они как бы говорят: не можешь пробежать стометровку — не читай моих стихов!

Пушкин умудряет молодость и молодит старость.

Вживлять юмор в личинку смерти. Ювелирная работа.

Удобства двуглавого орла: каждая голова думает, что за нее думает другая голова.

Мы живем под лозунгом: превратим развалины социализма в руины капитализма.

Выше планку позора!

Прежде чем вопиять в пустыне, создай в ней хотя бы один оазис!

— Если Бога нет, надо ужраться на этом свете.

— Но это непорядочно!

— Значит, надо ужраться порядочностью!

Он считал себя христианином, но был женат шесть раз.

— Как бы на это посмотрел Христос? — спросил я у него.

— Как Магомед! — мгновенно ответил он.

Крик души и крик: «Души!» — язык нас выдает.

Спал на лаврах, но со снотворным.

Один человек остроумно сказал: «Хорошая мысль пришла в голову, но, увидев, что там никого нет, ушла».

Говорят: стрелять из пушек по воробьям. И никому не приходит в голову, что воробьев жалко.

Нищета довела его до гордости.

Если всякая власть от Бога, то и всякий Бог от власти.

Склонный делать добро не считается с принципами и любому павшему подает руку, чтобы поднять его. У него не возникает мысли: достоин ли павший? Достоин уже потому, что пал.

Наслаждение телевизором: своею собственной рукой выключить его.

Блевота вулкана, его грязь через тысячелетия превращается в пемзу, в средство отмывания грязи. Геологический оптимизм.

Старею. И уже об этом мире думаю с нежностью и печалью, как о сыне-подростке: что с ним будет?

Верующий менее жаден к этой жизни, потому что рассчитывает на дополнительные радости в раю. Следовательно, верующим договориться в этой жизни легче и легче эту жизнь сделать более сносной.

Набоков — писатель без корней, уходящих в землю. Лучшие его вещи — гениальная гидропоника. Грустно думать: кажется, это искусство будущего.

Иуда — кадровая ошибка Христа.

Когда мошенничество стало его второй натурой, куда смотрела его первая натура?

Гений: и звезда с звездой говорит. Графоман: и звезда с луной говорит.

Прочные перила разума над бездной — вот что такое форма художественного произведения, и ничего другого.

Самое большое удовольствие от писательской работы я лично испытываю не в процессе творчества. Вдохновение сладостно, но и мучительно. Но вот, скажем, я написал черновик вещи и считаю, что удачно написал. И ложусь спать. На следующее утро самая приятная часть работы — чистить черновик. Это как в жаркий летний день сдирать с охлажденного апельсина кожуру.

На одной остановке вместе с другими людьми вошла довольно пожилая женщина с увесистой сумкой в руке. Свободных мест не было, и я, встав, предложил ей свое место. Естественно, по-русски, забыв молчаливые намеки на то, что я иностранец.

— Обойдусь! — вдруг сказала эта женщина и так оскорбленно посмотрела на меня, как будто я своими словами скинул с себя лет десять и нагло нахлобучил ей на шею лет пятнадцать. Я еще раз предложил ей сесть, но она на этот раз ничего не ответила и только поставила свою сумку у ног. Я продолжал стоять как дурак.

— Да садись, парень! — крикнул этот работяга. — Она еще баба как звон! Постоит!

Женщина, как это ни странно, благодарно улыбнулась его якобы проstonародной точности.

Я сел, несколько оглушенный случившимся. Давненько меня не называли парнем, но, с другой стороны, женщина посчитала меня слишком старым, чтобы уступать ей место. После этого подмигивания и кивки этого полупьяного работяги приняли слишком неприличный характер. Он не только призывал меня выйти наконец на поверхность земли и выпить, но как бы обещал своими кивками прихватить и эту женщину, улыбнувшуюся ему.

Я вышел на ближайшей станции, подождал следующего поезда и сел в него. Рядом со мной устроились две молоденькие женщины, так и полыхавшие своими новостями, как бывает с женщинами, когда они давно не виделись. Они оживленно переговаривались, слишком надеясь, что грохот состава заглушает их голоса.

— Ой, что со мной было этим летом, я чуть не умерла от ужаса! — полыхнула одна.

— А что случилось? — полыхнула другая.

— Я была вечером в парке, и меня там изнасиловали хулиганы! Я от ужаса чуть не умерла! Столько раз ходила в парк, и ничего. А тут — на тебе!

Вот дура, подумал я, какой черт в наше время понес тебя одну вечером в парк! Да она хотела, чтобы ее изнасиловали, но деликатно. Больше я к ним не прислушивался.

Я доехал до своей станции, вышел из метро и направился домой. Шагая по тротуару уже по своей улице, я вдруг увидел, что навстречу идут два молодых человека и, не сводя с меня глаз, улыбаются.

Конец маразму, подумал я. Конечно, это мои читатели узнали меня и улыбаются, вспоминая мой юмор. А еще многие писатели жалуются, что молодежь перестала читать! Я дружески, но ненавязчиво кивнул им. Кажется, не успел я докивнуть, как они оказались передо мной. Сейчас попросят автограф, но взял ли я ручку с собой — последнее, что я успел подумать.

— Вам повезло! — крикнул один из них. — Рекламная распродажа! В пять раз дешевле, чем в магазине! Вам повезло!

Чувствуя, что происходит нечто непристойное, тем более — стояли они передо мной в какой-то похабной близости, я все еще думал — это мои читатели, и то, что кажется мне непристойностью, — недоразумение, вызванное тем, что они не понимают: я абсолютно равнодушен к вещам.

Дальнейшее не поддается разумному анализу. Они суют мне какие-то паршивые перчатки, какое-то гнусное кашне, и все это я почему-то беру, вынимаю бумажник и спрашиваю: сколько?

А так как я без очков, а надевать очки и тщательно пересчитывать деньги на глазах у своих поклонников кажется мне неблагородным, сам протягиваю бумажник, правда, твердо помня, что там не больше ста рублей.

Тот, что кричал, мгновенно опорочил бумажник и, вынимая деньги, чему я успел поразиться, пальцами, на ощупь их посчитал и вернул мне бумажник.

— Вам повезло! — крикнул он в последний раз, и в тот же миг оба сгнули в толпе.

Чувствуя себя вдвойне изнасилованным, именно вдвойне, не потому, что их было двое, а потому, что сам факт изнасилования во время изнасилования я не осознал, стою на тротуаре. Продолжая придерживать кашне и негнущиеся перчатки, я заглянул в свой бумажник. Я увидел, что в нем осталась какая-то смятая купюра. Тут я почему-то не поленился достать очки, при этом стараясь не уронить ненавистные перчатки и кашне, надел очки и разглядел купюру. Это была пятирублевка. Почему он ее не взял — для меня до сих пор великая загадка. Может быть, это его выражение благодарности мне. Он дал мне «на чай» мои же пять рублей — за удобство идиотизма.

Я вдруг вспомнил о своих снотворных. Страшное подозрение пронзило меня! И почему они стояли передо мной в такой похабной близости?! Мистика зла! Сперли! Я мгновенно погрузил руку во внутренний карман пиджака и — о счастье! — нащупал там свои облатки, как в детстве случайно забытые конфеты.

А ведь могли спереть. В этом молниеносном мошенничестве все-таки был оттенок благородства. Могли спереть, но не сперли. Да и стояли они передо мной в похабной близости, чтобы прикрыть эту сцену от остальных прохожих. А ведь именно сегодня ночью, судя по всему, мне особенно понадобится снотворное. Прекрасное снотворное — реладорм! Пусть то, что я говорю, похоже на рекламу, но оно достойно любой рекламы.

Однако, поуспокоившись, я подумал: а что делать с этими трофеями? Являться домой и объяснять жене, как это все получилось, было выше моих сил. И почему я так пристально заинтересовался оставшейся купюрой? Теперь я понял. Если бы купюра была достаточно крупной, видимо, на это я подсознательно надеялся, то случившееся можно было бы считать грубоватым трудом, а не насилием. Но пять рублей! Мысль о каком-то там гипнозе я отметаю. Просто мой дружеский, но ненавязчивый кивок они приняли за добродушие лоха. Впрочем, еще до кивка они смотрели на меня, доброжелательно улыбаясь: это как раз тот, кто нам нужен.

Мошенники иногда проявляют незаурядную психологическую тонкость. Только вчера был у меня мой племянник и рассказал забавный случай. Сам он служит в фирме. Такой могучий, красивый парень.

Он приехал на какой-то рынок, чтобы заглянуть в магазин запчастей. Что-то ему надо было купить. И вот он купил то, что ему было надо, и возвращается к своей машине. Садится в нее и вдруг понимает, что заднее колесо спущено. Он выходит из машины, заменяет заднее колесо и снова садится в машину. Едет. Минут через двадцать замечает, что его дипломат, лежавший рядом на переднем сиденье, исчез. Мог бы заметить и пораньше. Тогда он начинает понимать, что вор нарочно проколол его заднее колесо, чтобы, пока хозяин будет с ним возиться, сунуться в машину и забрать то, что там плохо лежит. В таких случаях ее не запирают.

Так и получилось. В его дипломате лежал паспорт и документы о прописке в новую квартиру. Конечно, если бы вор знал, что там никаких других ценностей нет, он, может, даже воздержался бы от этой кражи. Но и

его можно понять. Не будет же он проверять содержание дипломата, когда в двух шагах от него хозяин машины возится с задним колесом.

И вот мой племянник поворачивает назад и снова подъезжает к этому рынку и спрашивает у разных торговцев, возле которых он оставлял машину, мол, не замечали ли они здесь какого-нибудь подозрительного человека, подходившего к его машине, с некоторой надеждой, что этот подозрительный человек все еще в доступной близости. Видимо, он надеялся при помощи своей могучести на месте решить вопрос. Простодушный. Продавцы так и скажут, даже если видели этого подозрительного человека. Нет, говорят, не видели.

Мой племянник сильно приуныл. Новый паспорт получать, новые справки выбивать. И вот он вечером сидит грустный у телевизора, и вдруг раздается звонок. Он подымает трубку. Какой-то человек ему сообщает, что нашел возле мусорного бака паспорт и справки, где был этот телефон. Не его ли это все?

— Мое, мое! — радостно отвечает мой племянник, стараясь заразить своей радостью позвонившего. Но радостью заразить не удастся.

— Две тысячи долларов — и я вам возвращаю паспорт и справки!

Мой племянник, как и многие могучие люди, был человеком вспыльчивым, ибо могучесть позволяет человеку быть вспыльчивым. Нет, конечно, и хилые люди бывают вспыльчивыми, но они чаще всего скрывают свою вспыльчивость. И оттого, что они скрывают свою вспыльчивость, они становятся еще более хилыми и даже еще более вспыльчивыми и уже из последних сил стараются скрыть свою вспыльчивость. Но моему племяннику скрывать было нечего.

— Я за триста долларов съезжу в Абхазию, получу новый паспорт и вернусь! — крикнул он и швырнул трубку.

Через несколько минут снова раздается звонок.

— Что вы такой горячий, — удивляется тот же голос, — хорошо, приносите триста долларов — и получите свои документы. Мне тоже это стоило нервов!

И он назначает ему свидание на окраине Москвы, в магазинчике, который слева от входа в рынок, где торгует очень симпатичная девушка. Указывает время.

— Хорошо, — говорит мой племянник, соображая, куда ехать и где расположен этот магазинчик.

Жена рыдает, умоляет его не ехать, мол, убьют, но он, отчасти благодаря своей могучести, не соглашается с женой и на следующий день едет туда. Конечно, он прекрасно понимает, что все это действие одного человека или одной шайки.

Он входит в магазинчик и в самом деле видит, что там торгует симпатичная девушка. И она ему улыбается очень благожелательно и даже как-то образом его узнает.

— Сейчас он подъедет, — говорит.

И в самом деле, через некоторое время в магазинчик входит какой-то парень и смотрит на племянника, неприятно задетый его могучестью. Видно, это сообщник. Тот, который прокалывал колесо, мог сам убедиться в его могучести. Но тот не пришел, может быть, даже в глубине души стесняясь содеянного.

— Это вы потеряли паспорт и документы? — спрашивает парень.

— Да, я.

— Сходи к моей машине и принеси оттуда пакет, — обращается парень к этой хорошенькой девушке, и она, нырнув под перегородку, быстро выходит из магазина и через пять минут приносит какой-то пакет и вручает моему племяннику. Тот, несколько удивляясь форме пакета, разворачивает его. А там пистолет.

— Это не мое, — немного растерявшись, но при этом не теряя своей мочуцести, говорит мой племянник этому парню.

— Дура, не этот пакет, а другой! — кричит парень продавщице и, взяв пакет с пистолетом у моего племянника, небрежно сует его в свой карман. Продавщица опять бежит и приносит другой пакет.

Племянник разворачивает его и убеждается, что там не пластиковая бомба, а в самом деле его паспорт и документы. После чего он отдает этому парню триста долларов, и они мирно расстаются.

Здесь психологическая тонкость, я думаю, заключается в этой путанице с пакетами. Конечно, все это было заранее оговорено с девушкой. Игра с пистолетом нужна была на случай, если вдруг хозяин паспорта заартачится и не захочет давать денег.

...Однако я стою на улице и не знаю, что делать с этими вещами. Сунуть их в урну? Но возле ближайшей урны стоят какие-то люди и распивают водку. Могут счесть за оскорбление. В наше время это опасно.

— Вот подлец, — скажут, — мы тут, горюя о судьбе родины, пропиваем последние деньги. Народ холодает и голодает, а этот негодяй шмотками разбрасывается!

Один писатель остроумно сказал: в России богатая культура нищеты. Могу к этому добавить, что нищета чаще стремится дать по морде, видимо защищая культуру своей нищеты. В таком духе сравнения можно продолжить. Например, глупость — культура многообразия ума. Или у самураев развита культура харакири. Сомнительный повод для гордости.

Но что же делать с этими шмотками? И вдруг мне наконец повезло. Оказывается, совсем рядом со мной сидела нищенка.

— Подайте что-нибудь, — обратилась она ко мне.

Гениальная хитрость мелькнула у меня в голове! Я подал ей эти хамские перчатки и не менее хамское кашне. Она рассмотрела их и почему-то, взяв в обе руки кашне, расправила его, то ли пытаясь установить размер кашне, то ли любуясь его расцветкой. Так как у этой нищенки лицо было восточного типа, вся эта сценка почему-то напомнила давний фильм, экранизированную оперетку, что ли, «Аршин мал алан». Там еще пел знаменитый когда-то Бейбутов. Я вдруг почему-то с некоторым стыдом подумал, что довольно долго живу на этом свете. При этом, несколько стыдясь своего бесстыдства, признался себе, что жить все еще хочется. Даже сильнее, чем раньше. Жизнь — как проигрывающий игрок: чем больше живешь, тем больше жить хочется.

Потом нищенка, оставив кашне, стала натягивать на руки перчатки. Не без труда натянула, после чего спросила:

— А деньги есть?

Возможно, как восточная женщина, она решила приостановить мой стриптиз, а разницу получить деньгами.

— Нет! — огрызнулся я и весьма целенаправленно двинулся к дому, чтобы в полной сохранности донести до него свои пять рублей. Как это ни удивительно — удалось.

Придя домой, я разделся и хищно налетел на свою машинку, решив весь этот день записать, а то потом забудется. Я так увлекся, отщелкивая все, что со мной случилось, что, когда позвонил телефон, автоматически поднял трубку, забыв о своем правиле никогда не подымать трубки.

— Вы такой-то? — спросил бойкий женский голос.

— Да, я такой-то.

— Мы знаем, — с необычайным вдохновением затараторила она, — что вы известный писатель, и поэтому к вам обращаемся. Вступайте в наш знаменитый клуб...

Она назвала этот клуб, но я тут же забыл его название.

— Толпы людей, — продолжала она, — осаждают нас с надеждой вступить в наш клуб, но мы их с негодованием отвергаем! У нас только из-

бранная публика. Членские взносы символические — всего сорок долларов в месяц!

Тут она не выдержала и расхохоталась в трубку и долго не могла перестать смеяться, видимо не в силах совладать с комичностью мизерной суммы.

— Вы платите сразу за год и получаете карточку нашего клуба. По карточке нашего клуба вы можете в любой день зайти в ресторан нашего клуба и поужинать за полцены.

Но я уже был закален этим днем и хорошо владел собой, о чем она, конечно, не подозревала. Тем более я время от времени бросал взгляд на угол стола, где лежали облатки со снотворным. Это меня взбадривало.

— Простите, — сказал я, — а как быть, если я в ваш ресторан привожу своих гостей?

— До четырех человек за полцены! — радостно сообщила она мне. — Но, чтобы получить клубную карточку, надо заплатить за год вперед! Сумма символическая — всего сорок долларов в месяц!

Тут она снова расхохоталась, возможно ожидая, что и до меня наконец дойдет юмор. Но юмор не доходил.

Дав ей отхохотаться, я спросил:

— До четырех человек включительно?

— Что значит включительно? — строго спросила она.

— Я могу привести четырех гостей или только трех, а я четвертый? — спросил я.

— Вы четвертый, — затараторила она опять, — но вы даете ручательство за своих гостей! У нас очень культурная публика. Вплоть до миллионеров! Никаких застольных песен и никаких посылений бутылок от одного стола к другому! Вы должны у нас забыть эти кавказские привычки. Но самое главное даже не это! Вы можете заказать номер в нашей гостинице и жить в нем сколько угодно за полцены.

— Зачем мне гостиница, — вставил я не без раздражения, — когда я москвич!

— Мало ли что, — пояснила она, — вы же творческий человек. Вам же иногда необходимы конфиденциальные встречи!

Тут она засмеялась таким воркующим смехом, что можно было подумать — она сама готова в первый раз стать участницей конфиденциальной встречи, с тем, чтобы я, поучившись у нее, уже самостоятельно их устраивал. Воркующий смех долго угасал. Угас. Молчание. Было похоже, что она мирно уснула после такой встречи или показывает, как засыпают женщины в таких случаях. Но через несколько секунд ее явно посвежевший голос грянул снова:

— Но даже не это самое главное! Гостиницы нашего клуба раскинуты во всех культурных центрах Европы! Там бильярдные, игорные заведения, бассейны, теннисные корты! Показав карточку нашего клуба, вы сколько угодно можете жить в них. Номер вполцены, ужин вполцены! При этом, не падайте от удивления, завтрак бесплатный! Шведский стол. Берите что хотите и сколько хотите — до ужина даже не вспомните о еде!

Не дожидаясь, когда она мне предложит Эйфелеву башню вполцены, я ее вежливо перебил.

— Спасибо большое, — сказал я, — за то, что ваш выбор остановился на мне. Но дело в том, что я не могу воспользоваться вашим шикарным предложением. Я вообще не выхожу из дому!

— Как не выходите! — вдруг вспыхнула она. — Я сама видела! Вас недавно показывали по телевидению. Вы что, туда перелетели?!

— Дело в том, — сказал я, — что люди с телевидения снимали меня в моем кабинете.

В этот раз так оно и было. Последовало сокрушительное молчание в три-четыре секунды. И она вновь зазвенела:

— Я нашла выход! Будете благодарить меня всю жизнь! Мы пришлем к вам нашего агента. Вы заплатите ему за год членские взносы, и он вам торжественно вручит карточку нашего клуба. Я опять вспомнила о символической цене и умираю теперь от внутреннего смеха.

Теперь. А кто ей раньше мешал умирать от внутреннего смеха?

Но, судя по всему, она не умерла.

— Зачем мне ваша клубная карточка, — повторил я исключительно четко, — когда я вообще не выхожу из дому. Спасибо! До свиданья!

— Подождите! — взвизгнула она. — Я тут посоветуюсь! Мы для вас можем сделать исключение: посылать ужин на дом.

— И гостиничный номер на дом? — спросил я не без ехидства.

— Не поняла, — сказала она, — повторите!

Тут она вывела меня из себя.

— Богатство, — разъяснил я назидательным голосом, — бог адства.

— Опять не поняла, — деловито сказала она, — повторите!

— Богатство, — четко повторил я, — бог адства.

— Снова не поняла, — сказала она, — повторите по буквам! Записываю!

Тогда я пошел на компромисс и сказал:

— Хлеба каравай — нищему рай.

И тут она сразу все поняла и бросила трубку. Конечно, все это какая-то афера. Очередная пирамида...

Загадка. Оскорбление мопса — пирамиды Хеопса — в чем? Только быстро отвечайте!

Если бы не сегодняшний день, закаливший меня примерами из жизни, я бы, наверное, долго что-нибудь мямлил, и неизвестно, чем бы это все кончилось.

...Вера в человека! Какое благородное пренебрежение мудростью!

Я снова сел за машинку, чтобы вписать в рассказ и этот разговор, а то потом забуду. В большом хозяйстве любая тряпка пригодится, как говаривал Ленин еще до революции, когда ему жаловались, что в партию принят отъявленный негодяй.

Только я этот разговор нашлепал на машинке, как ко мне в кабинет вошла жена.

— Как хорошо ты сегодня погулял по Москве, — сказала она, — у тебя даже цвет лица улучшился. Давно у тебя не было такого цвета лица! Я же тебе каждый день говорю: почаще бывай на воздухе! Почаще бывай на воздухе! Сходи завтра на рынок за картошкой. Тебе же полезно. Кстати, развлеку тебя. Какой забавный сон я видела! Как будто кто-то невидимый подносит мне карту Италии в виде сапожка. «Теперь вы понимаете, почему итальянская обувь лучшая в мире?» — таинственно спрашивает у меня этот невидимый. «Да! Да!» — радостно отвечаю я во сне. Смешно?

В самом деле смешно. С такими снами человек живет до ста лет. Мы посмеялись, и жена вышла из кабинета. А я подумал: как раз концовку дала! И тут же напечатал то, что она сказала, чтобы потом не забыть.

...Последняя загадка, читатель! Один человек утром вошел в свою ванную и вдруг увидел, что скелет преспокойно чистит зубы над умывальником.

— Ты чью щетку взял, сука! — раздраженно обратился он к скелету. — Кстати, и халат мог бы накинуть. Все-таки женщины в доме!

Спрашивается: сколько этот человек выпил накануне (желательно в граммах) и кто он?

Я бросил взгляд на угол стола, где лежали облатки с реладормом. Целый месяц можно высыпаться: благодать! Спокойной ночи, господа! До встречи в Гефсиманском саду!



ВЕРА ПАВЛОВА



ЛОГОПЕДИЯ

* *
*

Заставлять слушать свои стихи
стыдней, чем просить в долг,
стыдней, чем просить оставить долги.
Поэт человеку — волк,
отсюда — размеры глаз и ушей,
зубов, когтей и стихов...
Люди, гоните поэта взашей,
он не возвращает долгов.

* *
*

Поэзия — логопедия
измучившейся мычать
души. Соскреби, вития,
каинову печать
со слипшихся, подслеповатых,
тугих на ухо уст,
взбитой слюны вату
сотри с подбородка — пусть
расправит крылья лопаток
очнувшийся индивид
и, преодолев упадок,
свободно и гордо мычит.

* *
*

Плоть прозрачна, как мармелад,
если смотреть на свет.
Плоть прозрачна, но вязнет взгляд
в плоти, сводя на нет
плоти прозрачность, но вязнет свет,
встречая плоть на пути.
То ли ни света, ни плоти нет,
то ли — свет во плоти.

Павлова Вера Анатольевна родилась в Москве. Окончила Институт имени Гнесиных по специальности музыковед. Ведет детскую поэтическую студию. Автор двух книг стихов («Небесное животное», «Второй язык»). Живет в Москве.

* *
*

Из всех исполнений, которые слышала,
ближе всего к авторскому замыслу —
глубже, тоньше, стройней, продуманней —
твое исполнение
моего имени.

* *
*

В дневнике литературу мы сокращали *лит-ра*,
и нам не приходила в голову рифма пол-литра.
А математику мы сокращали *мат-ка* —
матка и матка, не сладко, не гадко — гладко.
И не знали мальчики, выводившие *лит-ра*,
который из них загнется от лишнего литра.
И не знали девочки, выводившие *мат-ка*,
которой из них будет пропорота матка.

* *
*

Небытие определяет сознание.
Танатологика — наука наук.
Одностороннее осязание —
прикосновение теплых рук
к негнущимся, — чтобы вложить послание
и пропеть, кому передать.
Небытие определяет сознание.
Но не дает себя осознать.

* *
*

Поколение, лишенное почерка и походки,
не голос — синхронный закадровый перевод,
тебе провожать меня до Хароновой лодки,
тебе объяснять ему, кого и куда он везет,
тебе налегать на весла моего гроба.
Помогла бы, да обол во рту, на глазах пятаки.
Мы оба утонем или выплывем оба,
вот только бы вспомнить название этой реки.

* *
*

Так полно
чувствую твою плоть
во мне,
что вовсе
не чувствую твою плоть
на мне.

Или ты весь
 во мне,
 вещь-во-мне?
 Или ты весь
 вовне
 и кажешься мне?

* *
 *

Сладострастие — бес плотности,
 бес стыдливости, бес платности,
 бес ответственности, бес халатности,
 бес полезности, бес полетности,
 сладострастие — бес тактности,
 бес тактильности, бес ударности,
 бес предельности, бес инакости,
 бесхарактерный бес данности.

* *
 *

В поисках слова такой силы,
 чтобы дробило зубной камень,
 летучих мышей руками ловила,
 мышей летучих ловила руками.

руками раскапывала могилы,
 летучих мышей ловила руками.

В поисках слова такой силы,
 чтобы гасило адское пламя,

Не было слова. Не было слова.
 Не было слова. Даже в начале.
 И умирали умершие снова.
 У меня на руках умирали.

* *
 *

Яблоки ем от Я
 до И — и кожу, и кости,
 и битый гнилой бочок,
 и волосатую попку.
 Жизнь, съешь меня так же —
 не оставляй огрызка!

* *
 *

Когда я царь, мне кажется — слов
 гораздо меньше, чем смыслов.
 Когда я червь, мне кажется — слов
 гораздо больше, чем смыслов.
 Когда я раб, мне кажется — слов
 так же мало, как смыслов.
 Когда я бог, мне кажется — слов
 Адам еще не придумал.



ГЕОРГИЙ БАЛЛ

*

ЛОДКА

Мистерия

Держи твой ум в аде и не отчаивайся.

Старец Силуан Афонский.

О, паря, две машины из грязи всегда вылезут.

Михаил Силинский, шофер из Озерок.

— Эй! Эй! — кто-то кричал.
Я пошел на крик. Крик был холодный, темный, отступал, как вода, передо мной.

Ведь был же голубой свет, когда я умирал.

— Иди! Иди! — Этот крик уже не просто темный, а совсем почернел.

Голос оборвался, пропал. Я еще отошел от тропинки, послушал. Поглядел... — и худенькие эти березки. Худенькие — среди болотной сырости. Я глядел на березки и не верил. Не верил, что дойду. Ткнулся рукой в холодную воду, поднялся. А не заметил, как садился. Опять надо идти.

Вот я болен — и опять надо идти. Прислушался. Никто не откликнулся на мои мысли.

Я шел по узенькой тропе, стараясь аккуратно ставить правую ногу.

— Сапог, — говорил я, — сапог разорван. — Я старался ступать так, чтобы правым сапогом не очень набирать воду. У меня, правда, он был разорван повыше подъема, нет, не разорван, а точно ножиком разрезан или бритвой.

Закрой поддувало, скомандовал я себе. Эти слова, написанные на железной дороге, я вдруг вспомнил. И они подбодрили.

— Я болен, — шептал я, будто кому жаловался. Страх подтачивал мои силы. Ноги промокли и в дырявом, и в целом сапоге, а я все шел по мягкой, тряской земле, и мокрая трава липла к сапогам. И мне начинало казаться, что я иду не по самой тропке, а по краю. Жмусь к березкам, а они плывут. Все выше и выше подплывают к небу.

Мокрый туман плотнился твердым хрящом. За мной кто-то шел — едва слышные шаги. Я стиснул зубы. Ждал, что всей своей сырой изнанкой небо сзади навалится и я почувствую смрадный дух зверя. И острые клыки в шею. И жухну в грязь. Не оглядывался.

Мне было тесно ждать. Надо бы освободить шею, подумал я, и понял, что я весь обсыпан крупной страха. Неслышные шаги то отставали, то обгоняли меня. Нет, это не были шаги зверя, понял я. И громко сказал:

— Вот я болен, и опять надо идти.

Прислушался. Никто не откликнулся. Я шел по узкой звериной тропе, стараясь аккуратно ставить ногу.

Балл Георгий Александрович родился в 1927 году. Живет в Москве. Автор более двадцати книг, выходящих в издательствах «Советский писатель», «Детская литература» и др. Короткие рассказы Георгия Балла публиковались в «Новом мире» (1996, № 10; 1998, № 2).

Я тихонько кончался. И уж совсем трудно стало, когда открылась деревня. Дошел до первого дома, миновал его и остановился около второго. На бревнах, рядом с загородкой, сидела старуха с мальчиком. Мальчик был без штанов, в короткой рубашонке.

— Здравствуйте, — сказал я старухе.

Старуха давно меня заметила и глядела на меня. И мальчик замер и тоже на меня глядел.

— Хочу лодку купить, — сказал я.

— А-а, ступай к Иван Руфычу, — проговорила старуха и закричала на внука: — Чего кинул цацу? Я на тебя сейчас пыхну: пых! пых!

Мальчик стал прятаться за бабку.

— Куда полез? — закричала старуха. — Жопку-то занозишь.

Я опустил на бревна, стянул со спины мешок, и силы оставили меня... Я понял, что тот, кто шел за мной, где-то тут, рядом, сгустился в тумане.

Я открыл глаза. Старуха глядела на меня.

— Откуль идешь-то? — услышал я.

— С Озерок.

— О-о! — И закричала: — Погоди, паршивец! Я тебе пукну. Это кто это пук? — И опять ко мне: — Большу ли лодку тебе надо?

Я махнул рукой.

— Ты поди-тко к Иван Руфычу. Лодку он тебе даст.

Вытянул ноги. И хотел заснуть. А старуха, чтоб меня успокоить, упрятать мою болезнь, протянула руку, начала гладить по голове, как в детстве, почесывать волосы и тихонько нашептывать что-то ласковое, доброе: про душеньку безымянну, про душеньку безответну. И так мне стало сохранно, ласково, так уютно, и уж любил я всех людей на земле, конечно сильно перепаканной обидами. Ну зачем про то вспоминать?..

Загремело. Я увидел старика рядом с телегой, вернее, почувствовал, что он стоит, а потом увидел, — с болью открыл глаза.

— Никифор, ты куда-то? — спросила старуха. — Петька на обеде?

— На обеде, — откликнулся тот. Он был с рыжей, путаной бородой, в зимней шапке-ушанке, придерживал вожжи, глядел не на старуху, а на меня.

— Косил, что ли? — опять спросила старуха.

Я тоже заметил на телеге рядом с тремя пустыми флягами косу и топор.

— Дали неудобье скосить, — кивнул он. И открыто рассматривал меня.

— Это-о, спорожнишь воз, человека отведи к Иван-то Руфычу. Лодку им надо.

— Хорошо. — И теперь он мне кивнул.

Я поздоровался и попробовал встать. И даже подумал, что встал.

— Ты чего? — спросил старик, и рыжая борода закачалась надо мной.

— Заболел, — улыбнулся я.

— Эх, эх! — запричитала старуха. — Подал бы ты мне ранее голос!

— Спасибо! — шептал я. — Я пойду. Мне неловко. Знаете... — Я поглядывал в ее водянистые, страдающие глаза. — Вот заболел. Еще там, в Озерках.

— Да как же ты?! — Голова ее, стянутая по-старому, по-прежнему, по-войником под платком, качалась в горести.

— Хотел Мише Силинскому лодку купить. У вас тут в Селении. Да перегнать по Яхронге до моста.

— Да как же ты, дитяток малое?! Как же ты больной пошел?!

— Пошел. — И я поцеловал ее руку. — Прощайте. Прощайте, мама.

— Прощай. Фрося я, Фрося.

Я поднялся. Полез на телегу, фляги загромыхали. Земля шатнулась. Но теперь мне было все равно. Я знал, что лежу на телеге и меня везут куда-то.

— Ленька! — крикнула старушка. — Не ходи далеко. Сейчас дядька в мешок запхат. На что кинул цацу?!

Я проснулся от того: меня расталкивал рыжий Никифор.

— Ну вставай, что ли. Приехали.

Я улыбнулся Никифору. Хотел, чтоб он меня простил. И не трогал. Оставил до утра в телеге. А утром я куплю лодку и погоню ее до моста.

Все же я встал. На крыльце подергал за кольцо. Вошел на мост. Было темно. Низко наклонившись, толкнул дверь в избу.

— Здравствуйте! — сказал я, никого еще не видя.

Из темноты моей болезни ко мне выдвинулась печь. С печи прыгнула кошка. Она сбросила на пол рукавицу и, выгибая спину, безмолвно и красиво стала тереться о мой сапог.

— Вот человек с Озерок, — глухо проговорил вошедший следом за мной Никифор. — Лодку бы ему. У тебя, кажись, есть одна.

— Мне бы поспать, — прошептал я. — Я болен. Устал. Я немножко посплю и тогда погоню лодку. А деньги есть: сорок рублей, даже сорок пять — на лодку. И двадцать пять — чтоб вернуться домой. Деньги в рюкзаке, там и документы.

С кровати напротив печки поднялся старик с детским белым лицом и белой бородой.

— Здравствуйте, Иван Руфыч. Хочу у вас лодку купить.

Старик не ответил, подошел к печке, где стояли сапоги, сунул в них сухие голые ноги и пошаркал к столу.

— Он велит тебе ложиться, — проговорил Никифор за моей спиной.

— Спасибо, Иван Руфыч, — поклонился я в дальний угол и шагнул к кровати.

Мои сапоги скользили, я не мог никак их снять — но все же одолел — и вздохнул радостно. Не заботясь, стянул брюки, бросил пиджак — и полез на кровать. Она была теплой, под большим одеялом. Что-то пушистое, ласковое нежно коснулось моего лица.

«А-а, кошка!» Густой волос мешал мне дышать. Но это уже была болезнь — и я заснул.

— Слышь, вставай. Вставай, эй, чего ты? Вставай!

Я открыл глаза, надо мной, как в пожаре, — рыжая борода, лицо... Потом уж сообразил — Никифор в шапке.

— Чего? Чего тебе?

— Пойдем. Ждут тебя. — Никифор так и не снял ушанки, сзади завязанной тесемкой. И он тряс и не отпускал меня.

— Кто это?

— Пойдем, слышь, пойдем! Чего ты?!

А я уже успел опять немного разжиться сном, да он вырвал.

— Вставай! — вырвал меня, и глаза мои не хотели открываться. А он все тормозил: — Слышь, чего ты?!

Я поднялся. Сел.

— Ну-ка. — Он протянул мне брюки и мокрые мои сапоги.

— Я болен.

— Идем, слышь. — И голос его покоил меня. — Тут недалеко. Еще поспишь.

Дверь открылась. И какая-то женщина скорым шагом прошла с чугуном не здороваясь. Она склонилась над жерлом печки и для меня пропала.

Я стал одеваться. А Никифор протянул мне портянки — и они были теплыми.

— Спасибо за портянки. Спасибо. — Я торопливо начал обуваться.

Никифор стоял. Ждал.

— Документы, что ли? — посмотрел я на него. — Они в рюкзаке.

— Пошли, с Богом. Пошли.

Мы потерялись в ночи. А за домами, за полем, горела и не хотела гаснуть заря. Это воспаленные веки не хотели смыкаться, и глаз солнца плыл за нами, а мои сапоги вязли — и я хватался рукой за березовые жерди загородки. Мы перелезли через загородку. Темные избы приблизились. Но кругом ни единого звука.

Я был еще слаб, и я тянулся и будто все падал вниз, куда-то вниз, убаюканный тишиной, — плохо, что ноги расплзались, — и вот эта еще липкая грязь...

Как зашли — вдоль широкой комнаты по лавкам сидели мужики, желтели старые плакаты на стенках, лампа без абажура низко висела над тесным столом.

— Здравствуйте.

Мужики закивали, и кто-то сказал, приглашая:

— Садитесь. Свет-то есть, повечеруйте.

Я опустил на лавку. Передо мной стояли огромный темный чайник и два стакана с желтоватым мутным пойлом.

— Ну, будемте здоровы! — Я чокаюсь и тяну сладковатую бражку. Бражка не сильно хмельная, думаю, вот ведь полечусь. Думаю, что ничего: главное — я немножко поспал. Сосед мой, в гимнастерке, с одной рукой, заметив, что я гляжу на него, проговорил хриплым шепотом:

— Алексей Гаврилыч Чичерин. — И протянул мне левую руку, я пожал ее. И опять в моей руке стакан. Мы чокаемся. — Ну, будемте здоровы.

Я выпиваю, мне становится легче.

— Это куда-то днем машина побежала? — спрашивает кто-то из дальнего угла.

— А-а, за промтоваром.

— Дорога-то замутилась. В неделю не обернется теперь.

Я вспомнил эту дорогу и встречаю в разговор, потому что окреп.

— До вас, селенцев, не так-то легко добраться, — говорю. — Я шел большой пешком. Я думал, что не дойду. Каждый шаг отдавался в моей голове. А я шел, преодолевая страдание.

— А я-то как пострадал, — услышал я, и как эхо в лесу: пострадал-то я, пострада-а-а-аа... Твердый, глухой голос: я как наскочил на этот голос. — Вот, дорогой товарищ, гвоздь закостили мне в бедро, от гвоздя потерял тридцать процентов моего зрения. Никифор! Подведи меня к товарищу.

Опираясь на плечо Никифора, ко мне хромя подошел мужик с широкой грудью: глаза его под выгоревшими бровями были закрыты, точно он спал. А нос его! — меня поразил его нос, рябоватый, широкий, и скулы, и эти бесцветные губы — все крупное, твердое. А рука его! — она, разыскивая мою руку, как лопата упала мне на колени. Он сел напротив, выбросив вперед негнушающую ногу в кирзовом сапоге.

— Да, — сказал он, — а еще последние проценты моего зрения потерял через кулачество. Кулачество помогло мне ослепнуть. От бед своих пошел я в няньки к кулакам, и дети — старшей-то девочке годов десять, а маленькой поменьше, — бросили они мне в глаза мелкое вещество — порошок. И понимаешь ли, дорогой товарищ, мне как мукой глаза засыпало. Ничего не больно. Три раза шаркнули порошком ребятишки те — и мне законопатили глаза две язвы и темная вода.

— Это какая темная вода? — не понял я.

— А врачи признали в язве темную воду. Вот я и ослеп. Шел обратно, так вспомнил — документ забыл взять.

— Что за документ?

— А что кулачество ослепило. Может, мне через это прибавили бы пенсию. — И он повернулся и позвал: — Никифор! Плесни-ка ешшо чаю. Я с дорогим товарищем выпью.

Мы чокнулись. Он опять заговорил:

— Мы сейчас с тобой пьем, а кулачье не дремлет, глядит на нас. Это, что сидят тут, почитай, все бывшее кулачье. — Он возвысил голос: — Я их сам раскулачил. Вот, скажем, Никифор старый ужо, а ведь в нужные годы я у него со двора лошадь увел. Али Иван Руфыч, тебе что лодку торгует. Так я у него муку конфицковал. Теперь-то он старый, лодками занимается. Хорошие у него лодки. Ты, это, не сомневайся. Лучше нигде и не найдешь. — И он махнул в угол. И я различил в углу моего хозяина, как и раньше, в белой рубахе. Он молча сидел и смотрел на меня, и все они смотрели.

Голову мою опять затянуло сырým туманом, колкие ветки стукали по лицу, сапоги устало тонули в цепкой глине, и какая-то дрожь в сердце... Я хотел объяснить им: не в лодке дело. Вообще я хотел повидать их.

Как попали они сюда, далеко от людей поселившись, от дорог? Ведь мы из той же земли, и в огромном просторе леса, представляете, стоит на берегу человек, такой же, как я, такой же дурак, и зовет, зовет, надрываясь: «Лодку-у! Лодку-у!» Он ищет переправы на тот берег.

И вышел на берег старик в белой рубахе, с большой широкой бородой: «Эгей! Э-э-э-ай!» Старик низко поклонился, проговорил негромко:

— Мы заходящим людям рады. Ведь это редко, кто к нам заблудит. Угощайся, товарищ, попробуй-ка нашего Большого Зайца.

Я тыкаю в твердое мясо вилок, жую — и не могу вырвать завязшие в мясе зубы.

— А ты запей-ка! Запей, — просит старик.

— Будемте здоровы!

— Что? А? Крепок Большой Заяц? — И они добродушно смеются.

— Как это — Большой Заяц? — не понимаю я.

— Лосей они изничтожают, — гудит мой сосед и опускает каменный кулак на стол. — Только это дело законное. Лосей надо изничтожать. А самогонов они не гонюьт, только бражку. У нас кругом тут только бражку варят.

Я глупо улыбаюсь, прошу объявить перерыв, потому что я больше уже не могу.

— Ну, будемте здоровы! Во мне весу было определено более пяти пудов. Я охранял самого Николаху, — гудит слепой.

— Николаху? Какого Николаху? — спрашиваю я.

— А царя, — отвечает он. — Государя императора, семью его охранял на вокзале.

— Семью? — удивляюсь я. — Какую семью?

— Да на вокзале.

— Ах на вокзале?!

Да, конечно. Я знаю вокзал, я понимаю вокзал. С детства помню маленькую станцию-платформу и рельсы, убегающие в траву, и медный колокол рядом с дощатым крашеным рыжим заборчиком — бом! бом! — и запах из уборной, храбро распахнувшей дверь рядом с билетной кассой. И я вижу этот маленький паровозик, испуганный, похожий на Большого Зайца; прижав уши, он слушает удары колокола.

Да и этот запах уборной... ветерком потянуло, и перебило запахом луга и близкой реки. Я слышу, как лязгают сцепы вагонов... Я уже знаю, что уезжают четыре дочери Николахи — Ольга, Анастасия, Татьяна и Мария. И возле каждого входа в вагон стоят по два солдата из охраны. Ольга сошла на ступеньку, спросила: «Солдатик, правда, забастовка в Петрограде?!» И эти слова ее, сохранившиеся здесь, в Селении, испуг ее, как она тогда глядела на солдатику, пробегут тенью, скоро исчезнут, совсем исчезнут, — и я хочу встать, уйти, но голос слепого давит, не отпускает:

— И тут разводящий: «Эй, ребята, рота забастовала. Ладим в Петроград». Все поужинали, чисто оделись. Были три сорта шанели — парадная, воскресенская и работчая. Мы пошли в воскресенской. А тут бежит на-

встречу жандарм, мордастый такой: «Братцы, вы что надумали?! Давайте поговорим. Братцы! Все напухнете. Братцы, вас там напластуют!»

Ударил медный колокол. Заяц прижал уши и скакнул. Скакнул в сторону. Солдаты, стоявшие на путях, засвистели, дали три выстрела вслед — да где уж! — заяц метнулся в траву и поскакал к реке... Оттуда тянуло запахом луга, покоем, тишиной... Солдаты без команды строились — так им было привычнее — и все двести пятьдесят человек охраны зашагали по дороге к Петрограду. Потом уж, в поле, строй рассыпался, вытянулся цепкой.

— Из Царского Села как пчелы вылетели, дорогой товарищ. Я ведь сколько воевал, сколько крови пролил, а приехал на родину — так, веришь ли, убить хотели, кулачье, — слышь? Ужо как в Писании сказано: братии, не губите всякого содействующего, трудящего — пусть он будет у вас безопасен.

— Помню, это в субботу, — слепой улыбнулся, — хороший такой денек, пошел я к Глафире Васильевне — девок-то я любитель. Налетают на меня, поверишь ли, дорогой товарищ, молодчики — Лужинков и Воробей. Сколько народу побил этот Воробей — шут его знает! Руководитель Алексей Чичерин, вот он рядом с тобой сидит, безрукий-то, а ешшо Одинцов Михаил, Яков... А я-то был такой отчаянный. По два куля мешки ворошил — вот какой парнюшечка был. Они на лошадя, за мной. А у меня ноги шибко бегают — маханул к угору как буйный вихорь. Да тут четьре брата Алексея Гаврилыча Чичерина. Я на крыльцо к себе, топор схвативши: зарублю, говорю. Во! Алексей-то отступил.

В двадцать четвертом году Воробья убили. Алексей выпить любил — так он завинился. Секлетарем его сделали — и никто ничего об ём, ни бубу. Оставался еще Петр Евграфович. Организовали артель — двенадцать человек по полтора пуда ржи. У Алексея Гаврилыча брат — Николай — был в партии «Народной свободы». Он взял и все наши денюжки пропил — вот тебе и артель. Ну, давай выпьем, дорогой товарищ. Я теперь видишь какой, отошли мои политички дела.

— Ты не слушай его, товарищ, — дернул меня за рукав Алексей Чичерин. Он говорил все тем же глухим, срывающимся шепотом. — Я-то с войны пришел, — шептал он, — руки нету, а он тут пенсию добывал... Меня-то в кулаки определил, а сам мироедствовал со своей пензией, слышь.

— Ты, Леша, меня не трожь, мне-то еще больше государство пенсию даст, как я через вас пострадал глазами, за мою-то воду темную, за язвы мои — я еще с вами поквитаюсь, слышь?

— Погоди, Пашка, — шептал Алексей Гаврилыч и замахал здоровой рукой, — ты скажи товарищу, как церковну землю делил, как себе отхватывал.

— А семеро детей — ты как считаешь, слышь, дорогой товарищ... Я-то хорошо политикой работал, а ты, Алешка, мне глаза не застилай. Я ведь коммунией командовал! Нас поначалу ничего — восемнадцать хозяйств, тут головокружение пошло, приехал уполномоченный Кашутин. Тогда налог надо было платить. А я невзлюбил. Публика не за меня. Он кричит: «Ты срываешь поставки, подлец! Сулил центнер ржи, а где? Предатель, я тебя за Калугу отправлю. Клади, — говорит, — свой партбилет». А я говорю: «Нет у меня на мельнице партбилета. Ни на одну ниточку не замарался». Это он ко мне на мельницу приезжал, Кашутин. А потом приехал товарищ Дашунин, ешшо повыше будет. Тожо как зачал трясти, так мой брат написал в Москву. Потом Кашутина забрали, и Дашунина тожо, кажись, за Калугу... Ну, давай выпьем, под языком сохнет.

— Будемте здоровы! Во! Звонко пошло. — И он наклонился ко мне: — Ты с Москвы, так по радио, слышь, ранее давали мотивы, сестры Федоровы пели. — И он зашептал: — Точь-в-точь голоса дочерей Николахи —

Ольги, Анастасии, Татьяны и Марии. Я уж как услышал, думаю, разоблачительную бумагу послать бы надо.

— Чего ж не послал?

— Писать слепому тяжело. Я только по нашей деревне что могу тревогу дать, а ты бы, слышь, написал, грамотный ведь, в Селении, мол, проживает солдат охраны его императорского величества и может освидетельствовать дочерей Николахи, как сам выдавший их и слышавший теперь по радио.

И он запел:

...По утру-то да раннему
Глядела в окошечко-о-о...

— Да ты не сомневайся, я ведь не за пенсию. Хорошо поют сестры-то Федоровы. Как они добрались из этой Германии обратно в Москву? Когда по радио объявили и они запели: «День за день, как дождь дождится. А сяничка-то ма-а-лая», — у меня так слеза позабытая опять проснулась. Жене говорю: «Они! Уж тут я не попутая: они и есть... Николахины дочери. Изловить их надо. Весной птицы защелкают по оврагам в черемухе да по кустам, тут их ловить надо. Дак тогда и к месту представить».

И он опять надо мной, и его лицо повисло, и широкий нос этот рябой, и закрытые глаза; и по щекам, как из прорубленных окошек, слезы в две грядочки — из-под закрытых век.

— Дорогой товарищ, — гудит он. — Радость нам какая, что дошел! Не сомневайся, лодку-то Иван Руфыч хорошую тебе даст — лучше нас, селенских, нигде не найдешь, — положил мне на плечо железную свою руку...

Я боялся, что сейчас поднимусь и с улыбкой на устах произнесу: «Следуйте за мной, братия!» А если они не пойдут? Не захотят? Я опечалюсь. И я опечалился.

* * *

Я искал дороги к ним — и дорога эта зыбкая, — вот сапог-то... Сел на пень. И чуть не упал — потому что пень оказался засохшим, трухлявым, я качнулся и все же уперся босой ногой, успел уже снять сапог. Портянка мокрая и брючины мокрые выше колен, вылил воду из сапога и опять стал наворачивать мокрую портянку. Потом лег и незаметно заснул. Проснулся от неудобства — подбородок мой прижимался к груди. Я отодвинулся от пня, чтоб не дышать его трухлявой сыростью. Поправил рюкзак под головой. Мимо пня проходила муравьиная дорожка, она поднималась по близкой от моей правой руки березе. Я подвинул руку на дорожку — муравьи заволновались, потом поползли по руке...

Галя! Ты меня сейчас слышишь в своей светлой тишине? Чистоте твоей я пою песню простую... Ветка дерева надо мной. Сохранись в памяти, ветка... И засветится в твоей душе, милая...

И я заорал, запел:

А крепко-накрепко-о-о,
А любезные мои подруженьки-и-и!
А дорогие мои-и-и...

Женщина поправила на голове платок — ее вытянутое, темное, почти до черноты загорелое лицо, тонкое, с большим ртом, с накрашенными губами, и белая ее кофта, пушистая, стали приближаться, стремительно приближаться:

— Где вы побывали? В святых местах? Вы святой? Какая мягкая бородка. — И она дотронулась тонкой рукой до моего лица.

— Что вы — я просто так. Я шел...

И я стал ненужно длинно объяснять: у меня была жена, моя Галя, я ее люблю. И она меня ждет в своей светлой голубизне. Да, я страдал. Но оправдывает ли это мою жизнь? Еще подумал: настолько ли я страдал, чтобы об этом говорить?

Но мне захотелось рассказать о себе все. Главное — рассказать о своем сыне Андрее, художнике. Он умер в один год с моей женой.

Женщина в белой кофточке исчезла. Показалось, решил я.

Я поднял кепку. Она была в грязи. Вытер ее об рукав, отряхнул. Мне было трудно туда снова идти, туда, где я оставил свою болезнь. Я только подумал — а слева в животе у меня начали скрести граблями, и хотя грабли были деревянными, сильно повредить не могли, я тихонько застонал. Услышал голоса:

— Надо сказать Ваське, пускай ешшо подкосит.

— Пойдем, бабуля, поздно. Пойдем.

Я вышел из-за куста. Старуха с граблями повернулась ко мне.

— У цорт! — сказала старуха и хлопнула овода, что сел ей на руку. — А цего вам в Селении? — спросила. — Вы к кому там?

— К Иван Руфычу. Хочу лодку купить.

— А-а...

Старуха стала собираться, завязала хлеб в платок:

— Нюрка-а! Бери. Цаго расселась?

Девочка взяла бидон, выплеснула воду. Старуха тоже поднялась, поглядела на меня, хотела было взять грабли, да махнула рукой — оставила грабли и литовку, что висели на кусте.

— Пошли!

— Вы не в Селение идете? Я тогда с вами, а то... с дороги сбился.

— Цавой-то он говорит? Не пойму.

Девочка посмотрела на меня:

— Тут кругом нет другого жилья, — и торопливо, не оглядываясь пошла за старухой.

И я пошагал за ними, так чтоб не очень отставать.

— Митька-то, цорт, слыхала? — начала опять старуха. — Таку шуку словил, дак насилиу ее в лодку замял.

— А где это?

— На Куликове.

— Гляди, бабуля, дородно-то сено.

— Скажи Вальке да Федюне, цтоб приходили поране, ешшо один за-род поставим.

Мы шли покосом — и бидон у Нюрки гремел в руке...

И тут я опять услышал за собой шаги. Туман уже был нищенский. Его отдувало мокрым ветром. И я увидел человека. Почему-то меня сразу удивила его непрозрачность. А должен был поразиться не этому, а его виду. Длинная солдатская шинель расстегнута. Болтались красные перемычки, прозванные в Гражданскую войну «разговорами». Расстегнутая шинель открывала мундир не солдатский, а офицерский. На голове шлем с шишаком и темным пятном от сорванной звезды.

Я остановился. Но он и так быстро приближался. Лицо бледное, с желтым нездоровым налетом. Подошел вплотную. Протянул руку. Сказал:

— Николаев... — и долго хрипло кашлял.

Он, может, подумал, что я не расслышал, и повторил:

— Николаев моя фамилия.

Мы стояли близко и молчали.

— Ну что ж, — сказал Николаев, — пошли. Нам по пути.

Я смотрел на его мундир. Мне казалось, что там, в левой стороне его мундира, запекаясь черная кровь и несколько дырок от пуль.

— Нет, — услышал мои мысли Николаев, — мундир не мой. Я не ранен смертельно. Хотя возможность такая была. — И он растянул бесцветные губы в улыбке.

К вечеру Николаев прибыл в Южный город, который, как последний чемодан с пожитками, распирало от военных. Николаева мучили приступы удушья, особенно под утро; казалось, что сейчас, вот в эту минуту дыхание кончится; трясущимися пальцами он скручивал самокрутку, просыпая на пол табак, и торопливо затягивался. Боже мой, любовь, нежность и сам Николаев, и сама жизнь, и, может быть, жизнь души — все так призрачно. Корабли на рейде, и этот цветущий город, в минуты тлена, когда по набережной ходили французские моряки, кафе наполняли военные и женщины, да, там — открытые женские плечи и шеи, и там — густейший запах пота, а женщины обмахивались надушенными платочками, все это чужая переводная картинка — и я тру ее пальцем. Вдруг проступает золотая труба, вздымаю ее к небесной лазури, дую, и звук тут же возвращается ко мне.

— Николаев, — спросил я, — не кажется ли вам, что облака спустились ниже, или мы поднялись выше по тропке?

Николаев не ответил. На тропе я увидел омытый дождем череп лошади.

— К Дуське стирать пойдешь? — спрашивала старуха.

— Встану, дак завтра схожу, — ответила Нюрка. Потом они о чем-то зашептали. Я не мог разобрать.

Старуха вдруг остановилась, посмотрела на меня:

— Нюрка-то говорит, ты неруцкий, ай? Может, ей погадаешь? — И она повернулась к девочке-подростку: — Ну цаго головой вертишь?

Я подошел к Нюре и взял ее за левую руку.

И эта ее красная, уже твердая ладошка, натертая граблями, — и дороги, что пролегли по ней, перевитые, совсем юные, — и все к счастью, к счастью...

Дороги эти — и лики святых над ними с облупившихся икон, и погосты светлые, на припеках, среди этой ликующей, отданной ей молодой земли, такой открытой дождю и солнцу, — вот эти, вот они, пробойные колеи, как в камне, проложенные в поколениях...

Это линия нежданной радости.

Это линия полыни — горькой травы.

Сплетенные линии — и снова даль... безлюдье и тишина. И моя боль очистилась этой тишиной, и вот я снова иду туда, в Селение. Паучок-крестовик пополз по нитке, что спускалась с ветки ели. Верный знак, что распогодится.

Я заплетаю слова надежды для Нюрки.

— Цавой-то он говорит? Слышь...

— Я еще буду жить счастливой.

— Нюрка-о, дак ты скажи ему. Я-то яичек дам. Хорошие. В городе таких не найдешь.

Я поблагодарил старуху, пошел с ними рядом.

— Скажите, бабушка, а старинные песни у вас в Селении поют? Я бы списал.

— Цаго?

А за нее ответила Нюрка:

— Когда праздник, так старухи еще поют. А самых-то долгих не стали петь... Про песни, бабуль, спрашивают, про старины.

— О-о, милый! — закричала старуха. — Как не пели?! В поле, на страды, про руцких мальчиков-богатылей... Траву коси, головой тряси — вот и песня будет.

— А долгие помните ли, бабушка?

— Цаго? — И она засмеялась. — Где?.. Это преж в крузоцек ходили... Пели песни... И на свадьбе. Я выходила замуж... Семнадцать полотенцев раздарили... О-о-ох!.. — И она присела. — Цаво-то посизу.

Покосы уже прошли, и лес тут был совсем другой, и сосна, ель — все покрупнее, болотину миновали. Я знал, что где-то рядом Селение и опять ко мне вернется боль, и я рад был, что старуха села отдохнуть.

— Нюрка, скажи ему. Я попою. Пускай он послушат. — И она поправила платок.

— В середке поля-а-а, — слабо пропела старуха. — Стои-ит кусто-о-оцек... — И словами добавила: — Да я подумала, мой милый идет...

И уж дальше тоже говорила, а не пела:

Идет милый... начинает, сам песенки поео-о-от,
До деревеньки миленький доходит...

Запела опять:

Да в бабусецку-у-у ба-а-аско заигра-а-а-ал...

— Устали? — спросил я.

— Цаго?

Нюра засмеялась:

— Она и раньше-то, говорят, петь не умела, молодая не умела, а теперь уж совсем голоса нет.

— А кто у вас, Нюра, поет?

— Кто? Не знаю. Бусырев-то Иван Степаныч раньше пел. Иван Тимофеич...

— О-о! Цорта поет! — закричала старуха. — Иван-то Тимофиц старее меня как будет. — И она вскочила: — Пойдем-ка, цаго расселась. Нюрка-о! И мы опять пошагали...

Селение открылось сразу, с поля, я его уже отсюда видел, и дорога эта... Прошли дом, у второго были свалены бревна. Я искал глазами старуху, внука ее, Леню, посмотрел на дверь, на окна. И боль опять заскребла — я чуть не закричал. Нюрка заметила:

— Чего это с ним? Белый какой-то.

— Я посижу тут. — Скинул мешок, опустил на бревна.

Нюрка со старухой пошли дальше.

— Цаго? Цаго? Пьяный — вот цаго.

«Внимание! Он уже готов! Отойдите! — И голос еще настойчивее: — Отойдите от него! Отойдите от края...»

Я открыл глаза. От дома ко мне спешила моя знакомая старуха, тетя Фрося.

— А Леня где? — спросил я.

— Ленечка в дому. Идем.

Она протянула ко мне руки, обняла.

— Мама, — бормотал я. — Мама. Я ждал, что вы придете. Приласкаете меня. Я когда шел, все глядел. Думаю: они еще сидят на бревнах — это про вас с Леней. Думал: потом меня Никифор на телегу положит...

— А я тоже глядела тебя, — шептала старуха. — Тоже другой раз подойдешь к окну, поглядишь. Не идет ли москвиц-то? — И она улыбалась.

Я оглянулся: где Николаев? Не видно.

Что это? Это там, за полем, поднимается солнце...

...Издали деревня стоит как живая... Но это издали...

Открытые двери пропускают солнечный свет. Прежде в домах были стекла, а теперь нет, теперь только на краю, у колодца живет одна старуха

Овсянникова с сыном, инвалидом. Три года, как тетя Фрося, моя родная старуха, что я встретил около дома, померла... И когда я заглянул в ее пустой дом... Какая благодатная тишина!..

Это лучи торжественные!.. А внизу вырваны доски пола и нагажено в углу — кто забрел сюда, в эту глушь?! Старой соломы слежавшейся черный бугор в другом углу. Сломана печь. Разрушена труба, вдали светлеет река — сквозь окна.

— Эй, сюда! Сюда! Уцелевшие, идите сюда! — закричал я.

Я сидел с хозяином дома, со стариком с седой, по пояс, бородой, ипил желтую брагу.

Время от меня ушло. Я завалился головой на стол. Тетя Фрося помогла мне лечь. Я смотрел с кровати, как она с Ленией заводит ключиком золотую рыбку. И красный резиновый хвостик рыбки трепыхается в тазу, шлепает по воде.

Хозяин наклонился над тазом и попил воды, утерся рукой. Закашлял.

— Иди отсюда, — сказала тетя Фрося. — Спать ложись. И он пускай поспит, — показывала на меня. — Леня, а ты гляди-тко. — И она брала из рук внука пластмассовую рыбку. Опять вставляла ключик ей в спину. — Леня, не цапай! Вот я пушшу ее. Куда ключик-то тыкашь? Дай-ка, я сама. — Рыбка кружилась в тазу все медленнее, и старуха жалела рыбку: — Занемогла. Вишь, хвостиком-то худо мелет.

Под тихий плеск воды я заснул. Проснулся — раннее утро. И туман за окном. Тетя Фрося убрала таз, под столом валялась рыбка с ключом в спине.

Я поднялся, решил уходить. После выпитого голова гудела, меня лома-ло и трясло. Я понимал, что не смогу не только перегонять лодку, а дойти — не дойду до Ивана Руфыча.

И все-таки я встал, нащупал мешок под кроватью, навалил его на плечи — и пошел. В утреннем тумане мне было трудно угадать не только куда идти, а где поставить ногу. Но я решил, как наметил: зайду к Ивану Тимофеевичу, спешу песни...

Я шел по деревне, сапоги глубоко влипали в грязь. А я шел, пока не толкнулся на женщину с ведрами. Она охнула. И закричала как глухонемому:

— Иван-то Руфыч дальше живет. А ты-то по той руке иди-тко... По той руке, а уж дальше как повернешь...

— Мне бы к Иван Тимофеичу, что песни поет.

— А-а, это раньше-то! — кричала женщина. — А теперь навряд. Ты иди-тко. — И она замахала рукой, объясняя.

Потом поставила ведра, прислонила коромысло к колодцу и повела меня.

Я вошел в дом. Все-то теперь я помню — первое что: кровать. И такой бледный человек на кровати. Бледный, сухой, совсем сухой.

— Здравствуйте, Иван Тимофеич.

— Здорово, — проговорил больной. Я сразу понял, что больной.

— Заболели?

— Лежу.

— Хочу у вас песни списать.

Он закашлял, поднялся, сел на кровати. В комнате стоял тяжелый дух, было неприбрано.

— Я не ждал, что придешь, — сказал больной. — Спасибо, о нас, се-ленских, не забывают. Ты на нашем погосте-то был?

— Нет еще.

— Зайди. Хороший. На бугре. Песок. И промеж сосен могилки. Травка, землянику солнышком припекает. Ты землянику потребляешь?

Я кивнул. Он засмеялся, но смех его перехватил кашель. Я ждал, потом спросил:

— Рано, наверно, я к вам. Только светает. Я пойду.

— Нет. Возьми стул. Садись поближе.

Женщина принесла ведро с молоком. Вылила молоко в чугуны, что-то бормотнула в ответ на мое приветствие — и принялась возиться с печью.

— Маша, — сказал Иван Тимофеевич, — чаю нам принеси.

— Не могу я чаю.

И я попросил извинить меня. Я больше не могу. Потому что эта бражка хуже водки меня достала.

— Ничего. Ничего, — сказал Иван Тимофеевич, и голос его переливался — то падал вниз, то снова поднимался. — Это полезно. Расскажи, что там у вас делается, какая политика.

Я заметался душой — не знал, что сказать, и спросил:

— А что с вами, Иван Тимофеич?

— Гастрит получился.

И я удивился, как попало сюда это трудное медицинское слово, каким ветром его занесло. Я посмотрел на него. Поняв мой взгляд, он закивал, заулыбался.

— Мария, налей хоть молочка товарищу.

— Что вы, не беспокойтесь. Я ничего не могу ни пить, ни есть, — и вытащил блокнот.

— А-а, ну ладно. Значит, так, записывай. Отец убил моего сводного брата, затоптал в снег...

— Молчи! — прошептал я. — Куда ж класть мне горе? И еще, и еще — и валить на плечи — и еще, и еще... Я уже больше не в силах.

Из леса по снегу полз человек. Он плакал и полз. Выполз на дорогу — тут его подобрали. Тут его подобрали и понесли. Он пожил, заболел и умер. Сестра тоже на восемнадцатом году умерла.

Зачем же ему дано было? Зачем? О Господи! Зачем? Зачем он выполз на эту дорогу?

— Остался один еще брат — он меня постарше на два года. Я женатый. А он, хоть старше меня, неженатый. А отец — написал на него. И брата забрали, увезли, так и сгинул. Остался теперь я. Отец меня в лес позвал, как раз в великое говенье. Пойдем, говорит. Надо в лес. А я уж догадался. Это мой родной отец! И я убежал. И встретилась мне на дороге женщина. Она говорит: «Беги, твои струбы горят». Я прибежал. Струбы горят, так они тихо горят: кряж на кряж — так и сгорела изба. Как избу сжег, уехал отец на другую сторону — годов десять не было ни слуху ни духу...

И я ответил ему:

— Верю тебе, Иван Тимофеич. Верю, страдал ты. И удивляюсь, что страдания пришли к тебе через отца твоего.

И я хотел произнести слово. Я хотел встать и произнести слово. Но шум, не улегшийся в моей душе, мешал мне. И чудились мне голоса, гудки машин и опять голоса, и эти электрические провода, и тени от деревьев, что падали на каменные стены, уродливые тени.

В избу потихоньку стали входить мужики. Они входили не сразу вдруг, а так, будто забыли что и вот теперь вернулись.

— Здравствуйтесь, кого не видали, — степенно здоровались мужики, — и ко мне запросто: — Ну, чего? Лодку еще не глядел? А чего ее глядеть? — отвечали сами же. — Лодки у нас хороши. Лучше наших селенских нигде и не найдешь...

— Садись, Иван Руфыч.

— Мария, носи чаю.

Женщина со злобой хлопнула чайник на стол — и пошла.

— Эй, погоди-ка! — крикнул больной. — Поддай штаны, что ли? — А женщина не вернулась. — Вот как получается хорошо, — сказал Иван Тимофеевич и поднялся в кальсонах. — Брякнула чайник, а стаканы? Никифор, достань-ка стакан. Товарищу нальем с устатку.

Никифор нашел в буфете стаканы и поставил передо мной.

— Ну, будемте здоровы!

— Будемте здоровы!

— А слепой Попов где же? Нехорошо! Никифор, сходи позови слепого.

Никифор покивал — и был он все в той же ушанке с тесемками, сзади завязанными, — и рыжая борода его, и улыбка его добрая, мне будто давно-давно знакомая.

— Никифор, — остановил я его. — Давай с тобой выпьем.

— Может, тебе картовницу дать закусить? — спросил больной. — У нас картовница хорошая.

— Нет, — покачал я головой. — Ничего не надо. Не могу есть.

Иван Тимофеевич горестно закивал и, обращаясь к безрукому Алексею Чичерину, сказал:

— Он мою жизнь описал. Вследствие, как моя жизнь давно кончилась.

— Налей-ка и мне чаю, — зашептал Алексей. — Я уже пострадал. У меня все, чисто все забрали — чашки, ложки, все — до звания.

— Погоди-ка, Алексей, — оборвал Иван Тимофеевич. — Дай товарищу я доскажу. Отец-то опять, как приехал, стал со мной жить. Это отец, родной. Пустил его в зимнюю, а сам жил в летней. Там тоже печь была. Пожили, да и начал опять так же: «Я новые двери просеку». А я говорю: «Нет, не смеешь, нет тут бревна твоего».

А ночью к нему зашел, слышу, он за заборкой моей неродной матке жалуется, говорит, чтоб она в Айгу съездила: мол, Ванька ночью, луна светила, над ним с топором скакал. Как я вбег: «Что?! — кричу. — Это я с топором?! Я сроду над чужим не скакал, а не то что над родным отцом...»

— А зачем же лунной ночью? — спросил я.

— Как зачем? — прошептал Иван Тимофеевич. — Свет на топоре играет.

— Умер отец?

— Умер. Перед смертью простил. Прихожу. А он уже худой. Говорю отцу: «Пожили мы с тобой всяко, прости». А он: «Оставайся. Живи с Богом. Я виноват». Расстались хорошо, как следно быть. — И он поднял на меня глаза.

Я смотрел на него, на мужиков. Тишина утра, благословенная тишина. И туман этот серенький все лепился к окошкам. И мысли мои начали сбиваться. Я прозрел. Я увидел огни и с замиранием сердца — белый свет, вспышку! — огонь ракеты. Снова вспышка. И крик... Мокрая ладонь... И духота... Не могу дышать... Первым намеком на неприятности были слова, сказанные почти небрежно: «Пожар... Небольшой пожар», — сказал один из космонавтов, кто это был, не удалось установить. Прошли две секунды. «Пожар в кабине!» — крикнул подполковник Уайт. На этот раз голос был резким и настойчивым. Последовало трехсекундное молчание, затем вопль неизвестного космонавта: «Сильный пожар на космическом корабле!» Прошло еще семь секунд, раздались звуки лихорадочных движений и крики... Через четыре секунды командор Раффи дал последний сигнал бедствия: «Мы горим — вытащите нас отсюда! Эй, вытащите нас!.. Вытащите отсюда-а! Люди!..»

Иван Тимофеевич лег на кровать.

— Мария, — попросил Иван Тимофеевич слабым голосом, — дай нам еще чаю.

— Глаза-то налили, дьяволы. Антихристы проклятые.

— Какая у тебя, Тимофеич, баба нехорошая, все ругатся, — сказал Алексей.

— Не надо чая! Не надо больше чая! — закричал я. — Давайте так посидим. Иван Тимофеич, вот вы, говорят... — И голос мой окреп, и я сказал: — Подымись и спой. Душа песни просит, Иван Тимофеич!

И он послушно откинул одеяло, спустил ноги. И сухое его лицо потянулось ко мне. И я понял, что он хотел улыбнуться. И он пробормотал:

— Ведь у нас, вишь, простые песни. — И слабым голосом пропел:

Ой да мимо леса, ой да мимо темного...

— Да что вы делаете?! — закричала Мария. Она бросилась между мной и Иваном Тимофеевичём. — Не видишь, что ли, человек умер? Давно, как Господь призвал его. А ты его песни заставляешь петь. — И она повернулась к мужикам: — А вы-то что?! Глаза ли ваши не видютца? Гляньте в рожу его — ведь он Антихрист. — И она ткнула пальцем в меня. — Гоните! Гоните злодейную эту нехристь! Уйди! Изыди! Нече над нами надрыгаться...

И сказал кто-то из мужиков:

— Ну-у, чего ты, Мария? Пушай Антихрист. Чего он нам-то теперь может поделать, и человек, видать, согласный, хлипкий. Ты, Мария, неси-ка нам еще чаю.

И как огненный меч, он повис над землей. И висел какие-то секунды... И люди в ужасе, с искаженными лицами царапали ногтями закрытый люк и стучали, стучали в него, чтобы выбраться из кабины проклятого «Аполлона». Потом техники найдут на люке отпечатки и кожу с пальцев, прикипевшую к металлу.

А вечером 25 июня 1967 года на пяти континентах должна была транслироваться первая всемирная телевизионная передача. Но тогда уже началась война на Ближнем Востоке.

Этот Южный город оглох от крика, шатался, как больной зуб. Густо гудели пароходы, набережная пылала безумием, люди кричали и не слышали своего крика. Последний пароход отвалил от пирса, и толпа становилась все прозрачнее, мертвее... Оживали истоптанные, брошенные вещи (пропуск на пароход давался без багажа). На маслянистой воде мирно покачивались чайки. В дальних частях города постреливали.

Ярко проступает двадцатидвухлетний поручик Николаев. Он поспешно положил ключ от ворот тюрьмы себе в карман. Тут вот как дело обстояло, тут надо объяснить...

И еще раньше следователь (он же истязатель Николаева) на это обращает внимание: «Значит, вы не отрицаете, что все ключи от тюрьмы были у вас?» Фамилия следователя была Кровец, подходящая, не правда ли?

— Лицо запоминающееся, — сказал Николаев. — Уж мне-то понятно. — Николаев вздохнул, все в его лице как бы сблизилось, собралось вместе: брови, нос, губы. Брови, волосы светлые, а губы...

— Губошлеп? — спросил я.

— Ну, можно и так сказать.

— Зима начала девятнадцатого года была необыкновенно снежной. Впервые видел такой снегопад. Лошади тонули в балках. Поверьте, когда мы входили в деревню, двери и окна были засыпаны снегом... Трудно вам поверить, да?

— Почему же? Можно.

— Я ведь воевал на стороне красных против белых банд генерала Краснова. Со мной воевал тоже бывший поручик царской армии Седол, самый близкий мой друг-товарищ, командир первого батальона. Он погиб... Да, такие тогда сугробы... Не так было морозно на Крещение, а вот снегопад — ужасный, сыпет и сыпет...

— Я вам верю.

— А весной... Если точно — у меня хорошая память, — 21 мая 1919 года врачебной комиссией при Сводном эвакогоспитале № 229 я был признан «вовсе не годным к несению военной службы». Теперь вам понятно?

— Что именно?

— Как я оказался в Южном городе...

— Не совсем.

— Ну, поехал лечиться. У меня приступы астмы, удушье... И очаги в легких, очевидно, начался туберкулез. Люди ведь болеют... Болеют. — И я стал понимать, к кому он уже обращается, кого молит.

— Ах ты белогвардейская гнида! — закричал истязатель и тут же успокоился. Перешел на «вы»: — Так вы полагаете, что я вас сразу расстреляю? — Выдержал паузу. — Вы, по-моему, говорили, что видели генерала Слащева?

— Да, мельком. Штаб находился тогда в Джанкое. Он выходил из штаба. Помню, он был в белом кавказском бешмете, тоже белой кавказской папахе, под которой, очевидно, кокаином одурманенные глаза резко выделялись на белом напудренном лице. Его вид поразил меня: на лице прочитал — смерть.

— Вы направлялись к нему? Вошли в штаб?

— Нет, я не решился. А хотел. Я очень хотел как-то устроить свою жизнь. Понимаете, я был болен, какая-то мне необходима работа... Лечиться, понимаете. — И с доверительной улыбкой: — В тот год манна небесная не падала. Я, понимаете...

— Что вы все: понимаете, понимаете... Вы зашли в штаб белых, решились?

— Так точно. Обратился к начальнику штаба полковнику Эберту. Неудачно. Он был пьян, меня не слушал, закричал: «Вы офицер, марш в офицерскую роту!..» На мое счастье, я случайно связался с польским обществом, братством — в то время существовало такое. Они-то и предложили мне работать в тюрьме на очень скромной должности. Но как ни странно — это меня, понимаете, устраивало. Я был зачислен сверхштатным помощником и получал оклад младшего надзирателя в размере двадцати восьми рублей.

— Так вы, Николаев, поляк? — спросил следователь.

— Никак нет. Православный, а с поляками-католиками связан с детства по Белостоку.

— Тогда вам будет интересно встретиться с земляком. Случайно узнал, что из Белостока здесь местный аптекарь Бронштейн. Хотите его увидеть?

— Если необходимо. Он не может не знать двух белостокских богачеев братьев Трилинги и еще фабриканта шляп Новикова. С их сыновьями я учился в Белостокском реальном училище. Вы мне еще не верите?

— Николаев, вы же знаете, что будете казнены. А вот как — это уж, простите великодушно, моя забота.

Дорога из туманных воспоминаний Николаева то поднималась на острие меловых гор дознания, то стремительно убегала вниз, а для меня это были лишь маленькие скалистые островки, — там я отдыхал перед настоящей дорогой... Я искал твой взгляд...

Галя! Галя! — лаяли чайки на островах.

Мой путь к тебе еще был без единого луча света. В той прежней жизни страх сжимал мое сердце и еще боль. И теперь я чувствую боль, словно нарастающий шум. Да, так вот, тогда, перед входом в иной мир, я увидел множество лиц. Из их ртов вырывались слова на разных языках. Я их понимал. Но самое удивительное — они говорили о чем-то очень незначительном, не относящемся ко мне, к моей тайне перехода, к моей дороге к тебе.

В тумане позднего вечера я увидел желтый свет. И задохнулся от радости узнавания. Прямо на лесной земле сидел юноша, за ним оконная рама и открытая форточка. Картина моего сына Андрея!

На суку ели висела горящая керосиновая лампочка. К свету лампы тела сова. Тонкое дыхание папоротника опутало раму со стеклом.

Это был ковчег нашего дома, всегда открытого деревьям и небу над лесом. И в подтверждение, что это не просто видение, Галя отделилась от сосны и быстро зашагала среди деревьев. И я вспомнил ее стихи:

Пусть отныне в лесу,
Как донныне в лесу.
Шорох крыльев в корзине несусь.

Я вспомнил, как она повторяла: «Мои пальцы когда-нибудь дрогнут и проклянутся листьями».

* * *

Я опять — в Селении. Раннее утро.

— Ладно, спасибо, Иван Руфыч. — И мы вместе потащили лодку к берегу. Она оказалась белой, несмоленной.

— А чего, Иван Руфыч, здесь жестянкой заделано?

— Это сучок был, — торопливо сказал Никифор. — Ничего. Хорошая лодка.

— Сейчас весло принесу, — сказал Алексей Чичерин. — Таких долбленок не найдешь.

Ветер качал деревья. Мужики сидели на угоре, рядом с рекой. Я прошел мимо и не знал, зачем поплелся за Алексеем.

— Идем! Идем! — обрадовался Алексей. — На дорогу хорошо. Надо. А то ветрено.

Мы зашли в дом.

— Старуха у меня болеет, — говорил торопливо Алексей своим срывающимся шепотом. — Сейчас стакан найдем.

Он — все торопливо — открыл буфет, поставил на стол два стакана, налил из чайника совсем мне показавшуюся мутной бражку.

— Ну, будемте здоровы! — И он сразу успокоился и зашептал: — Понимаешь, товарищ, жизнь-то путает. — И достал из кармана письмо, помятое, загодя приготовленное для меня. — Вот насчет пенсии похлопочи, не оставь. А то брату-то определили моему, тоже фамилия Чичерин, зовут Василий. Я-то брата половина мертвого привез, а он отжился. И пенсия ему. Так мы с братом потом уже не говорили до смерти. Раз он, покойник, идет мимо окошек. Хотел его сгаркнуть. Да думаю — наплюну, не стану. И он так ушел, а через два года утонул, переезжал за реку. — И Алексей быстро перекрестился. Поглядел на меня: — А может, тебе нехорошо, что я крещусь? Да это так, глупость.

— Почему же мне нехорошо? Письмо кому отдать?

— Ну уж ты сам сообрази — ведь нехорошо. И с братом совсем не простились. Ты уж похлопочи.

— Ты что, думаешь, я письмо на небо отправлю?

— Зачем? Как хочешь, вам виднее. Ну, давай выпьем.

Мы еще выпили и поднялись.

Раздался старушечий голос с печи:

— Лексей, слышь, скажи, чтоб он меня взял.

— Куда-то тебя взял?

— Куда? В больницу отвез, в Кокшеньгу. В больницу-то.

— Еще чего?

— Лексей, Христом Богом молю. Ноги-то не ходят.

Алексей потянул меня за руку:

— Пойдем. Нече тут.

И уж когда выходили, я услышал, как она крикнула:

— Ведь не месяц какой, а пятый год прошу... Лексей!

Алексей дал мне весло, и мы пошли к угору, где сидели мужики.

Я поклонился им:

— До свидания!

Они закивали. Никифор полез в воду, чтоб толкнуть лодку.

Я посмотрел в его чистые глаза и не мог сказать. А знал. Я знал. Ветер сюда придет. И будут избы слепыми окнами глядеть в небо.

Я стоял в лодке и глядел на них. Они тоже на меня глядели. Мы молчали. За поворотом, как скрылась деревня, я сел на досточку в корме, что положил Никифор, и начал грестись одним веслом. Под ногами тихо перекатывались черпачок и бутылъ с бражкой. Ее сунул мне Алексей Чичерин. «Ничего, в дороге-то хорошо, — бормотал он своим странным шепотом. — В дороге-то надо».

Течение неслабое. Река не так чтобы глубокая. Весло часто ударялось о камни. Я знаю: за пределами сил должно было мне здесь открыться иное, единственное, именно единственное...

— Я уже понял, — перебил мои мысли Николаев, — такое я испытал. Память хранит. Тогда, еще ребенком, в 1905 году... Мой товарищ и его мама взяли меня с собой. В Белостоке мы сели в поезд. Наши вагоны были разукрашены зеленью. Мы ехали в город Ченстохов. Со всей Польши направлялись процессии, чтоб Ченстоховской Божией Матери излить свои недуги. Представляете, будучи ребенком, я наблюдал потоки людей, тут же и кони, брички, и на костылях убогие, а которые не могли идти, их несли на руках, и шли, и шли... к Ченстоховскому монастырю... Потом помню, как мы стояли перед занавешенной иконой совершенно безмолвно... Когда занавес опустили, раздались громовые раскаты на хорах... И слились с криком всего многолюдства, молящиеся падали на колени. И мы молили Божию Матерь, радуясь в едином биении сердца. И во мне, мальчике, ощутился такой подъем духа, что я увидел близко летящего ангела... это такой подъем духа, понимаете?

— Да, понимаю, — кивнул я.

А за угором поднималось солнце. Лучи его свободно проходили — и все, в желтом свете — все... Ты, Который все знаешь... — погляди на свою землю в желтом свете!.. И лес, и берега эти, такие медленные, тихие, степенные, — в желтом свете; и маленькие бухточки, из воды торчащие березы и затонувшие, прибитые течением к берегу; и мои пальцы — желтые, желтые пальцы, и голова откинута... Желтая лодка...

Он плывет на лодке. В желтом свете виден со всех сторон.

Опять отпустило. А-а, легче чуть. И я посмотрел на солнце, оно среди желтых туч, одинокое... Почувствовал, что могу бодрее грести, — и желтая волна медленно, удивительно медленно уходила... Несколько раз я падал в лодку головой вниз, а она, долбленка широкая, держалась, даже почти не вертелась. Спасибо тебе, Иван Руфыч, — лодка твоя хороша. Потом я достал бутылъ с самогоном — ну, будемте здоровы!

И я снова, с трудом сохраняя равновесие, вползал на досточку и греб. И когда лодка тихо стучалась в берег или скрипела по песку, я брал со дна жердь — спасибо, кто-то из селенских положил! — и пихался, и опять плыл вниз, течение неторопливо помогало мне, и только стук моего весла, когда я рулил, чтоб держаться посередине, нарушал тишину. И, очнувшись, очутившись где-то опять под берегом, я снова толкался и плыл...

Потом я устал сидеть. Встал — и лодка закачалась подо мной. Я хотел сказать слова, но они липли к языку. Тогда я замычал коровой, заблудившейся в лесу. Я сбросил с лица мокрый березовый лист, прилетевший с берега, — и он упал на воду.

Тихо-то как, Боже мой!

— Эй, Николаев, где вы? — Я знал, что он меня не покинет.

— Тринадцать раз меня вызывали на расстрел из подвала. Выкрикивали, — сказал Николаев.

— Да, но вы же были тюремщиком? — Я не удивился, что Николаев опять рядом. Рассказ его не был закончен.

Он кивнул, приблизил ко мне лицо:

— Кажется, сложно объяснить. Вы сказали — тюремщик... Да, я хотел помочь заключенным. И мне нужны были работа, пропитание. Я двадцать во семь рублей получал. Очень ведь мало. Но надо как-то жить. В тюрьме тогда находились сотни политических заключенных... И я старался облегчить им участь, где мог, конечно. Начальником тюрьмы был полковник Омельченко, помощник начальника Ковальский и корнет Базилевич... С ними я пытался доверительно говорить — ведь приближались части Красной Армии, положение у белых критическое... Нет, тут мои намеки, разговоры не имели успеха. Но я уже связался с представителем большевиков товарищем Матвеевой. Вместе разработали план, как открыть ворота тюрьмы, выпустить заключенных, но чтоб никто не пострадал. Утром прихожу в караульное помещение. Встречаю полковника Омельченко. Приветствую его. Он собирается уходить. И мне торопливо сообщает, что получил пропуск на пароход для себя и семьи. А также, уже на ходу: охрану тюрьмы берут на себя казачьи части. Вот-вот должны подойти. Я спрашиваю: чем это вызвано?

«Вы что, не понимаете? Будут карательные меры... Советую и вам, поручик, о себе позаботиться, красные приближаются».

Я кивнул. А у самого кровь в жилах остановилась. Положение такое, как петля затянулась — кровавая расправа над политическими может случиться в течение дня или нескольких часов. Прежний мой план уже не годился: связываться с товарищем Матвеевой не представлялось возможным.

В этой обстановке я принимаю самостоятельное решение. Бегу в штаб белых. Там, как говорится, полный раскардаш — безумие. Никто не хочет со мной разговаривать. Но я все-таки добиваюсь встречи с генералом Баром. Настаиваю, требую, чтоб меня назначили начальником тюрьмы, поскольку Омельченко уже на пароходе. И получаю такую бумагу. На обратном пути подвернулся экипаж, и на нем — в тюрьму.

Еще не понимаю, что я буду делать, а между тем уже нельзя медлить. Захожу в камеры: «Товарищи! Сейчас откроем ворота. Сначала двигайтесь вместе, потом разбегайтесь». Они ошарашены: «Будете стрелять?»

«Вы все знаете, как я к вам относился, поверьте мне. Нет времени объяснять. Сюда подходят казачьи части. Тогда гибель. А сейчас, товарищи, свобода близка...» Иду дальше. Все как во сне... Потом к охране. Показываю бумагу, подписанную генералом Баром, некоторым угрожаю пистолетом. Но больше, может быть, действует мое сомнамбулическое состояние. Открыты камеры, ворота... Люди опасаются, сначала выходят медленно. Понимаете, я этого не могу забыть, будто сейчас все перед глазами. Потом товарищ Матвеева помогла мне скрыться. Жил на квартире у дрогала, ломового извозчика, Василия Петровича Самченко. Когда в городе установилась советская власть, у меня нашлось очень хорошее занятие. Товарищ Матвеева стала хозяйном города, как теперь именуют, — меня же сделала своим помощником по социальным вопросам. Очень быстро создали Отдел брошенных имуществ — насущная необходимость тех дней, понимаете? Надо же было все собрать — двери домов открыты: забирай что хочешь; вещи валялись даже на улице: шторы, гардины, шелковое и полотняное мужское и женское белье, сукна в тюках, пальто, шубы... Мы с Василием Петровичем собирали, отвозили — определили под склад два пустых дома. У меня на все опись. А жить продолжал у Самченко. Жена Василия Петровича, Лиза, молодая еще, розовощекая, с черными бровями, глаза — сливы, украинка, высказала интересную мысль: отдать часть вещей в дом призрения для стариков. Вспомнить о стариках! Дивно, понимаете? Сердечко ее светлое меня окрылило. И я развил ее мысль:

«Мы сделаем, Лизонька, еще и так: соберем стариков, которые в городе брошены, и тех, из дома призрения, — всех переселим во дворец».

Товарищ Матвеева дала согласие. На горизонте, над головами стариков, возшла сияющая звезда — во всем блеске, понимаете?

Лиза, и ее подруга Шура Васильева, и пожилая Екатерина Иванова взялись мыть, готовить комнаты во дворце... Мы свозили туда кровати... И вот наступил торжественный момент, я привожу первых стариков. Идем по белой мраморной лестнице, Лиза распахивает высокую дверь комнаты. По стенам ценнейшие гобелены. Старики идут как в тумане... наших шагов не слышно. Женщины расстелили ковры... Испуганные роскошью, старики взялись за руки, я слышу шорох их сердец. Я вижу на глазах Лизы слезы. Сам едва могу сдержаться...

Правда, спустя уже несколько дней мои действия характеризовались как самоуправство, когда «под маской наигранной сентиментальности я пытался спрятать свое белогвардейское нутро». Помещение, нужное для всех трудящихся, было приказано очистить. Стариков оттуда увезли, но этого я уже не мог видеть. В город прибыла тройка по борьбе с контрреволюцией. За мной приехали сразу два экипажа. В первый сел руководитель тройки Шерстнев-Гурейко, а во второй — я. Там мне пришлось смотреть на сидящих напротив двух матросов с направленным на меня оружием.

— Повезли по Набережной в нижний дворец эмира Бухарского, посадили в подвал, набитый людьми. Как видите, — усмехнулся Николаев, — я опять попал во дворец...

Был уже вечер, когда я приплыл к мосту. На правом, высоком, берегу виднелись избы. Я подогнал лодку к этому берегу. Шатаясь, вылез и оттащил ее подальше от реки. Миша Силинский должен был меня ждать со своим «КамаЗом».

— Миша! Михаил! — закричал я. Прислушался. Никто не ответил.

Только тут я снова почувствовал, как мне плохо. Меня мутило, и кружилась голова.

— Почему же Мишка не идет ко мне? — бормотал я. — Он должен бы меня заметить еще на реке.

Я сполз на землю, потом поднялся, цепляясь за куст. Сейчас стошнит... Хотя чего? Я мог свободно блевать — какие тут паркетные? Ничего нет. И меня вывернуло, но не сильно. Полегчало.

Я выбрался на берег, туда, где стояла крайняя изба, окнами к реке...

— Эй, кто тут есть? Хозяин!

Я хотел заглянуть в окно — здесь избы были не такие высокие, как в Селении. Да подумал: ладно, зайду спрошу пообстоятельнее про Мишку Силинского, может, знают, приходила ли машина из Озерок. И с этой мыслью, совсем добитый усталостью — шестьдесят километров, а то и больше прошел по реке, перед глазами рябила вода, — я дернул за скобу.

И когда открыл — остановился: на столе стоял гроб. И горела большая свеча. Сколько-то старух в черном и еще ребятишки сидели по лавкам вдоль стен. А около гроба на табуретке девочка лет четырнадцати склонилась над книгой, громко читала. Я вошел. Никто не повернулся ко мне. В гробу лежал мужчина.

— «Умер нищий, и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово, — читала девочка. — Умер и богач, и похоронили его...»

Я понял, что читала она Евангелие, про нищего Лазаря. Произносила все четко, старательно, напирая голосом на «о». А дальше — про богача:

— «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама, и Лазаря на лоне его...»

Я вспомнил другую евангельскую притчу — о воскрешении Лазаря, брата Марии и Марфы из Вифании... Все решает вера. Сын Человеческий

оставил нам ее как надежду. Так если мне сейчас поверить, то есть до предела поверить и протянуть руки к тому, что лежит во гробе, и сказать: «Нет смерти. Встань»... Я наклонился над гробом... И увидел свое лицо. Смерть, казалось, не коснулась его. Я стоял в стороне, смотрел на себя. И не было во мне ни удивления, ни страха. Слишком далек был мой путь. Но я не хотел оставаться тут, с тем, кто лежал во гробе. Я вышел.

У другой избы березовая палка подпирала дверь. Никого в доме.

И в следующем — никого.

А что же мне делать с лодкой?

Качаясь, я шел вдоль пустых изб и прислушивался. И сапоги мои вязли в грязи; рубаха, брюки — все без единой сухой нитки. Меня трясло.

У края деревни я повстречал женщину. Она затворяла дверь, и я окликнул ее.

— Чего? Какая машина?! — закричала женщина. — Дорога закрыта.

— Как закрыта? Тут машина из Озерок должна приехать. За мной.

— А грязь? Какая машина?!

— Я приплыл на лодке. Издалека приплыл. Посмотрите на меня, милая женщина, посмотрите.

Но она смотрела куда-то в сторону, и чувствовалось, что торопилась.

Я сам не отрываясь глядел в ее лицо: волосы, выбившиеся из-под серого платка, усталые щеки, глаза с отгоревшей зарею, тонкие губы, — лет ей немного за сорок, одета в еще новое зеленое пальто.

— Кто это, в гробу? — спросил я.

— О, да это Ефим Крюков. Великой силищи был мужик. Поднял камень. Хотел положить под край новой избы. А камень его осилил. — И она перекрестилась.

— А вы не ошиблись?

— Я-то? — Она по-прежнему не смотрела на меня. — Некогда мне. Все наши побегли в Маркуши. Самодеятельность приехала в Маркуши-те. Дают концерты, а я позадержалась. Народ весь подался на гулянья.

Она хотела уйти, но я снова задержал:

— А что мне делать с лодкой?

— Пять машин за цементом в Нюксеницы побежали, дак, поди, надо им возвращаться. Они в Тарногу едут.

Она сорвалась с места. Потом остановилась, крикнула:

— Дождись, может, возьмут.

Женщину стерло белесым небом.

Ничего, подумал, как-нибудь... И повторил:

— Как-нибудь. — И поплелся к дороге, ближе к мосту.

Тяжело идти. Будто недавно уполз отсюда ледник. На какую-то минуту я даже представил, как этот ледяной панцирь, покрывавший землю миллионы лет, отползал. Выбрасывал огромные валуны. Ледник их успел обсосать и выплюнул вместе с коричневой грязью.

Дорога была в густой глине. Две колеи обозначились в ней, пробитые так глубоко, что можно стать на колею ребенку шести-семи лет — и грязь скроет его, разве что только макушку видно будет.

А машина? — спросил я себя. Не видно ли машины моего друга, шофера Мишки Силинского, прозванного Соснова Голова? Не идет ли за мной машина?

— Какой?! Только прошли пять за цементом в Нюксеницы, — прокричал я себе как глухому.

Да я и был глухой от усталости, ноги едва держали меня. Я забыл о Николаеве, не до него мне сейчас.

Я поглядел с моста на реку. Там под берегом лежала моя лодка, белая и живая. И я вспомнил Иваца Руфыча и Селение. Сил не было. Я плыл и плыл — думал, скоро конец пути; и вот — грязь, и опять по грязи, по грязи, да еще лодка... Куда ж я с лодкой денусь?

По колее между грязей из деревни шла женщина в зеленом пальто, то-ропилась, спешила в клуб на гулянье.

Я не решился сесть — и как лошадь стоял, почти засыпая. И когда за-крывал глаза, видел рябь на воде — вроде еще плыл.

Холодный ветер. Я весь продрог. Услышал с угора, с той стороны, от леса, шум машин. Подался к середине моста. Замахал рукой. Медленно шли машины — они как бы соскальзывали по грязи.

Первая машина гуднула. Я отступил. Замахал рукой, закричал:

— Стойте! Стойте!

И вторая, за ней третья машины прошли мимо. Я остался у перил. Мост еще вздрагивал, а машин уже не было видно.

От леса двигались две отставшие. Я встал посреди колеи.

— Врешь, остановишь! — закричал я. Злоба заволокла мою душу. Меня стошнило. Машины двигались ужасно медленно.

Первая, слепя меня фарами, остановилась.

— Сволочи! — кричал я шоферу, который вылез из машины и глядел на меня. Я заметил, что он был сильно пьян. — Сволочи! Не хотите брать. Ведь я от Селения перегонял лодку, слышите, гады?

Господи, сделай так, чтобы они взяли мою лодку. И опять вспомнил Николаева.

— Доктор Холин, — повысил голос следователь.

Из-за сиреневой занавеси, закрывавшей часть комнаты, вышел бывший политзаключенный, известный в городе доктор.

— Скажите, доктор Холин, подсудимый помогал политическим заклю-ченным?

— Да. Ничего дурного мы от него не видели.

— Вы подтверждаете, что он способствовал освобождению заключенных? Были открыты двери камер, ворота тюрьмы?

— Подтверждаю.

— Спасибо, идите...

Когда Холин ушел, допрос продолжался.

— Я знал мнение доктора Холина. И вот для объективности вызвал его. Но теперь, когда вы понимаете, что я с вами предельно честен, ответьте: где ваш тайник? — Следователь говорил серым, тусклым голосом. — Почему вы молчите, Николаев? Вам придется отвечать, поручик Николаев.

— Какой тайник?

— Ведь из тюрьмы бежали не только политзаключенные? Какую взятку вам дали уголовники?

— Хорошо. Я вам отвечу так: я никогда не брал взяток и никому не про-давал свою совесть.

— Тогда объясните, почему вы открыли двери тюрьмы? Как это вам уда-лось?

— Я уже рассказывал. В основном в тюрьме держали политических, жизнь которых была в опасности. И это я вам говорил.

— Благородно. Но вас волнует не только жизнь людей, но и судьба вещей. Будучи помощником Матвеевой, вы возглавили Отдел брошенных имуществ. Где же золото, бриллианты, дорогие украшения? Кстати, Матвеевой по не-которым обстоятельствам уже нет в городе, и она теперь не сможет вас взять под защиту. На что вы рассчитываете, Николаев?

— На разум.

— Прекрасно. Так где ваш тайник?

Помню, не выдержал, рванул рубашку, застучал себя по груди:

— Вот... здесь. Можете взять, только скорее.

Я начинал задыхаться. Я не мог говорить. Он дал мне стакан воды, вода расплескивалась по полу... Руки дрожали... Я тонул в желтом песке. Это ви-

дение, что меня засыпает песком, мучило меня на допросах. Мне казалось, что я должен куда-то бежать, а песок бушевал — закрывал мне рот, глаза, нестерпимо жег... И я поворачивался на спину. Надо мной летали огромные черные птицы — я понимал: они ждут, что я перестану шевелиться... И когда сознание возвращалось ко мне... я видел, что он подставлял мне лампу к самому лицу, стекло от керосиновой лампы обжигало...

Из подвала меня вызывали так:

— Помощник Матвеевой, с вещами наверх.

Не по фамилии. А именно так. С вещами — значит, расстрел. Ставили к стенке в саду, где пышно росли виноградные лозы... Я оказывался то третьим, то пятым... Стреляли над моей головой. Потом уж я перестал понимать, молил Бога, чтоб не упасть на колени. В подвале не спал. Ужасно хотелось курить... Когда гремел замок на двери, я ждал выкрика: «Помощник Матвеевой, наверх... С вещами».

Это становилось моей жизнью. В подвале перестало для нас существовать время, а возникало, лишь когда открывалась дверь... и конвойные выводили в сад.

— Чего ты орешь, чума? Давай лодку де? — И шофер запел: — Эх, в тальянку сы-ы-ы-грал Проня...

Мы спустились к реке. И вместе потащили лодку: я, этот шофер Вася и приятель его с другой машины, худой, лицо его плохо разглядел — оба пьяные вдребодан. Лодка качалась.

В доме над рекой заголосили. Надрывный, тягучий этот крик пронесся над рекой:

— Ой-ей-ей!

— Чего это они? — спросил Вася.

— Тот человек, — сказал я, — умер.

— Помер? — переспросил Вася и опять затынул: — Э-эх, в тальянку сыграл Проня!

Мы положили лодку на мешки с цементом в первую машину. Шоферы закрепили ее канатами. Я сунул рюкзак в кабину Васи, сел рядом с ним.

— А чего вы не вместе, не одной колонной едете? — спросил я. — Товарищи твои не хотели меня взять.

— Ты, поди, на мосту стоял? На мосту нам не положено останавливаться... Да ну их, козлы муровые! — ругался Вася. — Скалымили вместе, так не понравилось, что побольше взяли.

Машины медленно шли среди грязей, ползли на подъем, где опять виднелись дома деревни.

Но только недолго мы ехали.

— Вот что, парень, — сказал Вася, когда наши машины въехали в деревню. — Ты поставь нам бутылку, а то лодку-то как же... — И он остановил машину.

— Хорошо. — Я покорно открыл дверцу и прыгнул на дорогу.

И эта задержка была неприятна мне. Мы проехали не больше полутора километров, а их охватила жажда. Так когда же мы доедем? Но я сдержался и ничего не сказал.

Мы подошли к зданию клуба. Около него стояло много народу, большинство молодые парни, лица разгорячены вином — и все точно готовы были начать веселье или ожидали кого-то — потому что повернулись к нам. И глядели на нас.

А Вася спросил, где нам достать водки, потому что человек желает угостить их.

— Ребята, — сказал второй шофер. — Мы хотим выпить...

И все засмеялись.

— Цыгана надо побудить, — сказал кто-то из мужиков. — Он Катьку-продавицу позовет. Она тогда откроет магазин.

— А где Цыган?

— Вона.

Чуть в стороне от крыльца лежал человек ногами в луже, в фуражке железнодорожника — и спал.

— Спит?

— Мертвый.

— Мертвый? — Я подошел и наклонился над ним. Снял фуражку, стискивающую его голову, — и черные волосы точно вздохнули свободно.

— Эй, очнись! Эй!

— Мертвый, вот что.

Я дотронулся рукой до его лба — и он тотчас поднялся, дико посмотрел на меня.

— Сейчас. Цыган один минут. Я ее приведу... — И засмеялся: — Цыган все может. Цыган из земли... — Он поднял фуражку и полез на крыльцо, расталкивая мужиков.

— Пошли вы... — кричала женщина, — и рожи ваши постылые, и твоя-то морда, — повернулась она к Цыгану. — Сколько раз будете гонять меня? Дайте хоть ночью покой... Концерт мне послушать когда?!

— Слышь, — подошел ко мне Вася. — Ты вот что... Я тебе говорил: купи поллитру и закуску. Так шут с ней, с консервой, — давай две поллитры.

И я тоже почувствовал радостный подъем во всем теле и протянул женщине деньги. Она внимательно поглядела на меня.

— Не наш какой-то! — закричала она и стала опять рваться из рук Цыгана.

— Уйди, черт! Пусти! Пусти-и-и...

— Отпусти ее, — сказал я Цыгану. И, близко подойдя к женщине, произнес: — Я устал умирать. Я приплыл на лодке. И хочу угостить шоферов.

Моя разумная речь подействовала на нее, она пошла к магазину. Подмигнув нам, за ней двинулся Цыган.

— Ну и ловок! — засмеялся вслед ему Вася.

Мы ждали его за магазином, и он вскоре появился, довольный, с двумя стаканами и двумя поллитрами водки. Мы сели тут же на доску, кем-то положенную, наверно, для той же цели.

Вася хотел налить мне, но рука его дрожала, и водка расплескивалась.

— Не надо, я не хочу, — покачал я головой. — Спасибо.

— Пей так. — И Вася протянул мне бутылку.

— Нет! Нет, я не могу. — И тут увидел Николаева. Он стоял недалеко от магазина и даже не смотрел на меня.

— Эй, послушай! — крикнул я ему. — Я хочу забыть тебя и тот Южный город. — И быстро опрокинул стакан. — Ребята, давайте это оставим, — попросил я.

Вася засмеялся:

— Ты шутник, Проня! Ой ты, Проня. Во, паря! Эх, в тальянку сыграл Проня... — И он стал пить прямо из бутылки.

— А Цыгану? Эй! Дайте Цыгану, — потянулся Цыган.

Мы выпили две бутылки и пошли к машинам.

Снова загудели моторы. Слава Тебе, Господи, загудели моторы! И мы поехали.

Мотор натужно ревел, и скобы с цепями наматывали грязь, выдирались из грязи.

— Э-э-э... — И вся машина сотрясалась, напряженная; и головой вперед, как живая, — по глубоким колеям. Стекла дребезжали, нас мотало, и я тоже напрягался, помогал машине.

И Ваську трясло, его точно изнутри кидало толчками, и он все бормотал: «Ты, паря, нас не обижай. Ты хоть кто там, а не обижай».

— Господи, — пробормотал я. — Помоги колесам, помоги нам...

Нас тряхнуло, затрещал кузов.

— Лодка-то еще жива? — спросил я.

— Чего? А-а... Жива... Чего ей?

И в это время нас потянуло — и мы стали ползти назад...

— Все, паря... Приехали...

Вася упал на руль.

Я открыл дверцу и прыгнул в грязь.

— Ну давай, может, подкопаем, — сказал Вася.

Лодка была на месте, освещенная сзади фарами другой машины. Вышел второй шофер, Виктор:

— О-о! Порядок.

Вася залез на скат, достал лопату.

— Брось! Я попробую объехать, — сказал Виктор.

Господи! Соверши чудо. Дай ему объехать, тогда он нас зацепит тросом и вытянет.

Медленно Виктор вывел машину вперед и остановился.

— Иди все ж, подкопай, — сказал Вася и отдал мне лопату.

Шоферы стали прилаживать трос, а я полез под скат, выбирая жидкую грязь.

Руки у меня едва держали лопату, и все же я старался.

— Ладно, садись! — крикнул Вася. — Слышь, садись. — Я послушно полез на свое место. Моторы заревели... Виктор дернул раз, другой... еще... и машина подалась, двинулась.

— Хорош! — Он достал из-за спинки сиденья две пол-литровые бутылки водки.

— Хочешь?

— Не! Не! Я уже все.

— Ну как знаешь. — И приник, жаждущий. Руки его дрожали, и водка текла по лицу... — Слышь, друг, влей. — И он протянул мне бутылку: — На-ка.

И я стал вливать ему в горло. Он судорожно глотал, и водка заливала ему лицо, глаза.

— Хорош... Э... Витьке отдай... Витьке скажи, что сколымили... надо Витьке...

Машина остановилась. Я послушно взял бутылку и пошел к другому шоферу.

— Ну, будем здоровы, — сказал Витька. Он казался более трезвым. Сам поднял бутылку. Но и ему было тяжело пить из горла. Он мотал головой и, как теленок, вскидывался, мычал... И не допив сказал: — Не вылевай, чего? Поехали со мной.

Я остался с ним.

Виктор включил мотор, потихоньку тронулись.

И опять рядом я услышал голос Николаева.

— Как мне удалось выжить? Случай. — И Николаев повторил: — Да, случай. — Улыбнулся. — Вместо Шерстнева-Гурейко руководителем тройки назначили бывшего политзаключенного, который меня знал, когда я работал в тюрьме, товарища Мищенко. Я был вызван из подвала, увидел товарища Мищенко уже как боевого командира — на столе лежала фуражка с красной звездой, наган в кобуре на его правом боку, шапка на левом. Назначение Мищенко, кажется, было временным. Но для меня спасительным. Более того, я получил бумагу: «С особого учета снят». Это вот что: я уезжал из города. А все бывшие офицеры, проживавшие на территории белых, ставились на учет,

их обязывали являться в военную комендатуру. Должны были отмечаться, накладывались ограничения и прочее... Но я не к тому — спустя десятилетия, уже в этом возрасте, то есть в таких преклонных годах, я встретил Кровца. Представляете? Случайно. Ехал к своим знакомым в гости, во дворе увидел. Узнал. Хотя он был в плохом виде. Никакого зла я на него не держал, даже, поверите ли, обрадовался — испытания легли на мою молодость, что там говорить! — и этот человек отстуда, из Южного города, моя жизнь — смерть... Тогда был шанс, полшанса, что останусь живым, а теперь что? — И Николаев усмехнулся. — Как потом выяснил от своих знакомых, Кровец жестоко пострадал в годы культа — семнадцать лет: десять в лагере и семь на поселении... Тут, знаете, не кошка начихала. Валил лес в Красноярском крае в Саянах. Центр у них в Канске, а лагерь в поселке Тугач, и оттуда «командировки» в Жедорбу, в Амбарчик, в Старики. Работа самая тяжелая: трелевка, вывозка... ну и сплавлили лес по речке Жедорба. Заключенные голодали, умирали. Кровец выдержал, потом ссылка в село Мотыгино на Ангаре... И здесь голод. Все это Кровец рассказывал моим знакомым, таким Воронцовым, Евгению Сергеевичу и Евгении Павловне... Два Жени... Они мне так и звонили: «Это два Жени...» Интеллигентнейшие люди. Евгений Сергеевич в прошлом инженер. Так вот, получаю от них известие, что Кровец увезен в больницу... Куда? Чего? В общем, в желтый дом. Представляете? У него никого нет родственников. Жена лет восемь как умерла... Ну и я стал к нему приходить. — Николаев вздохнул. Замолчал. — Грустная картина. Сначала я привозил ему что-нибудь сладкое: печенье, конфеты, а также яблоки, апельсины. Но потом начал дома специально готовить, чтоб было не больничное.

— Мальчики! Мальчики! — звала больных сестра. — Свидание закончено. Родственники, прощайтесь.

Кровец испуганно оглядывался на сестру. Что делать? Приходилось раставаться. И я поднимался из-за стола.

— Посмотри, чего там, едет ли Васька, — попросил я.

— Уа, ау-ау-у... — Виктор не разговаривал, он точно укачивал невидимого ребенка и сам тихонечко стонал: — Уа, ау-ау-у-у.

Я открыл дверь и поглядел: машины с лодкой не было.

— Вить, очнись... Давай назад. Нет Васьки.

— Уа, а-ау-уу, — качал ребенка Виктор. И вдруг засмеялся. Волосы падали ему на глаза. Кепку он где-то потерял. И открылось его прекрасное, чистое лицо.

— Давай назад, — сказал я.

Виктор распахнул дверцу, выглянул, потом вытянулся, почти встал на педали, и машина поползла назад...

— Давай еще, еще!

Машина продолжала ползти.

— Останови! — закричал я. — Тормози!

Но было поздно. Задние колеса съехали в кювет.

— Прибыли, — ясно сказал Виктор, выпрыгнул на дорогу.

— Смотри, — показал я ему на колею. — Это то место, где мы уже сидели.

— А Вася?

Может, они сговорились, подумал я. Где моя лодка?

— Уа-у-у-у, — опять начал Виктор.

Далеко не уйдет, подумал я. По колее его найду.

— Пойду, — сказал я.

— Погоди, чего?

Я шел по колее и внимательно смотрел. Кругом лес и грязь. Только грязь... Едва светился рассвет за лесом. Не прошел я и полкилометра, как увидел: у самой дороги, раскинув руки, лежал человек в грязи.

— Эй, эй!

Я поднял его голову.

— Эй!

Очистил лицо от грязи.

— Ты жив, Вась?

Он замычал.

— Где машина? — Я его приподнял.

— Эх, в тальянку сы-ы-ы-грал Проня. — И Вася закрыл глаза.

Оттащил его от дороги, посадил — и увидел следы скатов... В стороне, в небольшой яме, на боку лежала машина, а рядом — белая моя лодка и мешки с цементом. Некоторые мешки разорвались, и цемент высыпался.

А-а! Ладно. Пускай сидит. У меня уже нет сил... Врач! Исцели самого себя... Я подошел к лодке. Цела ли? Поглядел. Не треснула. Только сбоку, где был сучок, жестяная затычка выпала. Крепка твоя лодка, Иван Руфыч, правда что хороша... Я залез на опрокинутую машину, с трудом открыл дверцу и начал выдергивать рюкзак.

Мне это удалось. Я потянул — спинка сиденья сдвинулась, посыпались ключи, еще какие-то железки, они упали вниз, добывая боковое стекло...

— Ну, прощай, моя лодка! — Я надел рюкзак.

Васька опять свалился и лежал на боку около дороги. Я медленно побрел по колее. Каждая косточка во мне была размолота.

Дорога делилась, распадалась на две такие же, как прежде. Я остановился. И стал ждать. Куда идти?

Это чувство, которое должно было во мне родиться, — оно не пришло. Оно почему-то не приходило.

— Вы сказали, что сестра называла их «мальчиками». Ну этот бывший следователь, Кровец, он-то уж был старик?

— К сожалению, среди больших много молодых, очень много.

— А какой из себя Кровец?

— Совершеннейший старик, без зубов, голова дыней, с остатками волос, из-под лохматых седых бровей младенческие глаза. И весь сник пустым мешком, сидел в этой выцветшей зеленой пижаме — потрепала жизнь человека. Жалкое зрелище. А голос сохранился почти густой, даже, мне казалось, прежний. Говорил он очень странно: «Ветер меняется... северный... Птичка поет... В доме закрыть дверь... скорее... скорее...»

На свидании мы обычно сидели с ним в дальнем углу их столовой. Ел он жадно. Ложка скрежетала по кастрюльке, в которой я приносил ему еду. Чаще всего готовил для него мясо. Вилки им не полагалось, ну и, конечно, ножа тоже. А мясо я сильно разваривал — он ведь без зубов. Расправлялся быстро и ложку долго облизывал.

В свой уже третий приход я начал понимать... Вернее, он мне приоткрыл... и я понял: «северный ветер» — это приближается сестра... тревога... доверять ей нельзя... Работал мотор разоблачительства — его сердце никому не доверяло. Но он на посту — все эти годы, пройдя лагерь, ссылку, едва выжив. «Закрывать двери дома» — ему казалось, что он удерживает дверь, наверное, казалось, что один держит... Он понимал, что его воображаемый «дом» с годами уходит в землю, но он хотел исчезнуть в объятиях с врагом — теперь он хотел взять на себя все: и слежку, и расследование, и вынесение приговора... Последними усилиями, когда его уже засадили сюда... он продолжал в бредовых разговорах больших отыскивать блестящие крамолы. Шариковой ручкой, на клочках бумаги писал дрожащим, неверным почерком одно только слово — расстрелять. Отдавал мне. Вот для чего я ему был нужен.

Я решил идти по правой дороге. Но силы оставили. Я сел прямо в грязь, в колею. Все — я кончился. С меня хватит, ну все, понимаете, не-

известно к кому обращался я. По самую завязку. И я повалился в колею. И все-таки хитрый мужик, освободился от лямок рюкзака, подложил рюкзак под голову, стараясь удобнее лечь в свою могилу из грязи. Стало немного легче. Лежал. Не шевелился. И откуда-то вдруг прилетело, как мы пели в детской колонии: «Фартовый я мальчишечка, зачалили меня, зача... зача... зачалили меня».

Тогда я повернулся. Стал на колени. На некоторое время так и застыл — в позе двухлетнего ребенка. Какие-то звенья в душе соединились. Я встал на ноги, вытащил из коричневой грязи рюкзак. Вдел руки в лямки.

Я все же решил идти по правой дороге. Сделал один шаг, другой... Получилось.

Впереди виднелся дом, совсем недалеко от развилки. Я шел, а ноги мои расплзались.

Подошел к дому, постучался в дверь. Открыла мне женщина.

— Мне бы поспать, — сказал я.

Она ничего не ответила. Показала мне место на печке. Я залез на печку и скрутился. Но меня трясло, и заснуть я не мог.

Пролежав там около часа, я спустился вниз — и увидел: за столом сидели две женщины — та, что открыла мне, и другая, помоложе.

Они ели суп из миски.

Я почувствовал голод. Попросил:

— Дайте мне тоже супа.

Старшая хозяйка дала мне ложку и налила в другую миску жирного куриного бульона, и они продолжали молча есть, не глядя на меня.

Я пододвинул к себе миску, увидел, как сверху плавают желтые круги жира, — и мне стало тошно.

— Если б еще хлеба, — попросил я.

Старшая отрезала мне ломоть, ничего не сказав. Я ел. Меня мутило.

Вдруг я услышал шум моторов. Отложил ложку.

— Что это?

— Уркает, — глухо сказала старшая.

Я кинулся к окну.

По другой дороге медленно двигались машины. На первой, поверх мешков с цементом, лежала моя белая долбленка, крепко обвязанная.

Машины и лодка проплыли и скрылись за угором.

Как же так? — думал я. Ведь и машина у них была перевернута, а другая — в кювете... Как они сами поднялись?

Вышел на волю, прислонился к стене. Моторов уже не было слышно.

— Дядя! Почему ты плачешь? — Рядом со мной стояла девочка. — Иди в дом... — Я поднял к глазам руку. — Дядя! — звала девочка. — Иди в дом.

Я сказал:

— Сейчас пойду... Это там твоя мама?

— Нет, крестная. И тетя Вера.

Я вернулся в дом. Взял свой мешок.

Женщины ели курицу. Они молча рвали ее руками.

— Куда эта дорога ведет? — спросил я. — Вот эта, на которой стоит ваш дом?

— В Озерки, — ответила старшая.

Я поблагодарил ее.

Я шел по дороге в Озерки. Дорога свернула в лес. На елях и соснах ни единой хвоинки. Лес был черным. Мертвым. Дорога становилась все уже, превращаясь в тропинку. Болотистая земля хлопала под сапогами. Кто-то проложил деревянные слуги. Они прогнили. И неудачно поставленная нога проваливалась в рыжее месиво.

Мокрый, я шел и шел. Что-то заставило меня оглянуться. Совсем неслышно за мной двигался Николаев.

Когда он увидел, что я оглянулся, то быстро приблизился:

— *Надеюсь, я вам не наскучил своими разговорами?*

— *Напротив.*

— *Ну что ж, — он помедлил, — прощайте. Теперь уж сами. Помните, как я вам рассказывал про город Ченстохов, когда я был ребенком? Я близко увидел летящего ангела. Помните?*

Я не успел ответить: он как-то задом стал быстро удаляться.

— *Ничего не бойтесь, — услышал я издали его голос.*

Самого Николаева я уже не видел.

На лице я ощутил легкий ветер. Черные деревья стояли совершенно неподвижно. Продолжал идти. Слеги трещали. Я падал. Выбирался опять. Руки околели от мокрой жижи. Иногда полз. Рюкзак давил, жевал спину. Я терпел. Снова вставал и шел. Не знаю, откуда хватило сил. Может, не хотел умереть среди черного леса... И неожиданно черный лес кончился.

Открылась широкая луговина с разнотравьем. И живой лес. Вот когда в меня полностью вошла душа Гали. Где-то она тут, совсем рядом.

Вот и Озерки, по-местному — Болотиха. Изба старца Григория Куприяныча, куда примаком был взят шофер Миша Силинский. Первый, кого я увидел, был Миша Силинский.

— Ты чего ж за мной не приехал? — поинтересовался я.

— Машина сломалась, да и дорога закрыта. Думал, ты как-нибудь сам доберешься.

— Миш, как это получилось? Мне помогали два шофера, правда, оба были сильно выпимши. И один загнал машину в кювет, а у второго она завалилась набок. Как же они выбрались? Кругом в поле глина, грязь.

— О, паря, две машины из грязи всегда вылезут.

Он спешил.

— Ты куда?

— На бор, там у нас техника стоит.

— Погоди. А что с лодкой-то будет?

— Как-нибудь образуется, все путем будет. — И он пошел на бор.

* * *

Время уже не имело значения. Мы лежали на синей кровати. Напротив — огромная, недавно битая глиняная печь, рядом валялись белые стружки. Все было как в первый раз. Тогда ко мне приехала Галя.

Мы лежали в новой зимней избе, ее только-только срубили. Сколько потом я сбивал печей и в Болотихе, и в Сергеевской, и в Заречной. Я еще застал тот старинный обычай сбивать глиняные печи деревянными молотками.

Запах стружек, белых стен. Галя не двигалась.

Это ты меня позвала или я сам? — мысленно спросил.

Она не ответила.

Быстро светало. Открылась дверь. Вошел старец с белой бородой, Григорий Куприяныч. Он низко поклонился мне.

— Спасибо, что не забываешь нас. Чай идем пить?

— Как прежде? — спросил я.

Он кивнул и закрыл за собой дверь. Я стал одеваться. И тут я увидел вытянутое голубое облачко. Облачко закрыло Галю.

И вдруг меня ветром сдернет
 Не в пропасть, а в высоту.
 Там, может, пушу я корни
 И, может быть, прорасту¹.

— Галя! — крикнул я. Голубое облачко в белесом небе почти не видно. Я вышел на крыльцо. Разгорался день.

Мимо с чугуном скорой походкой прошла к свинарнику Мария Васильевна, теща Миши. Она улыбнулась мне.

Впереди, среди разросшейся бузины, как и раньше, стояла банька, правда, крыша провалилась, торчали черные балки.

А внизу под угором текла речка Яхронга.

Я пошел вниз, сполоснуть лицо. Вода охладила меня.

Я поднял голову. На угоре стояли все они: Григорий Куприяныч, Мария Васильевна, мои родители, Тодик, Алла и еще множество знакомых и незнакомых людей. Они молча смотрели на меня.

Я услышал неторопливый голос старца Григория Куприяныча:

— Прощай и прости нас.

— Значит, я?..

— Да, тебе дано еще время подготовиться к смерти. Не профукай.

Слово корябнуло меня. Но ответить уже не мог. На угоре никого не было.

Парило. А в белесом небе я увидел белую точку. Я не сомневался. Душа Гали покидала меня. Встречусь ли я с ней когда-либо?

Посмотрел на речку. Я увидел, как, подгоняемая течением, плыла моя долбленка. На дне ее плескалась вода. Покачивались шест, весло и черпачок.

Я полез в воду. Поскользнулся. Упал. Правую руку обожгло. Я вытащил разбитую поллитровку. Боли не чувствовал, но кровь по руке текла сильно. Я перевалился в лодку. Она почти затонула, а выдержала. Иван Руфыч, подумал я, лодка твоя хороша.

Из дырки, где был сучок, заплескивалась вода. Я взял черпачок, стал вычерпывать воду. Вода окрасилась алой кровью.

Стал зализывать рану. Потом взял весло. Кровь перестала течь. Я сел на досточку и начал грести.

Мелькнуло в голове: за что же мне такое? Да тут же по-местному, по-озерецки отогнал мысль: хозяин знает, кого в фатеру пускать.

Я был покоен. И уже не трудил голову, за что мне это. Только бы не профукать, улыбнулся я словам старца Григория из Озерок.

Я не знал, где Яхронга впадает в ту реку, что протекает рядом с Селением. Где-то была излучина, за мостом. Мне хотелось напоследок еще раз увидеть мужиков из Селения. Не знаю зачем, но очень хотелось. И чтоб слепой обязательно был. Он придет, я не сомневался.

Вокруг меня сгущались годы. Я смотрел вдаль и видел отдельно каждую травку: на склоне холма среди камней — черноголовник, вдоль берега, на отмели, — горец, на лугу — чистяк. И я удивился: ведь был близоруким. Откуда? Значит, так надо. Или как Мишка говорит: «Все путем».

И вспомнил, что на высоком бугре стоят и церкви, и погосты. Ближе к небу. Особенно погост вспомнил, среди сосен, и там, рядом с крестами, трава, земляника от солнца переспелая, почти черная.

¹ Стихи Галины Демыкиной из книги «Корни дома моего». (Примеч. автора.)

Я махал веслом. Кровь на руке засохла. Привычно работал. Мелькнуло в голове: «Как же потом, против течения, по той реке, где Селение?» А, ладно. Где шестом буду пихаться, где волоком потащу.

С лодкой я не хотел расставаться.

Я вывел лодку на середину реки. Семя времени уничтожилось в моей душе. И я услышал, как поднимается слабый росток новой жизни.

Пошел лес. Но не черный, живой. С подлеском бузины, малины.

Тень от высокого берега. Облака в воде.

Ветер я чувствовал лицом, запотевшим от работы телом. Далеко, в темноте леса, услышал крик дятла. Он забарабанил по дереву. Я слышал дробь не ствола — вибрирующей ветки.

Прикрыл глаза. И сквозь ресницы: излучина, упавшая в воду сосна, вода шевелит ветки.

Бурунчики кружились вокруг весла.

Лодка, подгоняемая течением, неслышно скользила посередине реки.



ИЛЬЯ ФАЛИКОВ

*

НА МОРСКОМ ВЕЛОСИПЕДЕ

* *
*

Перед телефонной повременкой
хочет вся Москва наговориться,
словно перед страшной голодухой
напитаться манкой и овсянкой.
Зуммер стонет, занято повсюду,
ни к кому теперь не дозвониться,
никогда такой вот многоухой
и многоязыкой ты, столица,
не была. Повсюду бьют посуду —
звон стоит весьма не колокольный,
все это на исповедь похоже,
исповедь самой первопрестольной,
коли врать и поздно, и негоже.

* *
*

За долиной, за горами, на далеких северáх —
выше города Тамбова, на московских площадях
пыль тяжелая несется по следам моих копыт.
Я у черно-синя моря опираюсь о гранит.
Я в турецкое пространство диким голосом кричу,
на столичные подмостки возвращаться не хочу.

Я в турецкое пространство, в бирюзовую струю
на морском велосипеде увожу свою семью.
Со своим великим скарбом, прямо с раннего утра
я работаю ногами, эмигрирую — пора.
А в Москве моей родимой по следам моих копыт
шум стоит неимоверный, пыль тяжелая летит.

Отчего все это дело происходит только так?
Отчего за мной не скачет пламеносный Карадаг?
Отчего он не проснется? Оттого, что в дивный сон
он под музыку ночную абсолютно погружен.
Снится спящему вулкану, что в далекие края
никогда он не отвалит, потому что он не я...

Фаликов Илья Зиновьевич родился в 1942 году во Владивостоке. Окончил филологический факультет Дальневосточного государственного университета. С 1967 года живет в Москве. Автор восьми поэтических книг, среди которых «Ель» (1982), «Месяц гнезд» (1985), «Ласточкино лето» (1990).

Над песком анатолийским солнце светит как нигде,
и горит песок, сияя на лазоревой воде,
по которой спозаранку я как посуху иду —
из туретчины, наверно, свой народ назад веду.
И в московском переулке, подымая гром литавр,
Карадаг стучит копытом — огнедышащий кентавр.

* *
*

По всему побережью худые путанки
развесили груди.
Сейнер «Норд» возвращается после болтанки,
пират без орудий.
Враз хамсу расхватает в тоске недопитой
дикарь недобитый.

Я люблю эту рвань, эту нежную накипь
стихии во мраке.
Там барахтался кто-то, какой-то Янаки,
какой-то Ставраки.
Там и девка с баштана, шалава с шаланды,
дитя контрабанды.

Я урезать свой возраст решительно вправе
во славе грядущей —
пацана различаю в бесштанной ораве,
из моря орущей.
Заглушает ночные пистоны и стоны
прибой многотонный.

Куст маслины летит над Библейской долиной
с Кучук-Енишара.
Спор славян меж собой разрешен осетриной,
черешней с базара.
Актуальней намного не спор полинялый —
проворство менялы.

А спортивные парни, хозяева жизни,
горят на работе.
Побивают рекорды — мигни или свистни —
ударницы плоти.
Начиналась мечта о таком человеке
в Серебряном веке.

Я и сам представитель блестящей плеяды
аврального блуда.
На потухшем вулкане грохочут цикады,
ликуют, покуда
по всему побережью в процессе болтанки
худеют путанки.

* *
*

Дерево печали, — коллективным
умопомрачением опален,
кипарис казался мне квартирным
вором, лезущим на мой балкон.

Женщину мою к утру измуча
уголовной музыкой ночной,
над Святой горой стояла туча
сгустком тьмы, залегшей за горой.

И когда на птиц кивали травы,
на балкон второго этажа
о парижской ноте Окуджавы
весть явилась, тягостно кружа.

В струнах скорби не было металла,
и гнезду не дадено щита —
там о новой жизни хлопотала
ласточек небесная чета.

Я вгляделся в тружениц летучих,
гимназисток в них не опознав.
Молнией внутри крыластых тучек
полюхал неукротимый нрав.

Сладкую слезу мою с налету
размешав строительной слюной,
ласточка уносит эту ноту
в желтый рот младенца надо мной.

Суетились ласточки, мелькая
кипариса черного в тени.
И когда упала тьма другая
камнем, успокоились они.

Замирает враз дневная птица,
лишь ее зениц коснется тьма,
с чем бесповоротно согласиться
ей не надо заднего ума.

О парижской ноте в бухте Лисьей
не кричал дельфин, мечась во сне.
Но всю ночь на черном кипарисе
щелкал общерусский шансонье.

Полдень

Трава над головой, а голова в тумане
печали вековой.
Звенит во все концы трава Тмутаракани,
пчела над головой.
Нерасчленимый звон бесчисленных дыханий,
невыносимый зной.

Пропасть, уйти в кусты, на каперс напороться,
 кузнечиком залечь,
 отяжелев, и — в ночь. Откуда что берется?
 Откуда эта речь?
 Работает на дне цветущего болотца
 бушующая печь.

Ни бабки на печи, ни шурина, ни кума,
 не помню ничего
 на медленном огне, — бездонная лагуна,
 сгоревшее родство.
 Откуда этот зной? Из ямы Аввакума,
 из пламени его.

Ни храма на крови, ни сонного посада,
 ни бунта на селе.
 Анатолийский звон муссона и пассата
 в звереющей пчеле,
 татарская тоска, турецкая осада
 твердыни на скале.

Элегия с посвящениями

Максиму Амелину.

Мне, спутнику дождя...

Д. Хвостов.

За победы Суворова получив италийского графа, —
 сколько скорбных трудов,
 сколько честного норова, — входит в море под городом Кафа
 сочинитель Хвостов:

Ах, на чьей бы племяннице, подобрав по душе полководца,
 поджениться... Увы!
 Твой поход не помянется, хоть об Альпы успеи поколоться,
 пол-Европы урви.

Воеводы ли в пращурах не достало, чего ли другого,
 сколько пота ни лей,
 сколько строк ни приращивай, — до любителей русского слова
 не донести хрусталей.

Бесполезно, как водится, ждать признанья страды многолетней.
 Да и что за дела?
 Муза Росского воинства, побежденного в битве последней,
 ты кого родила?

В пасти левиафановой не отыщется сада, ни дома,
 вообще говоря,
 ибо Дмитрий Иванович не закончил последнего тома
 своего Словаря¹.

¹ «Словарь русских писателей», соч. гр. Д. И. Хвостова.

Коль под Кафой бесстыжею загремели прижизненным адом
 дискобар и кафе,
 по холмам семикнижия удалимся, поистине рядом —
 кто на X, кто на Ф.

Обратиться к поэзии по причине желанья простого
 вообще тяжело.
 Но извлечь из депрессии будет прислан от графа Хвостова
 Буало-Депрео.

Чтобы утром, в полпятого, строго следуя правилам косным,
 в графоманских рядах
 из аида косматого выдираться по каменным космам,
 щекоча Карадаг.

Ночь

Дела морского беги...

Фалек, IV в. до Р. X.

В гривокаменных космах Карадага
 кто-то вроде жука с меня размером,
 в триумфальном венке, — какой бродяга
 там экспериментирует с размером?
 Это кто же там светится? Цикада?
 Буцефалова вошь без Александра?
 Фосфорический сад. На углях сада
 дрыхнет старый кентавр с тавром «Массандра».

На пожарище сада дым шашлычный,
 в Македонии мрак, цари в отставке,
 виноградарь утоп, хлебнув «Столичной»,
 хлебоборок отлетел на крыльях травки.
 Победители пали, поле брани
 под полынью лежит, в седых анналах,
 и мерцает венцом морских скитаний
 насекомая голь на голых скалах.

Лучше нет красоты, скажу по чести,
 чем чесать с высоты, электросвечи
 погасив, — гребешком чесать по шерсти
 белопенный электорат овечий.
 Закусив удила, на слове добром
 загремел со скалы — почти калека
 и участник войны — упиться чабром
 и закончить дела стихом Фалека.



ПОЛЕМИКА

ВСЕ ПРО ТОТ ЖЕ «ТРЕТИЙ ПУТЬ»

АЛЕКСАНДР НОСОВ — ТАТЬЯНЕ ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Предуведомление

Поначалу я хотел воздержаться от публичного ответа на статью Татьяны Чередниченко «Радость (?) выбора (?)» («Новый мир», 1999, № 1) по причинам журналистской этики: мне, члену редакционной коллегии журнала, не очень удобно выступать с полемическими публикациями против «своих» постоянных авторов — как со страниц «своего» органа, так и уж, тем более, «чужого». Я предполагал ограничиться соображениями по поводу прочитанного в частной беседе с автором (с которым, точнее, в подчинении которого работаю на одной кафедре вот уже пять лет); но поскольку соображений оказалось довольно много, то пришлось их записывать; зачитывать же собственный текст по бумажке коллеге в консерваторском буфете между лекциями было бы, на мой взгляд, несколько претенциозно; передать распечатку или дискету, послать через INTERNET — пока что непривычно и неловко.

Тогда-то я решил воспользоваться позабытым жанром открытого дружеского письма, каковым и стало все нижеследующее.

Смотришь телевизор, и создается впечатление, что у всей страны или карьер, или менструация.

Кажется, В. В. Жириновский.

Глубокоуважаемая и дорогая Татьяна!

Признаюсь, что давно ничто из прочитанного мной не нудило меня с такой настойчивостью «взяться за перо», как мы еще говорим по старинке. По части писания «от души» у меня почти что как у Ельцина с английским: плохо, очень плохо и уже почти никак. Но вот прочел (по долгу службы — как читчик номера) — и в пять утра сел за компьютер. И могу еще, оказывается, страстно *хотеть* (что, вопреки французской поговорке, еще не значит — *мочь*), но и за это тебе, Татьяна, — первое большое спасибо.

Из массы причин, вызвавших столь неожиданный прилив творческой страсти, назову пока две равнозначимые — персональную и социальную: то, что мы давние коллеги по преподавательской работе и личные друзья, хорошо друг друга знаем; и то, что в этой твоей статье необычайно выпукло и ясно (свойства, присущие большинству твоих текстов, за которые я всегда читаю их с удовольствием и нередко печатаю в редактируемом мною журнале «Неприкосновенный запас») выражены подспудные, но характерные идеологические aberrации, которые зародились в интеллектуальном и культурном сообществе еще в начале 90-х годов, но в последние месяцы стремительно распространяются и в тех кругах, куда они вроде бы никак не должны были и не могли (я, во всяком случае, очень на это надеялся) проникнуть...

Тут опять же две проблемы. Все начиналось с того, что в интеллектуально-культурном сообществе, то есть той его части, которая разделяет демократические принципы (без кавычек), как-то нечувствительно *поплыла* лексика —

Носов Александр Алексеевич — историк русской общественной мысли и культуры. Родился в 1953 году в Москве. Кандидат филологических наук. Заведует историко-архивным отделом в журнале «Новый мир», является одним из редакторов журнала «Неприкосновенный запас», преподает историю в Московской государственной консерватории.

вполне приличные периодические издания стали все чаще использовать выражения типа:

«*расстрел парламента*» (что означает: сидели себе парламентарии, никого не трогали, а загримированные под Макашова «демократы» брали мэрию и Останкино, стреляли из окон по толпе);

«*ваучерная афера*» (что означает: надо было раздать *народу* акции высокорентабельных предприятий, причем всем поровну, и не дать разному жулью закупить на них фабрики и заводы; а что после такой «справедливой» раздачи в результате «грамотного» менеджмента сразу ста пятидесяти миллионов пайщиков все эти фабрики и заводы встали бы навечно, так то понять было совсем нетрудно, но предпочитают ругать Чубайса: и надежно, и точно ничего за это не будет);

«*развалили Союз*» (что означает: три мужика в бане за бутылкой проигнорировали волю народа, выраженную на референдуме 17 марта; между тем плебисцитарное право устроено именно так, что каждый последующий референдум отменяет результат предыдущего — но не относиться же всерьез к референдумам на Украине и прочих уже позабытых по названию «республиках»).

Это пока что еще не по поводу «Радости выбора» — это просто про стилистические сдвиги в прессе вообще.

Как-то даже неудобно объяснять, что радость в жизни далеко не всегда возникает из возможности выбора! Часто не меньшая, а большая радость порождается полным отсутствием такового: во всяком случае, отсутствие выбора может вызывать и просто безудержный восторг (ну например, случайно «достал» французские духи — не важно, какие). Слово «выбор» скорее уж сопрягается со словом «муки»: будь то муки выбора мужа/жены, общественно-политической системы, INDESIT/ARISTON и т. д. Поэтому, когда речь идет о *радости выбора*, то эта радость относится лишь к *возможности* заполучить таковой, но никак не к тем предметам или явлениям, между которыми приходится выбирать. И даже когда все предложенное на выбор оказывается одинаковым дерьмом, то и тут нет оснований поддаваться меланхолической тоске: ведь ты имеешь возможность самостоятельно, своим умом (глазами, ушами, руками, носом) убедиться, что дерьмо — одинаковое, и в конечном счете отказать от всего сразу.

Мне не кажется корректной твоя ирония по поводу того, что великий принцип прав человека оказался низведен до права человека переключать телеканалы: великие принципы тем и хороши (универсальны), что действуют не только и не исключительно в сфере отвлеченных принципов и прав (в ООН, например, или Хельсинкской декларации), но проникают в частную бытовую жизнь каждого человека и предоставляют ему в этой жизни хотя бы некоторые незыблемые гарантии. Что же касается права переключения телеканала, то, на мой взгляд, куда как лучше, когда по одному — «Орбит», по другому — столь презираемый тобой «Тайд», нежели везде: «Здравствуйте, товарищи! Сегодня Леонид Ильич Брежнев...» — или, наверно, любимый тобой с юности балет «Лебединое озеро». Неужели ты забыла анекдот о явившемся на службу мужике, который утром, после включения телевизора и радио, поостерегся включить электробритву?

Нас учили в средней школе и вузе, что при капитализме систематически происходят финансовые кризисы, а мы, просматривая по длинной очереди привезенные из-за границы каталоги «Отто» и ловя жадным взором мелькающие в репортажах о первомайских демонстрациях на Champs Elysées витрины магазинов, ухмылялись с сарказмом: нам бы такие кризисы! Вы нам только дайте туфли без очереди и пиво восьми сортов — тут уж мы за ценой не стоим! И чтобы на Красной площади можно было кричать не только «Рейган — дурак», но и этот самый — тоже не ума палата...

Но вот случился пресловутый кризис — совсем уж не такой ужасный, что приключались с нами раньше: без танков на улице, без битвы милиционеров красными флагами по голове, без штурма телецентра и подавления вооружен-

ного мятежа в центре Москвы... Да, денег стало непривычно мало, то есть скорее их пришлось тратить непривычным образом: не забуду, как полный прочувствованной жалости корреспондент выясняет на улице, почему и сколько долларов пришлось продать человеку, на что интервьюируемый отвечает: «Продал сто долларов, потому что буквально не на что купить хлеба...» Верно, хлеб на доллары не покупают, их тратят за границей и в дорогах бутиках. При этом забывают сказать, что доллары купили все-таки на те самые рубли, которые как-то ведь *заработали* (не обязательно в виде *получки*) и которых теперь так катастрофически не хватает на уже привычное Рождество в Париже...

Но это, как говорится, à propos... Конечно, кому понравится кризис, при котором твои доходы в лучшем случае ополовинились? И вот тут начинается самое опасное занятие: поиски виноватого.

Ничего, дескать, не изменилось: вместо демократии и свободы мы получили всего лишь «виртуальное, слишком виртуальное» пространство «консуматорного дискурса», в котором если и существует какой-то выбор, то исключительно из «виртуальных» Тефалей и Лореалей. Так стоило ли ради перхоти и кариеса огород-то городить? Тут и Леви-Строс (а лучше бы — Деррида, это нынче убедительнее) вроде как к месту смотрится...

По-твоему выходит: вся обещанная и столь чаемая *радость выбора* (хоть с двумя вопросительными знаками, хоть с одним) сводится, в сущности, к тому, что нам в очередной раз под соусом свободы втюхивают вместо традиционного, привычного, блеклого, а потому вроде бы ставшего в конце 80-х достаточно безобидным и даже забавным агитпропа — агрессивную, грамотно сделанную рекламу. И суть-то, опять же по-твоему, оказывается одна: оплачивая агитпроповские цели «натурой» — «лояльным социальным поведением» и т. п., люди получали взамен «уверенность в завтрашнем дне». Но, во-первых, далеко не все на такую уверенность покупались, а во-вторых, довольно многие, платя «натурой», покупали именно то, что тогда ассоциировалось с «консуматорным благополучием»: продвижение по партийной лестнице и всю связанную с таковым систему прикреплений. (Вспомни сценку: покупатель хочет получить в некоем распределителе пива, а его спрашивают, *какое* из восьми имеющихся сортов. Публика в зале утирала от смеха слезы с глаз.) Я уже не говорю сейчас о тех, кто отказывался «платить натурой» за агитпроп, — судьба их ничем не походила на участь принципиально отвергающего отбеливатель «Ас» и сознательно предпочитающего «Фэри» — горчичный порошок...

Реклама, получается, стимулирует такое же поведение (предлагая, правда, значительно больше сортов пива) путем извлечения денег из воздуха (то есть путем законного отъема честно заработанного другими). (Или, как ты научно выражаешься, из «маржи».) В этом — стойкое убеждение последних лет: честно ничего не зарабатываешь, можно только украсть, и т. д.

Но сходство социокультурной функции агитпропа и рекламы оказывается, по-твоему, еще более близким, поскольку реклама выступает в качестве некоего аналогичного агитпропу идеологического охранителя существующего политического и экономического порядка. Присутствие всех этих «Олвэйз с крылышками» (на телеэкранах или в подземных переходах), хотя в некоторых (но далеко не во всех!) случаях и «раздражает традиционное свободомыслие пошлостью доминирующего консуматорного дискурса», но, по-твоему, подвергает «свободомышляющего интеллигента» такому же идейному прессингу, ограничивает его свободу не хуже, чем это делал некогда агитпроп, «настороженно относится к любым выходящим за рамки вялых пожатий плечами угрозам этому дискурсу»; ведь «мелкотравчатая гордыня по поводу мытья волос» призвана охранять нас от наивысшей опасности: «придут террористы, фундаменталисты, коммунисты, тоталитаристы, порушат рынок и создадут хаос». Но с недавних пор (во всяком случае, с осени 1998 года) все перечисленные политические течения перестали не то что пугать, но даже начали вызывать у некоторых культурных интеллигентов подобие снисходительно-иронической симпатии: ведь, оказывается, «ясно», что «осенью 1998 года хаос, по крайней

мере в России, уже подготовлен, и никакими не тоталитаристами, а либеральными монетаристами — и автохтонными, и зарубежными»¹.

Собственно, все предшествовавшие семиотические рассуждения о рекламе, все парадоксальные оппозиции агитпроп/реклама, все изящные стилистические пассажи произведены были за-ради вот этого именно заключения, которое, увы, все глубже входит в головы и сердца культурного сообщества.

Трудно сказать, что наводит тебя на этот дискурс: идейная ли убежденность в некоем онтологическом сатанизме всех до кучи либеральных монетаристов, или в присущей всем им политико-экономической олигофрении наряду с детства культивировавшейся патологической любовью ко всему зарубежному — либо уверенность в определяющей черте всех автохтонных либеральных монетаристов, которые за пару миллионов «зеленых» готовы продать Россию со всеми ее потрохами... Или все вместе?

Я не буду полемизировать по «частностям», замечу лишь, что нашему поколению, прожившему большую часть сознательной жизни во второй половине XX века, а о событиях его первой половины узнававшему не только из учебника Б. Пономарева и фильмов про «Неуловимых мстителей», но и из иных источников — и задолго до «Детей Арбата», пережившему на собственной шкуре 1982 — 1992 годы, называть как бы вскользь события осени 1998 года в России «хаосом», не преследуя при этом конкретные политические цели, — по меньшей мере исторически безответственно.

По поводу «осеннего хаоса» позволю напомнить старый анекдот.

В борделе человек требует девушку, которая через три минуты вылетает из его номера с криком: «Ой-ой-ой!», после чего заинтересованная клиентом бандерша, вспомнив молодость, отправляется к гостю. Выйдя от него через полчаса и поправив прическу, она обращается к девушкам: «Таки да. Но не „ой-ой-ой“».

Так что осенью 1998 года прилично кричать (согласно старому анекдоту) «ой-ой-ой» юным брокерам-дилерам, соскочившим с нескольких сотен долларов на 200. Мы все же люди пожившие и повидавшие разного. Ну, «да!» — в конце концов. Но ведь не более того.

Когда-то мы запоем читали классический труд Хайека «Дорога к рабству»: тогда для нас было если не «очевидно», то убедительно, что свобода невозможна без товарного рынка, а последний никак не может функционировать вне рынков фондового и финансового. Просто так вот сие устроено: можно прекратить этот невнятный для обывателя балаган с игрой на кросс-курсах и прочих ГКО, на которой ушлые молодые люди делают деньги из якобы воздуха с какой-то непонятно откуда взявшейся «маржой», — только после этого извольте быть готовы в очередь в ЖЭК за талонами и утром вынимать из ящика подписанную в обязательном порядке газету с не важно каким названием, но с совершенно предсказуемым содержанием. И никакой «маржи» у валютного курса не будет — за доллар будут давать некоторым по 90 коп., а большинству — 5 лет строгого режима...

Я знаю тебя давно, и взгляды твои мне хорошо понятны, и я далек от того, чтобы увидеть в твоём тексте некую скрытую апологию былого или тем более осознанную ностальгию по нем. Но все же, главным образом в стилистике, такая ностальгия невольно проступает. Серьезнее то, что, в общем, по-

¹ Со словом «ясно», как и со словом «очевидно», следует обращаться бережнее, потому как всякий раз оказывается, что кому-то ясней некуда, а другому и вовсе ничего не очевидно. Так, некоторым ясно, что причины нависшего над Россией и подготовленного злыднями либералами хаоса (на научном языке — дефолта) на две трети состоят из невозможности расплатиться по долгам бывшего СССР, полученным, уже не знаю в каком количестве, в бытность Ю. Маслюкова членом Правительства СССР. Да, в те славные времена мир наш был далек от какой-либо виртуальности: 120 в месяц, «праздничный» набор со шпротами на 7 ноября, талоны на сахар, водку, сигареты, карточки покупателя и знакомый мясник. Да, это был мир реальных вещей, их можно было все «потрогать» (особенно мясника) — в отличие от виртуальных ГКО-ОФЗ и прочих инструментов, из которых извлекается такая мистическая *маржа*.

нятная и извинительная ностальгия по тем временам, когда мы были молоды и могли любить безумно-безнадежно, в последнее время, не имея возможности быть открыто выражена из неких политкорректных соображений, начала решительно мимикрировать под поиск/предложение «третьего пути», в котором не будет ни виртуальных денег, ни маржи, ни агрессивно формирующей консуматорные инстинкты рекламы — зато будет производство простого продукта (тех же огурцов в банках), а на телеэкране — сплошная художественность и всяческая культурность, средства на которые пожертвуют перекавалифицировавшиеся в садоводы брокеры и дилеры (я не ставлю вопрос о том, сколько надо наквасить и продать у станции метро капусты для осуществления хотя бы одного культурного телепроекта), распределением же их (то есть денег) займутся независимые экспертные советы.

Я все понимаю: да, тяжело, да, хочется сделать что-то культурное, а денег нет. Я ничуть не меньше, чем ты, озабочен малым числом качественных просветительских и культурных программ на ТВ, в том числе и по соображениям вполне шкурным: сам однажды сделал такую передачу и хочется сделать еще... Но даже стилистически изящно оформленная и энергично выраженная утопия не имеет никаких шансов превратиться хотя бы отчасти в реальную жизнь. С концом виртуального, слишком виртуального — то есть с наступлением таких милых времен, когда «рассосутся виртуальные флюсы» и с экранов исчезнут и Тефаль со Сникерсом, и Лореаль с Риглисом, — на освободившемся месте появятся отнюдь не шедевры мирового кинематографа, историко-просветительные (в нормальном смысле этого слова) программы и прочая «художественность» (впрочем, под Новый год могут показать очередную, может быть, даже новую, комедию Э. Рязанова), а либо некое подобие сусального «Русского дома» с попами и березками, либо «Ленин в Октябре», а вероятнее всего — одно вслед другому.

Впрочем, политкультурология склонна испытывать радость от типологических построений самих по себе, нимало не задумываясь о тех выводах, которые из таковых сближений с неизбежностью следуют. Да и вообще разнообразие гуманитарные штудии производятся чаще всего лишь для того, чтобы дать рациональную основу собственным смутным желаниям и предчувствиям, научно подтвердить те неосознанные душевные перемены в политических предпочтениях, которые происходят в головах и сердцах просвещенного общества: «тоталитаристы», которые нас так долго пугали растаскивавшими «державу» Гайдаром и Чубайсом, оказываются *в исторической перспективе* совсем не страшными, а даже милыми ребятами. «Установленный в России (СССР) (еще милая стилистическая оговорка, истекающая из известной парадигмы: у нас одна страна, одна история; было много трудностей, но и великих достижений было тоже много: Гагарин в космос полетел первым, а вслед за ним Валентина Терешкова, и т. п. — А. Н.) порядок не страдал от типологического одиночества». («Порядок» точно не страдал, поскольку вообще не имеет к таковым переживаниям способностей: страдали, разумеется, люди — и вовсе не так, как при просмотре рекламного ролика «Хлеб и „Рама”» мучаются от невозможности из-за задержек зарплаты купить хлеб!) А посему и тоталитарный режим в СССР явился следствием не людоедской политической практики и не результатом алчности народа — алчности живо откликнувшегося на санкционированный властью лозунг «Грабь награбленное», — а просто возник из-за свирепствующей в Европе политической пандемии. Вывод утешительный: виноваты не люди, виноваты некие микробы (вот бы узнать, какие именно?), которые к 1939 году заразили не только СССР и Германию, но и: Италию, Болгарию, Испанию, Албанию, Португалию, Польшу (точнее, то, что от нее пока еще очень недолго оставалось!), Литву, Югославию, Австрию, Эстонию, Латвию, Грецию... Список внушительен, и находиться в нем совсем не зазорно, а даже отчасти и престижно, тогда как всяческие разговоры об исторической вине России вести и вовсе неуместно: пусть уж лучше Эстония с Латвией оправдываются: это там, наверное, дымили печи крематориев и миллионы до-

ходили на лесоповалах!² А с другой стороны — и вовсе не страшно: ну, придут некие умеренные «тоталитаристы» и навеки отвратят от России угрозу нависшего над ней вследствие деятельности либеральных монетаристов хаоса.

Вывод вполне очевиден: в XX веке мы пережили две утопии — утопию социализма и не менее разрушительную утопию либерального монетаризма. Теперь самое время наметить правильный путь, избегающий крайностей и соединяющий достоинства обоих прежних. И то обстоятельство, что такими же поисками занимается внушительная армия высокооплачиваемых чиновников, левой европейской профессуры и туземных сидящих без зарплаты мэнээсов, не должно смущать независимого исследователя.

«Выход из взаимопредлагаемых рыночных и идеологических тупиков» видится тебе в «радости осмысленного самоограничения»: монастырь, полагаешь ты, «актуальная модель жизни, в том числе вполне светской». Модель-то, в общем, может, и хороша, но, боюсь, понравится далеко не всем: «самоограничение» — решение исключительно индивидуальное (как и уход в монастырь). И представить себе, что после осеннего кризиса общество, дотоле отличающееся экзотическим электоральным поведением и регулярной безудержной скупкой долларов, сахара, крупы и подсолнечного масла по любому поводу и даже вовсе без такового, — что это самое общество в одночасье проникнется «моралью добровольной аскезы» и начнет *добровольно брать не больше кило в одни руки*, а «богатые и просто обеспеченные... люди» прекратят пистолетно-автоматную пальбу в ночных клубах и на «стрелках», перестанут взрывать пластиковой взрывчаткой «шестисотые» конкурентов и начнут раскатывать по городам и весям на очень недорогом и к тому же имеющем славу «отечественного» автомобиле «Москвич», солидарно предьявляя бедным добровольно принятое самоограничение... Но вот что же делать с той частью общества (а она может оказаться не столь уж малочисленной), которая в силу разных причин (например, потому, что *это все — мое*: мною заработанное, полученное в наследство и проч.) не захочет добровольно самоограничиваться в пользу пьяницы, неумехи или просто неудачника? Хотя над этой проблемой не стоит голову ломать: в нашей стране методы работы с такими социально несознательными группами столь разнообразны, что всегда найдется, из чего выбрать.

Впрочем, я никак не склонен приписывать тебе какую-то кровожадность: ты предлагаешь самый мягкий, гуманный способ переделки общества — через благотворительность, то есть, насколько я понял, создание вокруг «фигуры благотворителя» поля высокого культурного напряжения, «раскрутку» их имиджей с помощью СМИ. Идея опять-таки куда как хороша, но, как однажды ответил Папа Римский на соловьевские предложения по объединению Церквей: «*Bella idea, ma fuor d'un miracolo e cosa impossibile*»³.

Действительно, возможно ли такое без чуда? «Благотворительность должна быть системной и объективно соответствующей потребностям общества». (Интересно, *кто* будет поддерживать эту системность и, главное, определять соответствующую «потребности общества»?)

То есть сначала надо определить «объективно существующие потребности общества» и в соответствии с ними произвести «добровольное самоограничение богатых и обеспеченных людей». В качестве институции, которой выпадет этим заниматься, ты предлагаешь «конкурсный отбор независимыми эксперта-

² Мысль о «пандемии» диктатур в Европе первой половины XX века вовсе не смешна, как изображено А. Носовым, а для многих, напротив, слишком очевидна. Вот, к примеру, пассаж из недавней публицистической статьи: «...после Первой мировой войны почти все страны Европы: Португалия, Испания, Финляндия, Румыния, Болгария, Италия, Германия — переболели тоталитаризмом» («Известия», 1998, 25 декабря). Этим, конечно, не отменяется уникальность *нашего* (хотя бы в силу его семидесятилетней длительности) тоталитаризма, но между тем... Между тем правительства ряда стран с «мягкими» диктатурами, хотя действительно не устраивали гулаговских лесоповалов, однако участвовали в *холокосте*. Впрочем, возможно, это представляется мелочью... (*Путунное замечание отдела критики.*)

³ Прекрасная мысль, но без чуда вещь невозможная (*итал.*).

ми инициативных благотворительных проектов». Но, во-первых, где ты доколе видела хоть один-единственный независимый экспертный совет? Разве что понадеяться на клонирование, так это когда будет... Во-вторых, благотворительность есть жертвование собственных денег и именно на то, на что жертвователь пожелает их истратить. Если желающему отвалить миллион на прыжки голого Кулика по Красной площади независимые и умные эксперты предложат передать этот миллион на концерт Хворостовского, то денег не будет — ни у Кулика, ни у Хворостовского, ни у кого бы то ни было другого. Остается единственный и проверенный способ: собирать налоги через ГНС и распределять через Минкульт...

Тем, кажется, все и закончится. Во всяком случае, это реальная процедура, а не очередная утопия, которая, хотя и претендует на некий «третий путь», неминуемо вернет нас к первому.

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — АЛЕКСАНДРУ НОСОВУ*

Ты не прав, благотворительность — не утопия. 16 декабря в Большом зале консерватории состоялся концерт, посвященный первому посмертному дню рождения Георгия Васильевича Свиридова. Денег на этот концерт на счете Благотворительного фонда Свиридова после дефолта не было (к слову, на создание фонда у меня ушел год каждодневной — трудоемкой и черновой — работы, проводившейся, как раньше говорили, «на общественных началах»; благодаря этой работе смог подготовиться к свиридовским концертам Большой Симфонический оркестр и в самый трудный момент своей биографии выжить Московский Новый хор — коллектив, который еще сделает честь нашей культуре, да уже и теперь обладает высоким художественным авторитетом в мире, — спасибо, кстати, «Новому миру», совершенно бесплатно поместившему анонс хора на своих страницах). Свои личные деньги на концерт 16 декабря дал один из учредителей свиридовского фонда (не уполномочена называть его имя, да и в афишах оно было закамуфлировано названиями организаций). А ведь это был не просто концерт, а концерт, который для многих стал открытием, даже для самих музыкантов, увидевших переполненный зал и совершенно особые лица слушателей, пришедших не на светское мероприятие, а туда, где они ожидали — и не вотще — прикосновения к смыслу собственной жизни.

Вот краткий ответ тебе, превосходному знатоку того пласта русской культуры, где именно благотворительность была органичным выражением мировоззрения, а не пиаровскими прибабасами, в которые она превратилась в России 90-х (из этого унижительного состояния ее и надо вытащить во что бы то ни стало).

А более развернутый ответ может начаться с переадресации тебе того, в чем ты меня упрекаешь: с идеологической аберрации, проявленной не столько в словах, сколько в стиле. Думается, апеллировать к советским анекдотам, рассматривая столь серьезные угрозы, как мировая депрессия, есть стилистическая маркировка. Она означает пребывание на советской идеологической отметке «а нам все равно, а нам все равно».

Невыносимая легкость бытия и бытийного выбора воспитывалась у нас позднесоветским оптимизмом — он раздражал, ему не верили, но культурная атмосфера была им проникнута, и поэтому на бессознательное он действовал, сколько ни читали иные Хайека. «У них» тот же легковесный оптимизм был сформирован беспрестанно апеллирующей к счастью рекламой, — все дело, как известно, в волшебных пузырьках. Мне кажется, по-разному внушенная

* Отстаиваемые мною взгляды пока что не заслужили Государственной премии России — вопреки ошибочному указанию в № 1 «Нового мира» за 1999 год, где опубликована обсуждаемая статья, на мою принадлежность к числу удостоенных этой высокой награды. Что ж, и опечатки бывают почетными.

тамошними и здешними идеологическими терапевтами вера в то, что «все у нас получится», сформировала и наш энтузиазм эпохи Васильевского спуска. Можно быть ему верным, как собственной юности, и не видеть, что дело не в коммунистах или либералах-монетаристах (которые у нас все имели коммунистическое прошлое и потому с коммунистами образуют единый организм, как долги СССР с постсоветским либеральным воровством), а в несрабатывании в новых условиях всех прежних моделей общественной организации.

Оказывается, все еще трудно воспринять мысль, что суть не в «борьбе двух систем», не в тех «или — или», которые глубинно-мнимым образом дифференцировал XX век, а в подлинно Ином, которое следует искать. И которое уже ищут: по-своему — рядовые обыватели, с новой истовостью уверовавшие в сглаз и средства борьбы с ним; по-своему — всемирный олигарх Дж. Сорос, рефлектирующий о кризисе капитализма, да и я тоже — по-своему.

Бог с ней, с рекламой НТВ+ (о которой ты сам пишешь, что она предлагает выбор между одинаковыми кучами дерьма, — и вольно же считать такой выбор, во-первых, выбором, а во-вторых, радостным). А вот как насчет торговли акциями через INTERNET в системе on line, которая подключает к мировому фондовому и финансовому рынку миллиарды неквалифицированных домохозяек? Это же сбывшаяся и переросшая самое себя мечта Ленина о кухарке, управляющей государством: кухарка воздействует на глобальную экономику. Предположим, прочтут кухарки, что, например, Билл Гейтс объелся грибами (а прочтут нечто подобное обязательно, СМИ живут сенсациями), сбросят свои акции, начнет заваливаться транснациональная монополия, разовьется эффект домино (какой мы, собственно, сейчас и наблюдаем, только не из-за грибов, которые ты, мой давний коллега и приятель, знаешь, дороги мне так же, как тебе Васильевский спуск).

Современный глобальный мир, в котором экономика из государственно-суверенных островов превратилась в не знающий границ океан, требует новых решений. Одна из них — отказ от жадности, системная благотворительность, подтягивающая уровень жизни тех, у кого есть чистый воздух (например, Бразилии) или культура, сохранившая императивность идеального (например, России), до уровня жизни тех, у кого есть технологии и кем уже освоены мировые рынки, но нет лесов, производящих воздух, или аскетов, производящих высокую культуру. Этот отказ до сих пор санкционировался только мировыми религиями. Именно их кризис привел либерализм к краху (тоталитарные общественные модели, эрзац-религиозные, были соломенными плотинами на пути магистрального процесса).

Сам по себе рынок к этому самоограничению не придет. Но зато обвалится. Возможно, есть и другие, собственно управленческие, решения. Не будучи специалистом ни в чем, кроме грибов, музыки и культурной герменевтики, не решу о них говорить.

Дорогой друг мой Александр Алексеевич! Не я придумала эту гласную перепишу. Мне публичность, лично окрашенная, вообще говоря, претит. Но, Саша, неужели действительно нельзя искать третьего пути, когда первые два — в очевидном тупике? Или ты не знаешь, как села сегодня на мель Япония, как ее деньги, если их вдруг начнут вынимать из банков США, посадят на мель единственную теперь сверхдержаву? Тебе все кажется, виноваты коммунисты? А про мейнстрим (в данном случае — объективные тенденции к мировому кризису, проявляющиеся и в стационарных, и в переходных экономиках) ты слыхал? Так, может быть, следует все-таки озаботиться и думать, а не анекдоты рассказывать?



МИР НАУКИ

ГЕНЕТИКА, ОБЩЕСТВО, БИОЭТИКА

ЛЕОНИД КОРОЧКИН

*

В ЛАБИРИНТАХ ГЕНЕТИКИ

Об овечке Долли я узнал из телевизионных передач. Для тех, кто всю жизнь занимался эмбриологией и генетикой, сообщение это не выглядело убедительным. Поэтому на следующий день я обратился к Интернету и удостоверился, что Долли действительно существует — шотландский эмбриолог из Эдинбурга Ян Вильмут, руководитель лаборатории в Рослинском университете, опубликовал в престижном журнале «Nature» статью. В ней он сообщил, что им разработан метод клонирования животных, на основе которого и получена овечка, содержащая генетический материал взрослой овцы. После этого Вильмут заявил, что технически возможно осуществить и клонирование человека, хотя в этом случае возникают моральные, этические и юридические проблемы, связанные с манипуляциями над эмбрионами человека. Казалось, перед генетикой открылись новые заманчивые перспективы, ученые стали задумываться над глобальными проектами, всерьез обсуждать этическую сторону проблемы, а наиболее предприимчивые «организаторы науки» наперебой бросились доставать деньги под это дело.

Высокопоставленные чиновники из Комитета по геополитике Государственной Думы ничтоже сумняшеся торжественно провозгласили, что готовы финансировать работы, в результате которых уже через два года будут клонированы животные и человек. Диву даешься, как может Дума планировать столь бездумное и безответственное растранивание государственных средств, которые с гораздо большей пользой можно употребить на поддержку заведомо реальных и важных научных проектов. Почему-то никто не обратил внимания на то, что даже если у Вильмута было все в порядке, процент выхода рожденных животных оказался ничтожно мал — всего одна овечка из 236 попыток. А что с остальными? Развивались уродами и погибали? И где же, собственно, клон, предполагающий МНОЖЕСТВО копий? И все ли действительно у Вильмута было в порядке, на самом ли деле получил он то, о чем трубили восторженная пресса и телевидение? В одном из январских номеров авторитетного и престижного журнала «Science» появилось сообщение д-ра Витторио Сгарамелла из Университета Калабрия (Италия) и д-ра Нортон Зайндера из знаменитого Рокфеллеровского университета (США), в котором авторы считают, что не представлено убедительных доказательств того, что Долли — продукт клонирования. Кроме всего прочего, оказалось, что три ведущих в данной области лаборатории пытались воспроизвести результаты опытов Вильмута, но безуспешно! Авторы этой статьи указывают и на возможный источник ошибки шотландских эмбриологов. Дело в том, что овца, у которой брали соматические клетки для Долли, была беременна. А известно, что фе-

Корочкин Леонид Иванович родился в 1935 году. Профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями в Институте биологии гена РАН и Институте биологии развития РАН. Лауреат государственной премии, лауреат премии имени Н. К. Кольцова. В «Новом мире» публикуется впервые.

тальные клетки (клетки зародыша) у некоторых животных могут попасть в систему циркуляции (кровоток). Вильмут признал, что совершенно упустил из виду это обстоятельство, и не исключил возможности такого рода просчета в своих экспериментах. Но недавно точными молекулярно-генетическими исследованиями было доказано, что Долли — клонированная овечка и, следовательно, выдвинутые возражения можно считать снятыми.

Однако многочисленные сообщения вроде того, что в Японии уже получили клон человека или что где-то бродят стада клонированных коров, либо ошибочны, либо это сознательная мистификация. Во всяком случае, в серьезной научной литературе подтверждения подобных сообщений отсутствуют. Что тем не менее не помешало клонированию сделаться расхожей темой, привлекающей внимание не только специалистов, но и широкой публики.

По принятому в науке определению клонирование — точное воспроизведение того или иного живого объекта в каком-то количестве копий. Вполне естественно, что все эти копии должны обладать одинаковой наследственной информацией, то есть нести набор генов, идентичных генам «родителя», в отличие от существ, возникших путем естественного размножения, при котором генетический материал двух родителей по-разному смешивается в каждой особи потомства. В ряде случаев получение клона животных не вызывает особого удивления и считается рутинной процедурой, хотя и не такой уж простой. Генетики добиваются этого, используя объекты, способные размножаться не только половым путем, но и посредством партеногенеза, то есть без предшествующего оплодотворения. Поскольку такой процесс контролируется генетически, возможно вывести линии, в которых размножение происходит только партеногенезом. Естественно, те особи, которые станут развиваться из потомков той или иной исходной половой клетки, в генетическом отношении будут одинаковыми и могут составить клон. У нас в стране, например, блестящие работы по клонированию такого рода выполняет на шелкопряде с помощью разработанной им специальной методики академик Владимир Александрович Струнников. Выведенные им клоны шелкопряда славятся на весь мир. Он, однако, отмечает, что клонированные особи не идентичны друг другу, но оказываются разнообразными по целому ряду так называемых количественных признаков — величине, продуктивности и плодовитости. В ряде клонов это разнообразие бывает большим, чем в обычных генетически разнообразных популяциях.

В эмбриологии тоже известны методы получения клонов. Если зародыш морского ежа на стадии раннего дробления искусственно разделить на составляющие его клетки — бластомеры, то из каждого разовьется целый организм. В ходе последующего развития зародышевые клетки теряют эту замечательную способность и становятся все более и более специализированными. Можно также использовать ядра так называемых стволовых эмбриональных клеток от какого-нибудь конкретного раннего эмбриона, которые еще не являются очень специализированными (таковым будет их потомство). Эти ядра пересаживаются в яйцеклетки, из которых удалено собственное ядро, и такие яйцеклетки, развиваясь в новые организмы, опять-таки могут образовать клон генетически идентичных животных. У человека известны случаи своеобразного «естественного» клонирования — это так называемые однойцевые близнецы, которые возникают благодаря редко встречающемуся естественному разделению оплодотворенной яйцеклетки на два отделяющихся друг от друга и в последующем самостоятельно развивающихся бластомера. Они очень похожи друг на друга, но все же не идентичны!

Однако нынче речь идет о другого рода клонировании, а именно о получении методом пересаживания ядра соматической клетки взрослого индивида в яйцеклетку, из которой ее собственное ядро предварительно удалено, ряда точных копий того или иного взрослого животного. При этом животного, «прославившегося» какими-то своими выдающимися качествами (например, рекордные надой молока, высокий настриг шерсти и т. д.). А возможно, ученого мужа, или политика, или артиста, особо ценного для человечества в силу

его, скажем, гениальности. Вот тут-то и возникают весьма и весьма большие сложности, в которых нам предстоит разобраться.

Первый форум, на котором всерьез рассматривалась проблема клонирования животных, был Международный генетический конгресс в Беркли (США) в августе 1973 года, в котором мне довелось участвовать в составе достаточно представительной делегации из СССР и где я впервые столкнулся с социальными аспектами клонирования. Когда мы явились утром на торжественное открытие конгресса, то были удивлены и потрясены тем, что вместо организаторов нас встретило плотное оцепление из дюжих полицейских, вооруженных автоматами. Что же случилось? Оказывается, студенты университета прослышали, что на конгрессе будет обсуждаться проблема клонирования, и пригрозили разорвать на куски безответственных и зловредных генетиков, которые, как они почему-то считали, собираются клонировать Ленина, Гитлера, Сталина и прочих подобных им преступников. В университетском городке шли митинги и демонстрации протеста, ораторы клеймили позором участников научного форума, распространялись листовки, над конгрессом сгустились тучи студенческого гнева, возникла угроза его срыва. Организаторы не на шутку перепугались, писали в газетах, выступали по телевидению, пытались объяснить не в меру разгоряченной молодежи, что речь пойдет не о клонировании людей, а всего лишь о возможности копировать хозяйственно полезных животных — например, коров. Закончилось все благополучно — американские студенты оказались людьми понятливыми и благоразумными, они угомонились и в конце концов пригласили всех участников конгресса на пикник, где за выпивкой и закуской шли мирные беседы с дружескими объятиями. А на конгрессе между тем было отмечено, что проблема клонирования вовсе не так проста, как первоначально думали, имеется множество подводных камней и рано строить рассчитанные под клон коровники, не говоря уж о клонировании человека.

...А начиналась вся эта история в далекие 40-е годы, когда российский эмбриолог Георгий Викторович Лопашов разработал метод пересадки (трансплантации) ядер в яйцеклетку лягушки. В июне 1948 года он отправил в «Журнал общей биологии» статью, написанную по материалам его экспериментов. Однако, на его беду, в августе 1948 года состоялась печально известная сессия ВАСХНИЛ, утвердившая по воле партии беспредельное господство в биологии печально известного Трофима Лысенко, и набор статьи Лопашова, принятой было к печати, рассыпали, потому что она доказывала ведущую роль ядра и содержащихся в нем хромосом в индивидуальном развитии организмов. Работу Лопашова забыли, а в 50-е годы американские эмбриологи Бриггс и Кинг выполнили сходные опыты, и приоритет достался им, как часто случалось в истории российской науки.

В дальнейшем Джон Гердон из Великобритании усовершенствовал методику и, удаляя из яйцеклетки лягушек собственное ядро, пересаживал в нее разные ядра, выделенные из специализированных клеток. В конце концов он дошел до того, что начал пересаживать ядра из клеток взрослого организма, в частности из эпителия (покровные клетки) кишечника. Более того, Гердон добился, что яйцеклетки с чужим ядром развивались в определенном проценте случаев до достаточно поздних стадий. И вот 1 — 2 процента особей проходили стадию метаморфоза и превращались во взрослых лягушек. Впрочем, такие лягушки оказывались не без дефектов, да и выглядели более хилыми по сравнению со своим «родителем» (донором ядра), так что даже в этом случае едва ли можно говорить об абсолютно точном копировании. Тем не менее вокруг достижений британского ученого поднялся большой шум. И вот тут-то заговорили о клонировании млекопитающих и человека: если можно клонировать лягушку, почему бы не попробовать то же самое на других объектах. Появились научно-фантастические рассказы о человеческих клонах, творящих то добро, то зло, используемых то тупыми солдафонами, то недалекими политиками. На эти темы снимали кинофильмы, а иные сердобольные мора-

листы забеспокоились, как бы не отошел в прошлое гораздо более простой и приятный способ размножения... Интересовались этой проблемой и в России: программа «Клонирование млекопитающих» стояла в плане совместной работы двух лабораторий — моей и академика Дмитрия Константиновича Беляева. В 1974 году я даже выступал на сессии ВАСХНИЛ с докладом, в котором преждевременно заключал, что задача получения клона млекопитающих очень сложна, но принципиально разрешима. Наши начинания сперва неплохо финансировались, но вскоре государство потеряло к ним интерес. Основным выводом, который мы сделали на основе полученных нами результатов, явилось признание бесперспективности трансплантации ядер при попытках получить клон млекопитающих. Эта операция оказалась слишком травматичной, предпочтительнее было применить метод соматической гибридизации, то есть переноса чужеродного ядра с помощью слияния яйцеклетки с соматической клеткой, ядро которой требовалось «поместить» в яйцеклетку. Именно такой подход использовал впоследствии Ян Вильмут. Кстати, его сотрудник посещал Новосибирский институт цитологии и генетики и беседовал с теми, кто когда-то занимался клонированием (это не значит, конечно, что он непременно воспользовался их идеями).

В 70-е годы американец швейцарского происхождения Карл Иллмензее опубликовал статью, из которой следовало, что ему удалось получить клон из трех мышек. И вновь «клональный бум» вытеснил все остальные научные новости, вновь зазвучали фанфары, возвещавшие об осуществлении вековой мечты человечества о бессмертии, достижимом, впрочем, своеобразным способом — через искусственное производство себе подобных копий. Горечь разочарования не заставила себя ждать: в научной среде поползли слухи о том, что в опытах Иллмензее что-то нечисто, что их никому (даже самым искусным экспериментаторам) не удастся воспроизвести... В конце концов создали авторитетную комиссию, поставившую на работе Иллмензее крест: ее признали неустойчивой. Таким образом, по самой проблеме был нанесен весьма болезненный удар, оказалась под сомнением ее разрешимость. На какое-то время воцарилось спокойствие. И вдруг как гром с ясного неба — овечка Долли!

Конечно, получение этой овечки — существенное научное достижение, из которого можно сделать важнейшие заключения о глубине изменения клеточных ядер в процессе дифференциации клеток. Дело в том, что в ходе индивидуального развития организма в ядрах клеток различного типа происходит ряд изменений: одни гены активно работают, другие — инактивируются и молчат. И чем более специализирован организм, чем выше ступенька эволюционной лестницы, на которой он стоит, тем эти изменения глубже и тем труднее обратимы. У некоторых организмов — например, у известного кишечного паразита аскариды — генетический материал в будущих зародышевых клетках остается неизменным в ходе развития, а в других, соматических, клетках из хромосом выбрасываются большие фрагменты ДНК — носителя наследственной информации (в подобных случаях ни о каком клонировании, естественно, не может быть и речи). В красных кровяных шариках (эритроцитах крови) птиц ядра «сморщиваются» в маленький комочек и не «работают», а потому из эритроцитов млекопитающих, стоящих эволюционно выше птиц, вообще выбрасываются за ненадобностью. У плодовой мушки дрозофилы эти процессы — селективное умножение или, наоборот, недостача каких-то участков ДНК, по-разному проявляющиеся в разных тканях, — выражены особенно четко. Уже упоминавшийся Карл Иллмензее выполнил блестящее исследование по трансплантации «зрелых» ядер, выделенных из клеток дрозофилы, в развивающуюся яйцеклетку этого насекомого для того, чтобы выяснить их способность обеспечивать развитие мухи. Оказалось, что в этом случае эмбрионы развиваются только до определенных стадий и с отклонениями от нормы, то есть с появлением уродств. Следовательно, в ходе развития в «зрелых» ядрах дрозофилы происходят необратимые изменения и они теряют способность давать начало целому нормальному организму.

Кроме того, сейчас много говорится еще об одной работе, в которой показано, что в соматических клетках в ходе их развития хромосомы последовательно укорачиваются на своих концах, в зародышевых же клетках специальный белок теломераза достраивает, восстанавливает их, то есть полученные данные опять-таки свидетельствуют о различиях между зародышевыми и соматическими клетками.

Если даже у лягушки — существа менее развитого и, соответственно, с менее четко выраженными ядерными изменениями — и то процент успеха при клонировании, как уже упоминалось, весьма низок, то в случае млекопитающих сложности многократно возрастают. Успех будет зависеть от того, удастся ли среди множества клеток «выхватить» такую очень редко встречаемую, у которой ядро еще не утратило свой потенциал. Либо же решать проблему, как вернуть изменившиеся ядра соматических клеток в исходное состояние.

Не случайно сегодня особый интерес вызывают опыты группы ученых из университета в Гонолулу во главе с Риузо Янагимачи. Авторы сумели усовершенствовать метод Вильмута: они отказались от электрической стимуляции слияния донорской соматической клетки с яйцеклеткой и изобрели такую микропипетку, с помощью которой удалось «безболезненно» трансплантировать ядро. Кроме того, они использовали в качестве донорских ядра клеток, окружающих яйцеклетку. Процент «выхода» рожденных мышат (их извлекали с помощью кесарева сечения) был в разных сериях от 2 до 2,8. Молекулярные исследования, как и в случае с Долли, подтвердили: мышата — продукт клонирования. Таким образом, по крайней мере в некоторых случаях доказана способность ядер соматических клеток обеспечивать нормальное развитие млекопитающих.

Но и эти результаты еще не позволяют всерьез говорить о клонировании, а тем более — о «копировании» человека. Действительно, допустим, что трансплантировали развивающиеся яйцеклетки с чужеродными ядрами нескольким сотням (если не тысячам!) приемных матерей (процент выхода-то низкий! И скорее всего, его не удастся существенно повысить), чтобы получить хотя бы единственную (тут уж не до клона!) рожденную живую копию видного политического деятеля, как обещал по телевидению один из лидеров ЛДПР Митрофанов. А думают ли о том, что будет с остальными зародышами? Ведь большая часть их погибнет в утробе матери или разовьется в уродов, часть которых, не дай бог, родится. Представляете себе — сотни искусственно полученных человеческих уродов? Полагаю, что это было бы не только аморально, но и преступно, а потому вполне естественно ожидать принятия закона, запрещающего подобные эксперименты. Совет Европы уже принял соответствующее решение, теперь очередь за Россией! Кроме всего прочего, в генетике есть такое понятие, как норма реакции. Это степень колеблемости в проявлении признака, контролируемого тем или иным геном. Например, существует ген пегости, от которого зависит пятнистая окраска животного. И этот (один и тот же) ген у разных животных может вызвать как образование, например, отдельных единичных темных пятен на светлом фоне, так и почти полное «потемнение» тела. Степень «потемнения» зависит от влияния многих других генов (каждый из которых имеет свою норму реакции), от воздействия внутренней (которая у разных приемных матерей будет разной) и внешней среды (температура, влажность, содержание кислорода и всяких других веществ в воздухе, уровень радиации и прочее). Спрашивается, велика ли вероятность точного воспроизведения свойств «клонированного» образца?

Вообще же, если речь идет о млекопитающих, такого рода опыты целесообразно продолжать, но на мышах, крысах и кроликах. Стоить они будут много дешевле, чем, скажем, опыты на коровах, а результат — тот же самый: ответ на принципиальный вопрос о характере изменений ядер в ходе индивидуального развития чрезвычайно важен для становления генетики. Большие же деньги, требуемые для работ по клонированию сельскохозяйственных животных, лучше использовать для поддержки исследований по получению транс-

генных животных, содержащих полезную чужеродную информацию (например, коров или коз, способных вместе с молоком продуцировать полезные лекарственные вещества вроде инсулина), генотерапии (лечения путем искусственного введения нормальных генов, исправляющих дефекты в обмене веществ), геному человека, генной инженерии. Я далеко не консерватор — напротив, всегда рад новым революционизирующим научным открытиям, по мере сил и возможностей поддерживаю их и пропагандирую, но через клонирование млекопитающих прошел на практике и сейчас твердо убежден в справедливости всего вышесказанного. Наверное, мои выводы огорчат читателя, но лучше горькая истина, чем сладкая ложь.

Отцом генетики принято считать чешского монаха Грегора Менделя, в тиши монастырского сада открывшего основные законы этой науки более ста тридцати лет тому назад. Но у генетики был и «дед» (а может, правильнее сказать — «прадед»), который жил в далеком IV веке по Р. Х. Звали его Аврелий Августин. И был он не только епископом и одним из самых почитаемых учителей Церкви, но и весьма наблюдательным и очень любопытным человеком... Разводил рыбок и приучал их брать корм в определенном месте аквариума. Заметил, что есть «умные» рыбки, которые быстро обучаются, и «глупые», которые плохо соображают. Но самое интересное наблюдение Августина касалось как раз того явления, которое мы называем наследственностью, — потомки рыбок обучались точно так же, как и их родители: от «умных» получались «умные», от «глупых» — «глупые». Аврелий Августин намного опередил свое время — в науке интерес к наследственности пробудился где-то в XVIII веке, а Мендель родился спустя четырнадцать веков после Августина. Однако и на его законы сначала не обратили внимания — слишком многие привычные, вошедшие в плоть и кровь естествоиспытателей представления они ломали. Лишь когда в начале нашего века Менделя «переоткрыли» Гуго де Фриз, Э. Чермак и К. Корренс, по-настоящему возник «менделизм», возникла генетика. Вскоре американский зоолог и эмбриолог Томас Гент Морган установил, что носители наследственных задатков, гены, «привязаны» к определенным структурам клеточного ядра — хромосомам, и создал тем самым хромосомную теорию наследственности. С тех пор генетики многое узнали, добились фантастических успехов и в теории и на практике, вывели множество пород животных и сортов растений, обнаружили наследственные болезни человека, а иногда, поняв их механизмы, научились лечить; «придумали», наконец, генную инженерию и стали производить такие химеры, которые вызвали беспокойство «зеленых», а то и призывы категорически запретить ученым осуществлять манипуляции над генетическим аппаратом (сейчас, впрочем, существует регламентация для проведения такого рода опытов).

Ныне генетика интересна всем. Она привлекает умы и проникновением в сущность живого, и своей юношеской дерзостью, даже некоторой экзотичностью. И не случайно идут разговоры, что в XXI веке неизбежно произойдет смена лидера в естествознании: на место физики встанет генетика. Не знаю, будет ли так на самом деле, но в одном убежден твердо: среди биологических дисциплин генетика сохранит свое ведущее положение. Многие думают, что «становой хребет» современной биологии — эволюционное учение. Я не могу с этим согласиться и считаю, что таким «хребтом» может быть только генетика. Действительно, если эволюционное учение вдруг изъять из биологии, изменится ли существенно облик этой науки? Нет, в ней просто будет отсутствовать эволюционное учение. Существенный пробел! Но не катастрофический: почти все отрасли биологии останутся на современном уровне. А если из биологии убрать генетику? Она не просто изменится, она практически вернется на уровень прошлого века! В том числе и эволюционное учение, которое, в общем ничего не дав генетике как таковой, само в значительной степени строится на генетических постулатах. Сегодня физика и генетика занимают как бы вершинные точки в двух разных, но ключевых направлениях челове-

ческого познания и пользуются повышенным вниманием философов, а в определенных условиях и идеологических кругов.

Вторжение генетики в жизнь общества ощутимо и значимо, что совсем недавно было продемонстрировано в нашумевшей истории с царскими останками. Когда были обнаружены следы одного из самых диких большевистских злодеяний и возникли сомнения в подлинности останков, обратились именно к генетикам. В конечном счете за ними было решающее слово в возникшей дискуссии, носившей в основном политический характер, прикрытый всякого рода соображениями якобы высшего порядка. Генетики на поставленный перед ними вопрос ответили однозначно и положительно. Опыты, проведенные российским генетиком Павлом Ивановым совместно с западными коллегами, а затем другим российским генетиком, Евгением Рогаевым, позволяют утверждать, что это действительно останки царской семьи. Не всем власть предержащим это понравилось, и в печати началась постыдная и кошунственная дискуссия, участники которой о науке-то фактически забыли.

Так произошло очередное «столкновение» генетики и политики, вот почему власти столь внимательно поглядывают на эту науку, оценивая ее возможности так или иначе вмешиваться в отлаженную уже систему общественной жизни и решая, в какой степени можно позволить или запретить это вмешательство. Хорошо известны значительные финансовые вливания в те отрасли генетики, которые приносят пользу сельскому хозяйству или медицине. Еще лучше известны запретительные меры, принимаемые не только в России, но и во всем мире. У нас в свое время (позорное для страны) запретили генетику в целом, поскольку она стояла костью в горле господствующей идеологии, в Америке хотели запретить генную инженерию, испугавшись, как бы та не создала возбудителей новых страшных заразных болезней, в ряде стран разрабатываются проекты или принимаются решения о запрете экспериментов по клонированию человека, что, по-моему, справедливо. Особенно усердствуют в этом направлении «зеленые» и различного рода общества по охране животных, в США известны случаи, когда они совершали налеты на виварии и выпускали на волю бесценных экспериментальных животных, срывая очень важные опыты.

К сожалению, такие действия порою имеют под собой определенные основания — жестокое обращение ученых с подопытными животными (иногда, кстати, и с больными пациентами). Я знаю одного диссертанта-медика, который дразнил голодную собаку мясом, а затем беспощадно избивал, чтобы вызвать у нее гипертоническую болезнь, другой без наркоза ломал кости кроликам, чтобы изучать их регенерацию. Потому-то есть потребность в разработке определенного кодекса биологической и медицинской этики, который исключал бы проявления неоправданной жестокости при постановке биологических или медицинских экспериментов. Составлять его должны ведущие специалисты в этой области и знающие предмет юристы, иначе появится нечто подобное проекту закона о биоэтике, представленному в Государственную Думу, — среди его составителей никому не известные врачи и юристы да двое православных священников, по-видимому не очень сведущих в биологии. И это при том, что среди священства есть весьма компетентные в данном отношении люди, как, например, один из самых талантливых в прошлом наших генетиков — отец Александр Борисов! В проекте предлагается практически полностью запретить работы по трансплантации тканей, что поставит под угрозу уничтожения целую важную и эффективно работающую отрасль медицины — трансплантологию. Не проконсультированы со специалистами и части проекта, касающиеся ограничений в области генной инженерии и генотерапии. Спорен вопрос о запрете абортов, если они делаются без медицинских на то показаний. Не случайно представленный в Думу проект был критически воспринят научной общественностью, включая крупнейших специалистов в сфере медицинской генетики — академиков Российской академии медицинских наук В. И. Иванова и Н. П. Бочкова. Уж если принимать такой закон, то нужно предварительно организовать публичное его обсуждение в печати и по

телевидению, а не прятаться в закутках думских кабинетов. Разумеется, авторы в своей «запретительной» деятельности руководствовались благими намерениями, но ими, как известно, выстлана дорога в ад¹.

У генетики множество аспектов, имеющих выход в социальную, политическую и этическую сферы. Например, вопрос об использовании достижений этой науки в целях улучшения человеческой «породы». Всерьез задумывались об этом нацистские руководители и преданные им представители биологии в Германии в 30-е годы, усиленно разрабатывавшие расовую теорию. Однако подобные идеи, которым несправедливо присвоили название «евгеника», были чужды мировому генетическому сообществу, воспитанному в гуманистическом и демократическом духе. В действительности и основоположник евгеники Фрэнсис Гальтон, и такие видные генетики, как Н. К. Кольцов, Г. Мёллер, Ю. А. Филипченко, отводили этому разделу генетики совсем другое место и роль — применение генетических знаний для охраны здоровья человека. Наш соотечественник Феодосий Добржанский, которому пришлось бежать от большевиков в Америку и которого называют Дарвином XX века, понимал под евгеникой пропаганду элементарных генетических знаний и проведение медико-генетических консультаций. Он полагал, что носителей генетических дефектов надлежит убеждать, что в их состоянии нет какой-либо вины, греха или позора. Следует также поставить их в известность о возможных последствиях для их потомства. Никто, кроме носителя генетических дефектов, не должен решать вопрос, следует ли ему иметь детей. Вот что такое на самом деле евгеника!

В большевистской России власти, не разобравшись в сути дела, объявили евгенику реакционной буржуазной лженаукой и ударились в другую крайность — фактически запретили изучать генетику человека, а заодно и медицинскую генетику, полагая, что все это — производные расизма. А ведь эти направления генетики, столь нужные для сохранения здоровья человека, возникли именно в нашей стране благодаря усилиям таких выдающихся ученых, как С. Н. Давиденков, С. Г. Левит, И. И. Агол, и других. Но воплотить их идеи в жизнь в полной мере не удалось, поскольку партия «заботилась» о науке.

Эта же «забота» существенно задержала развитие такого важного раздела генетики, как генетика поведения. Человека полагалось считать плодом чистого воспитания, с помощью которого можно лепить любую «продукцию» из исходного, абсолютно одинакового, ничем не различающегося человеческого «материала» (именно так трактовалось понятие «равенство»). А генетики утверждали, что многие не только физические, но и психические качества определены генетически и лишь частично поддаются влиянию среды и внешней коррекции. Изучение генетики поведения совершенно необходимо, это позволяет понять механизмы патологических отклонений (в том числе и преступности) в поведении человека, выявить способности к тем или иным видам творческой деятельности. Наверное, многие помнят, сколь жестоко поступали в нашей стране с гомосексуалистами, объявляя их врагами коммунистической морали, продуктами разложения общества, инспирированного агентами мирового империализма. Но вот оказалось, что случаи гомосексуализма обнаруживаются у представителей самых разных видов животных, даже у насекомых. Более того, американские генетики доказали, что у дрозофилы этот признак

¹ Уже после того, как статья Л. Корочкина была подготовлена к печати, стало известно, что на рассмотрение Государственной Думы представлен группой депутатов новый проект закона об этике научных исследований — и он предполагает еще более радикальные запретительные меры в самых разнообразных научных отраслях, но в первую очередь опять-таки в генетике. В составе редколлегии «Нового мира» нет людей, достаточно компетентных в биологии, чтобы мы могли сформировать здесь некое собственное мнение и занять четко определенную позицию. Однако представляется не лишним напомнить мысль, которая была весьма важна для Л. Н. Толстого: в вопросах нравственных не существует общих решений. Мы приглашаем профессиональных философов, а также специалистов в естественных и общественных науках высказаться по данной проблеме. Материалы, которые составят содержательную дискуссию, могут быть нами опубликованы как в рубрике «Из редакционной почты», так и отдельными статьями. (Примеч. ред.)

наследуется, нашли и локализовали определяющий его ген, который затем выделили и изучили тонкое строение последнего. Недавно в лаборатории известного нейрогенетика Дэна Хамера из Института национального здоровья в Бетезде (США) нашли этот ген и у человека, он локализован в половой X-хромосоме. Бесспорно, это открытие генетиков социально и юридически значимо. Оно с очевидностью заставит по-новому взглянуть на некоторые формы поведения, которые расценивали как извращение, вызванное порочным воспитанием, или как болезнь. В связи с этим придется также пересмотреть и некоторые общепринятые нормы морального кодекса.

Вполне естественно внимание общественности и к вопросу о том, может ли передаваться по наследству способность к обучению. В лабораторных условиях с помощью генетических методов можно вывести линии «умных» и «глупых» мышей и крыс, быстро или медленно, хорошо или плохо осваивающих тот или иной навык. Неоспоримо доказана наследственная обусловленность этих различий, а в некоторых случаях найдены морфологические или молекулярные их «причины». Впрочем, вовсе не обязательно животное, «умное» в освоении одного какого-либо навыка, окажется столь же проворным при использовании других тестов для обучения. Иными словами, в других обстоятельствах оно может оказаться и «глупым». Речь, следовательно, идет о наследственной предрасположенности к успешному овладению каким-то конкретным навыком, а не о генетически предопределенной гениальности вообще или тупости.

А как быть с человеком? Некоторые генетики, включая нашего выдающегося ученого Н. Дубинина, а также психологи (например, А. Леонтьев) полагали, будто человек настолько отличен от животных, что установленные у последних генетические способы контроля высшей нервной деятельности к нему неприменимы. Словом, человека в генетическом плане как бы делят на две части — первая, общая с животными, связанная с разными, так сказать, телесными признаками (рост, цвет глаз, волос и проч.), и вторая, отличная от животных и не подчиняющаяся законам генетики, но целиком и полностью складывающаяся под влиянием общественной среды. Мне думается, что никаких оснований для такого разделения нет и законы генетики, присущие всему органическому миру, распространяются на разные стороны жизни человека вплоть до его высшей нервной деятельности. Известно, что у закоренелых преступников, в особенности убийц, часто встречается характерный ряд отклонений в развитии нервной системы. Прежде всего у них недоразвит мозг, что находит отражение в малом размере головы, низком лбе, маленьких, глубоко посаженных глазах. При этом, как правило, заметно выступает громадная нижняя челюсть. Еще одно специфическое свойство: концентрация нервных окончаний (рецепторов) на единицу площади тела и соответственно болевая чувствительность у них резко снижены по сравнению с нормальными людьми. Не следует поэтому удивляться, что они способны выполнить некоторые действия, которые обычный человек просто не в состоянии произвести над собой, как-то: зашить себе рот нитками, или прибить свое тело гвоздями к стулу, чтобы не выходить на работу, либо отрубить собственную руку, дабы выбрали главарем банды. Им просто не больно! Не этим ли объясняется и особая жестокость при многих убийствах, когда преступник наносит жертве множественные раны? Можно предположить, что крики и муки жертвы вызывают у того своего рода иступленный «исследовательский» интерес: убийца не понимает, что чувствует человек, которого режут ножом, — ведь если резать его, он почти ничего не почувствует! Являются ли эти особенности генетически детерминированными? А как же еще? Я не представляю себе, каким образом общественная среда может повлиять на развитие болевых рецепторов. Кроме того, есть данные, что отмеченные здесь и свойственные преступникам признаки могут коррелировать с присутствием в их геноме лишней половой так называемой Y-хромосомы, что сопровождается повышенной агрессивностью и злобностью индивида. В то же время преступник, если он не страдает психи-

ческим заболеванием (шизофрения, эпилепсия, дебильность), отчетливо сознает, что его действия носят противоправный характер. Он, естественно, должен нести ответственность за свои поступки и быть надежно изолирован от общества. Разговоры о перевоспитании уголовников, модные во времена Н. С. Хрущева, лишены оснований, ничего, кроме огромного вреда обществу, они принести не могут. Гуманное отношение к убийцам оборачивается пренебрежением к интересам общества, ибо, когда наши «гуманисты» милуют такого рода нелюдей и в конечном счете способствуют их освобождению, те, как показывает опыт, отнюдь не меняются в лучшую сторону под влиянием проявленного к ним милосердия и, оказавшись на свободе, наверняка лишат жизни еще несколько честных людей.

Еще одно существенное в социальном плане проявление психической деятельности человека — это агрессивность, уровень которой связан с организацией определенных отделов головного мозга, генетически контролируемой в ходе развития организма. Эта проблема была проанализирована лауреатом Нобелевской премии Конрадом Лоренцем в его книге «Агрессия» (М., «Прогресс», 1994). Лоренц привел очень интересные данные социально-психологических исследований, проведенных на индейцах прерий племени юта. Оказалось, что они тяжело страдают от избытка агрессивных побуждений, которые они лишены возможности реализовать в условиях индейской резервации в Северной Америке. Дело в том, что эти индейцы в течение нескольких столетий вели дикую жизнь, складывавшуюся из войн и грабежей. Очевидно, что происходил отбор, усиливавший их агрессивность. Значительные изменения их наследственного «фонда» произошли в относительно короткий промежуток времени. Этому не следует удивляться: при жестком отборе породы домашних животных меняются столь же быстро. В пользу этого предположения говорит и факт, что те индейцы-юта, что воспитывались в других условиях, страдают в не меньшей степени, чем их старшие соплеменники. Кроме того, патологические проявления агрессивности свойственны только индейцам прерий, ибо их племена в наибольшей степени подвергались процессу такого отбора.

Вынужденные постоянно подавлять свою агрессивность, индейцы-юта страдают частыми невротами, многие из них чувствуют себя больными. Как же избавиться от всего этого? Лоренц полагает, что единственный «целительный» путь — сублимирование агрессивных наклонностей в иной вид деятельности, чтобы дать «выход» накопленной энергии и, так сказать, «выпустить пар». Прежде всего это спорт! Переориентировать агрессию — значит обезвредить ее. И соперничество в спорте открывает как раз тот клапан для накопившейся агрессии, который позволяет ей проявиться не в грубых эгоистических формах, а в более специализированных и коллективных, скорее полезных, чем вредных для общества. Еще два дела, объединяющие людей, которые прежде были разобщены и могли проявлять агрессивные намерения по отношению друг к другу, — наука и искусство. Интересно, что, по мнению Лоренца, процесс подобного сублимирования успешно реализуется в том случае, когда в него равно вовлечены рациональная, эмоциональная и интуитивная стороны человеческой психики в их единстве и взаимодействии.

Общество, несомненно, влияет на индивида. И очень сильно. Оно поддерживает или подавляет его развитие в определенном направлении, однако само это направление, а также способность каждого конкретного человека решать те или иные задачи, добиваться успехов в науке, искусстве, спорте или политике, с той или иной степенью полноты реализовать себя как личность в значительной степени контролируются генетически. Американские генетики провели интересные эксперименты на мышах. Они делили только что появившееся на свет потомство этих животных со сходным генотипом (набором генов) на две группы, одна из них «воспитывалась» в условиях «обогащенной среды» (просторная клетка, множество различных «игровых» элементов — лестниц, коробочек и т. д.), другая — в обедненной среде (тесная клетка, отсутствие каких-либо посторонних предметов). Оказалось, что у животных первой группы

способности к обучению были выше и даже толщина коры головного мозга превосходила таковую во второй группе. Конечно, эти различия по наследству не передавались: согласно генетическим законам, приобретенные признаки не наследуются.

Подобным же образом и общество, в зависимости от того, как оно устроено, может подавлять генетически детерминированные качества высшей нервной деятельности или способствовать их развитию, то есть сдвигать норму реакции в ту или иную сторону. От этого зависит его, общества, процветание. Если, например, у нас будут продолжать пренебрегать наукой и незамедлительно не поддержат ее, то Россия никогда не возродится.

А между тем сравнительно недавно по радио «Эхо Москвы» передали заявление некоего высокопоставленного чиновника чуть ли не из Совета Безопасности. В этом заявлении утверждается, будто генетика в нашей стране безнадежно отстала и не заслуживает финансовой поддержки. Надо, дескать, ориентироваться на зарубежные разработки.

Не знаю, чем занимается сей чиновник, но совершенно ясно, сколь далек он от науки и некомпетентен в той области, о которой осмеливается судить.

Российское естествознание всегда славилось своими генетиками, которые уже в 20 — 30-е годы занимали ведущее место в мировой науке. Стоит только вспомнить замечательное созвездие ученых, создававших генетику и вместе со своими западными коллегами сформулировавших ее законы. Это Н. К. Кольцов, С. С. Четвериков, Н. П. Дубинин, Б. Л. Астауров, А. С. Серебровский, И. А. Рапопорт, С. М. Гершензон, С. Н. Давиденков и другие. Была выдвинута концепция о тонкой структуре гена, подтвержденная в наше время, открыт эффект положения гена (зависимость его действия от положения в хромосоме), сформулированы основные принципы популяционной и эволюционной генетики, выдвинута модель самовоспроизведения наследственного материала, открыт химический мутагенез (за это открытие И. А. Рапопорт был представлен на Нобелевскую премию, однако партийное руководство заблокировало эту акцию), заложены основы медицинской генетики и генетики человека. Разгром генетики в 1948 году отбросил нашу страну в этой области на много лет назад, однако возрождение ее в конце 50-х — начале 60-х годов произошло в удивительно короткие сроки благодаря сложившимся традициям и героизму российских ученых. Д. К. Беляевым, Л. В. Крушинским, М. Е. Лобашевым, А. А. Прокофьевой-Бельговской были созданы новые генетические школы. Эти школы внесли ощутимый вклад в сокровищницу мировой науки, в особенности в области эволюционной генетики, генетики поведения, тонкого строения наследственного аппарата клеток. В Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге организовали новые, достаточно мощные институты генетического профиля.

И сегодня, несмотря на чудовищные трудности (практически полное отсутствие государственной поддержки, нищенская, в среднем ниже прожиточного минимума, зарплата ученых), наша генетика живет. Еще сохраняются научные коллективы, которые ухитряются работать на мировом уровне и открывать новые законы.

Перечислю лишь некоторые достижения российских генетиков за годы, прошедшие после ее возрождения в нашей стране.

1. Благодаря работам Вячеслава Василенко из Новосибирска, а также Евгения Свердлова и Андрея Мирзабекова были разработаны основные принципы секвенирования ДНК (определения положения нуклеотидов вдоль цепи молекулы ДНК). В последующем их идеи были использованы американцами, получившими за это достижение Нобелевскую премию.

2. С. М. Гершензон открыл процесс обратной транскрипции (синтез ДНК на РНК-матрице), впоследствии это явление перекоткрыли и более детально изучили Балтимор и Темин в США, за что и получили Нобелевскую премию. А Гершензону не дали даже Государственную, в последний момент исключив его из списка лауреатов из-за наличия «пятого пункта».

3. Г. П. Георгиевым совместно с В. А. Гвоздевым, Н. А. Чуриковым и другими были открыты так называемые подвижные генетические элементы у дрозофилы, что коренным образом изменило наши представления в области строения генетического материала.

4. В исследованиях Льва Зильбера была сформулирована вирусогенетическая теория рака, развитая в трудах его учеников и оказавшая огромное влияние на всю современную онкологию.

5. Школа Ю. П. Алтухова разработала новые подходы к исследованию эволюции популяций животных, в частности рыб, что послужило основой для рекомендаций практическому рыбоводству, внедряемых не только в нашей стране, но и за рубежом. Совсем недавно Алтухов начал разрабатывать новую оригинальную генетическую теорию старения, его работа сулит интересные и принципиально важные результаты.

6. Выдающийся генетик В. А. Струнников научился управлять полом у насекомых и, пользуясь этим, на основе идей А. С. Серебровского разработал метод борьбы с вредными насекомыми, широко применяемый за рубежом («Ориентируйтесь на зарубежные разработки!»). Он же получил и районировал клоны шелкопряда, приносящие колоссальные прибыли, в частности в Узбекистане. Эти достижения Струнникова нашли применение в Китае и Японии. Наконец, он сформулировал новую концепцию гетерозиса (повышения жизнеспособности и продуктивности), успешно применяемую селекционерами-практиками.

7. Периодичность в так называемой морфогенетической активности клеточных ядер (то есть активности, которая оказывает эффект на процессы формообразования) открыл Александр Нейфах. Его открытие чрезвычайно важно для понимания генетических механизмов контроля индивидуального развития.

8. Работами новосибирских генетиков Игоря Жимулева и Елены Беляевой опровергнуты общепринятые в отечественной и зарубежной науке схемы функциональной организации хромосом и предложена принципиально новая концепция, обоснованная богатейшим фактическим материалом. Зарубежные исследователи были вынуждены признать правоту российских ученых (где же «безнадежное отставание»?).

9. Выдающийся вклад в развитие генетической теории эволюции внесли Д. К. Беляев, Н. Н. Воронцов, Ю. П. Алтухов, М. Б. Евгеньев, В. Н. Стегний, М. Д. Голубовский. Открыта роль мутаций, влияющих на функционирование нейроэндокринной системы, обнаружен скачкообразный характер эволюционного процесса и описаны системы генов, которые могут быть ответственны за эти события. Именно российские генетики вдохнули новую жизнь в дряхлеющее эволюционное учение!

Широко известны выдающиеся исследования Беляева по одомашниванию лисиц. Он вывел уникальную линию этих животных, которые по своему поведению напоминают собак, да и во внешнем их облике много собачьего — отвислые уши, собачья шерсть, собачий хвост, порою они лают как собаки. А нынче нет денег на их содержание, и не исключено, что линия эта будет потеряна (дабы в будущем ориентироваться на «зарубежные разработки»).

10. Ученики М. Е. Лобашева в Санкт-Петербурге внесли существенный вклад в развитие молекулярной генетики (С. Г. Инге-Вечтомов и его школа) и генетики поведения (В. В. Пономаренко, Е. В. Савватеева, Л. З. Кайданов, Н. Г. Лопатина, Н. Н. Камышев и другие). У дрозофилы выделены мутанты, которые характеризуются выдающимися способностями к обучению при нормальной температуре и плохо обучаются при повышенной температуре. Разработаны новые методы анализа генетически детерминированных особенностей поведения дрозофилы и млекопитающих, отселекционированы линии мух с высокой и низкой половой активностью и выявлены молекулярные основы различий между ними. Соответствующие экспериментальные модели, созданные авторами, широко используются не только в нашей стране, но и за рубежом. Их значение для прогресса в области генетики поведения трудно переоценить.

11. В Институте биологии гена РАН Г. П. Георгиевым, Л. Л. Киселевым и другими выявлены гены, ответственные за процессы метастазирования при заболевании раком.

12. Сотрудники этого же института совместно с Институтом биологии развития РАН, Институтом морфологии человека РАМН и клиникой Склифосовского успешно работают в направлении использования методов генотерапии для лечения неврологических заболеваний, в частности болезни Паркинсона, получены предварительные обнадеживающие результаты.

13. Сотрудником Центра психического здоровья Е. И. Рогаевым совместно с западными коллегами выделен и исследован ген старческого слабоумия, а в Институте неврологии РАМН успешно изучаются молекулярные основы наследственных неврологических заболеваний. Именно в Центре психического здоровья составлена уникальная «Генетическая энциклопедия человека», которой активно пользуются на Западе, в частности в США. А организатор составления этой энциклопедии Виктор Гиндилис, не получавший в России должной поддержки, приглашен на работу в США, где он сейчас и пребывает.

14. Группа новосибирских молекулярных биологов, ведомая Рудольфом Салгаником и Дмитрием Кнорре, научилась получать направленные мутации. Вообще-то искусственный мутагенез известен давно, можно индуцировать изменения генов с помощью радиации или химических воздействий, однако экспериментаторы не знали, какие гены мутируют, то есть процесс носил как бы случайный характер. Новосибирцы разработали метод, позволяющий «стрелять» по выбранной известной мишени и направленно вызывать изменения именно в ней, что имеет прямое отношение к практической работе селекционеров. Один из авторов, Р. И. Салганик, в настоящее время трудится в США, а найдет ли этот метод приложение в нашей стране — неизвестно.

Есть у нас и талантливая смена. В частности, молодые ученые П. Г. Георгиев, О. Б. Симонова, Е. С. Васецкий, которые за выдающиеся исследования в области генетики удостоены звания лауреатов Европейской премии для молодых ученых.

Этот список можно было бы продолжить. По своему потенциалу мы вполне конкурентоспособны с Западом. Твердить же об отставании (да еще и безнадёжном) нашей генетики можно, только зарывши голову в песок напоподобие страуса. Но мы стоим у последней черты, и, если нас будет продолжать душить, как это происходит сейчас, «тлеющие уголья» угаснут, и Россия лишится генетики (как, впрочем, и биологии вообще, а заодно и химии, и физики и т. д.).

Сейчас ученых ни во что не ставят, они едва сводят концы с концами, и Президиум Российской академии наук вынужден думать о создании Фонда материальной помощи членам академии, прозябающим на грани нищеты. Я уж не говорю о том, что на научные исследования денег не выделяется, отключаются телефон, электричество, отопление — чиновникам не пристало думать о науке! Дошло до того, что мы не можем получить столь необходимое современное оборудование, которое западные учреждения ДАРЯТ нам, потому что на таможенные требуют оплатить 40 процентов его стоимости, а таких денег у институтов, естественно, нет. Так на московской таможене сгнили ценнейшие реактивы, купленные Институтом Джорджа Мейсона для якутских ученых, так по милости наших «рыночников» пропадают нужные России приборы.

Президент нашей академии Юрий Сергеевич Осипов, человек в высшей степени интеллигентный, бьется как рыба об лед, но бессилён сделать что-либо — слишком низок ныне престиж науки. И не случаен массовый отток мозгов на Запад, где понимают, что развитие научной мысли — залог процветания и благополучия общества, где не жалеют средств на поддержку творчески одаренных личностей и создают достойные условия для их жизни и работы. А ведь бегут самые молодые и талантливые, лучшие из лучших, и богатейший российский генофонд, столь щедрый на гениев, вновь, как и после Октябрьского переворота, уплывает за пределы Родины.

ИРИНА СИЛУЯНОВА



ПАРОДИЯ НА БЕССМЕРТИЕ

Вера в научно-технический прогресс, точнее, в благотворные и гуманные плоды этого прогресса — вот что было главным побуждением в тех поисках, какие вели ученые и исследователи на ниве науки. Именно вера, а не однозначное эмпирическое наблюдение.

Действительно, к началу XX века, по инерции питаюсь мощным энергетическим потенциалом традиционных христианских ценностей — милосердия, делания добра, уникальности человеческой жизни, — наука, в частности медико-биологическое знание, приходит к ликвидации постоянно угрожающих человечеству факторов риска: эпидемий, инфекционных заболеваний. Достижения медицины снижают детскую смертность, исцеляют болезни и «исторгают из когтей смерти ее преждевременные жертвы» (С. Н. Булгаков).

Так что вера в научно-технический прогресс своим основанием имеет действительные *успехи* преобразующего природу разума человека. Но не будем закрывать глаза и на чудовищные *падения* преобразующего разума. Древневосточная максима гласит: поступить неправильно еще не значит совершить ошибку, не исправить неправильное — вот настоящая ошибка. Эта максима приобретает особое значение в конце века и тем более в России, которая в этом столетии обогатила историю трагическим опытом противопоставления христианства и культуры, нравственности и науки.

...Речь идет, в частности, об известных экспериментах по скрещиванию человека и обезьяны, проводившихся в нашей стране на гребне торжества советской утопии. В отчете 1928 года, представленном в Совнарком председателю Комиссии по содействию работе Академии наук СССР т. Н. Горбунову, руководитель «исследований» профессор И. Иванов констатировал: «Только в самые последние годы наметилась возможность поставить наши опыты без особо значительных затрат и *без опасений встретить запрет со стороны церкви*. Серьезным тормозом для постановки этой экспериментальной работы являлись также *предрассудки религиозного и морального характера*. В дореволюционной России было совершенно невозможно не только что-либо сделать, но и писать в этом направлении»¹ (здесь и далее курсив мой. — И. С.).

Экспериментальные исследования, особенно в медико-биологической области, шли в России «широким фронтом». «Как бы ни судил будущий историк нашу стихийно-драматическую эпоху, — а его оценка, несомненно, во многом и глубоко будет отличаться от современной, — он, во всяком случае, отметит и признает одним из лучших проявлений культурного прогресса этой эпохи невиданную раньше смелость в постановке задач», — справедливо отмечал известный в свое время медик А. Богданов². К «лучшим проявлениям культурного прогресса» он относил прежде всего идею омоложения, реализацию которой связывал с процедурой переливания крови молодых людей старым³. В 1926 году он создает первый в мире Институт переливания крови. «Задачи, самая мысль о которых еще недавно представлялась если не *безумием*, то *уто-*

Силуянова Ирина Васильевна родилась в Москве. Кандидат философских наук, профессор Российского государственного медицинского университета. Автор книг «Современная медицина и православие», «Человек и болезнь». В «Новом мире» публикуется впервые.

¹ «О советских экспериментах по скрещиванию человека с обезьяной». — «Вечерняя Москва». Приложение. Независимая народная газета. 1994, 25 августа.

² Богданов А. Борьба за жизнеспособность. М., 1927, стр. 5.

³ Именно эта процедура — переливание себе крови молодого студента (неудачное) — стала причиной гибели А. Богданова.

пической фантазией, теперь сознательно выдвигаются, начинают практически и научно решаться»⁴. Задачи, о которых идет речь, сводились прежде всего и главным образом к разработке методов «борьбы с общим упадком организма — вопросам омоложения». Но «фантазии» Богданова не ограничивались только этими вопросами. Он полагал, что переливание крови способно решить не только биофизиологические, но и *социально-политические* задачи. Богданов создает концепцию «физиологического коллективизма», в которой переливание крови становится не только способом «омоложения», но и буквального «братания» людей, которые благодаря этой процедуре превращаются из отдельных индивидов в опять же буквально «единый социальный организм». Согласно этой концепции донорство возводится не только в новую *этическую*, но и *социальную* норму. Человеку же предписывалось соответствовать новым социальным нормам, при этом он становился жертвой «благих» идей и целей, одна из которых, в формулировке Богданова, — преодоление «изношенности» ответственных советских государственных работников.

Тогда в СССР решению «смелых» задач омоложения, то есть управлению биологической цикличностью развития организма, была подчинена и трансплантация фетальных тканей, то есть тканей человеческих зародышей, обладающих особыми биологическими свойствами — колоссальной жизненной энергией. В конце 20-х годов в Советской России появляется институт по исследованию фетальных тканей, а в московских аптеках стали продавать вытяжку из эмбрионов человека. (Симптоматично, что в 90-х годах в России начинает свою легальную работу Международный институт биологической медицины, директор которого с гордостью заявляет, что в его институте «собран самый крупный в мире банк фетальных тканей»⁵.)

Бесперебойную подачу фармацевтического человеческого «сырья», изготовленного из зародышей человека, обеспечивало революционное российское законодательство, которое в 1920 году впервые в мире легализует искусственный аборт, снимая все ограничения с этого вида медицинской деятельности. (И снова интересная параллель: в 1996 году правительство России принимает постановление о расширенном — нигде в мире нет шире! — производстве поздних аборт: 18 — 22 недели.)

«Смелые» идеи о создании «сверхчеловеческого» человека воплощались в различного рода евгенических проектах. Н. К. Кольцов создает Русское евгеническое общество. Еще в 1917 году организуется Институт экспериментальной биологии с отделом евгеники, с целью определить биологические параметры человека будущего.

Необычайно «смелой» была в 1925 году задача по реализации «права иметь ребенка неполовым путем». На VI съезде Всесоюзного общества гинекологов и акушеров в Ташкенте доктор А. Шорохова в своем докладе сообщает и описывает 88 проведенных ею операций по искусственному оплодотворению с положительным результатом в 33 случаях. При этом она рассматривает искусственное оплодотворение как воплощение *права* женщины на «нежелание сходиться с мужчиной» и «право иметь ребенка неполовым путем»⁶.

Перечисленные факты являются «материализацией» уникального феномена современной культуры, который П. Гайденко метко называет «утопическим активизмом индустриально-технической цивилизации» и определяет его как «технократическую волю к переустройству человеком не только Земли, но и всего космоса, переустройству, угрожающему уничтожением всего живого»⁷.

«Духовно-практическим» основанием «утопического активизма» является антропоцентрическая мировоззренческая парадигма, формирующая основной тип мышления индустриально-технической цивилизации XX века. (В отече-

⁴ Богданов А. Борьба за жизнеспособность, стр. 5.

⁵ Сухих Г. Секрет их молодости. — «Столица», 1994, № 11.

⁶ Шорохова А. Искусственное оплодотворение у людей. — В сб.: «Труды VI съезда Всесоюзного общ-ва гинекологов и акушеров». М., 1925, стр. 420.

⁷ Гайденко П. Бытие и разум. — «Вопросы философии», 1997, № 7.

ственной истории философии детально проанализированы ее истоки, уходящие не в XIX и даже не в XVIII век, но значительно ранее — в номинализм XIV века, где «разум рассматривается не как высшая форма бытия, а как субъективное начало, как субъект, противостоящий миру объектов»⁸.)

Эволюционируя, антропоцентризм XX века не приемлет понимания человека как существа, зависимого от высших сил, будь то природа или Бог. Он укрепляет человека в оценке себя как самодетерминируемого субъекта, целосмысленного «творца» техники, своей жизни, самого себя.

Но утопические (и с христианской точки зрения еретические) искания советских ученых времен «молодой» советской власти, связанные с этим моральные и научные проблемы неожиданно резко актуализировались в последнее время...

23 февраля 1997 года на свет появилось первое в мире искусственное млекопитающее — овца Долли. За технологией, с помощью которой она была создана, закрепилось название *клонирование*.

Мнения ученых-генетиков относительно технологической возможности клонирования человека сегодня различны. К известному американскому профессору Р. Сиду, заявившему, что он готов приступить к опытам по клонированию человека, 6 марта 1998 года присоединились и российские академики Л. Эрнст и И. Кузнецов, на пресс-конференции в Государственной Думе говорившие о технологической возможности клонирования человека.

Журналисты набросились на клонирование, как мухи на варенье. Трудно назвать периодическое издание в России, не принявшее участия в обсуждении перспектив применения технологии клонирования. Сам факт, масштаб и характер обсуждения этой проблемы говорят о том, что затронуты действительно *болевы точки* не только науки, но и — в широком смысле — культуры. Одна из них — *самосознание современного человека*, одержимого верой в свое право *конструирования* мира по *его*, человека, разуму и по *его*, человека, воле. Болезненность этого состояния связана с тем, что за «новое» человек, в лучшем случае не осознавая этого, принимает хорошо забытое «старое». «Новым» оказывается лишь видоизменение форм «старого», которое в случае с клонированием не просто уродливо, но и небезопасно.

Одним из самых старых и, можно сказать, нарицательных сюжетов, известных культуре, является судьба двух первых в истории человечества братьев — Авеля и Каина. Этот *прасюжет* в конце XX века приобретает новый и неожиданный смысл в связи с борьбой цивилизации за здоровье человека. Согласно идее технологического клонирования (тиражирования, копирования) человека, «клон» — генетический брат-близнец человека — создается для того, чтобы быть убитым с целью сохранения здоровья старшего «брата»: ведь ткани их генетически идентичны, и разного рода трансплантации органов и тканей от «клона» могут осуществляться без обычных в этом случае проблем с совместимостью. Каин «в законе» — так символически можно определить перспективу нового правопорядка, основание которого — отрицание ценностей традиционного нравственного сознания.

Одно из проявлений такой свободы — вера в то, что научно-технический прогресс никем и ничем не может быть ограничен. Сама вера в него в современном человеке так сильна, что заслоняет собою вопрос о моральной корректности той или иной поставленной наукой задачи, неизбежность и успех решения которой однозначно предопределены самой неотвратимостью научно-технического прогресса. И любые ограничения, даже разговор о них, вызывают резкий, истеричный протест, аналогичный тому, какой рождают, скажем, призывы к ограничению порнографической печатной продукции, якобы ущемляющему свободу слова. Напомним, однако, о Нюрнбергском процессе,

⁸ Гайденко П. Бытие и разум. — «Вопросы философии», 1997, № 7.

в ходе которого всему миру стали известны эксперименты на людях по стерилизации, регенерации костей, мышц, нервных тканей, по их пересадке и т. д. и т. п. В конце августа 1947 года I Военный трибунал США, действующий по договоренности с союзниками и по приказу американской администрации в Германии, вынес приговор по делу «медиков». «Исследования» и «опыты» этих «ученых» вошли неотъемлемой частью в понятие «*преступление против человечности*». Нюрнбергский кодекс — это первый в истории международный свод правил о проведении экспериментов на людях, который появился в результате осознания вопиющего несоответствия некоторых видов медицинских экспериментов на человеке этическим принципам медицинской профессии и человеческой морали. Нюрнбергский кодекс — первое свидетельство возможности и необходимости этических ограничений науки. Многими до сих пор он рассматривается как исторический документ о зверствах и перегибах «нацистской лженауки» и в то же время как своеобразный символ нравственной чистоты науки в цивилизованном мире.

Обсуждение проблемы клонирования в российской прессе выявило, что современные естествоиспытатели и идеологи в большинстве своем убеждены, что нельзя ограничивать науку. Почему нельзя? Потому что «прогресс науки остановить невозможно. Это не под силу ни инквизиторам, ни святым, ни КГБ и ФБР, ни парламенту, ни церкви. Прогресс науки — явление стихийное, подобное землетрясению»⁹. Ну разве можно остановить землетрясение?

Надо ли говорить, что данное сравнение не вполне корректно. Воля и разум человека, не ограниченные нравственным законом, действительно могут быть равно мощны стихийному бедствию, уничтожающему на своем пути все живое. Но ведь человек наделен способностью предусматривать стихийные бедствия и по мере сил защищать себя от их разрушающего действия. В сейсмически неблагоприятных районах он строит дома по специальной технологии, выдерживает дистанцию между поселением и рекой, предусматривая ее разливы, и т. д. и т. п. Одним же из способов защиты от бедствий, которыми чревата наука как деяние человека, является соблюдение *нравственного закона*.

Находясь в реальности взрывоподобного прогресса в области генетики, в частности в области клонирования человека, нельзя недооценивать нравственные закономерности «устройства человеческой жизни». По понятным причинам ответственность, лежащая на ученом, исследующем и изучающем человека и человеческую природу, особенно велика.

Если овца Долли появилась после более чем двухсот пятидесяти неудачных попыток клонирования, то, по утверждению заместителя директора Института общей генетики РАН Е. Платонова, «удачное клонирование первого ребенка потребует не менее 1000 попыток. Появится большое количество мертворожденных или уродливых детей»¹⁰.

Большинство ученых-генетиков, критически относящихся к новой технологии, связывают с нравственными аспектами клонирования именно методическую неотработанность технологии. Нравственная сторона проблемы клонирования заключается для них в том, что, если в опытах с животными «так велико количество повреждений эмбриона и мертворождений, если не ясен вообще конечный результат, этично ли даже говорить о переносе эксперимента на живых людей?». Задавая такой вопрос, профессор Б. Конюхов, заведующий лабораторией генетики развития Института общей генетики РАН, отвечает на него предельно ясно: «Переносить еще не решенную методически научную разработку на человека безнравственно»¹¹. Значит ли это, что, ежели научная разработка будет решена методически, отработанная технология станет нравственной? Ведь создание человека по заданным параметрам, а именно в этом за-

⁹ Стура М. Доктор Сид — Галилей или Кеворкян? — «Московский комсомолец», 1998, 15 января.

¹⁰ Платонов Е. «Клоны наступают!..». — «Комсомольская правда», 1998, 27 января.

¹¹ Конюхов Б. Клонирование человека. — «Известия», 1998, 21 января.

ключается «смысл» клонирования, изначально ориентировано на создание человеком человека с определенными качествами, для решения определенных исходных задач. Задачи и стимулирующие мотивы развития технологии клонирования, а именно создание существ по интересующим «заказчика» параметрам, обнажают потребительское отношение к человеку *как средству* их решения, гуманистическая утопия в который раз, исходя якобы из уважения к личности и действуя «во имя человека», на деле оборачивается бесчеловечностью.

Сама по себе палитра возможных последствий и «вторичных» чудовищных злоупотреблений клонированием (например, создание человеческих «запасников» для целей трансплантации) обнажает безнравственность «первичной» цели клонирования человека. А ее наши уважаемые ученые связывают ни много ни мало, как с... достижением бессмертия.

«В Москве организован комитет в защиту клонирования и бессмертия», объединяющий «ученых-биологов и медиков. Комитет, по словам его председателя Сергея Бодрова, выступает за легализацию исследований по клонированию человека, причем, по мнению этих энтузиастов, только создание государственной программы по клонированию уже в ближайшем время сможет продлить продолжительность жизни до 500 лет»¹². «Метод... клонирования людей в перспективе сулит возможность радикального лечения всех и вся болезней человека раз и навсегда методом заместительной терапии»¹³.

Еще недавно религиозная философия боролась за идею бессмертия человека с агрессивной и «воинствующей» наукой. А та — в свою очередь — считала бессмертие человека весьма «вредной идеей», «вымыслом темных и беспомощных людей», суеверием и предрассудком, верой в несуществующие иллюзии. Философ Иван Ильин писал в 1951 году: «Если отрицатели бессмертия скажут нам, что они „не воспринимают“ этого бессмертного духа, то мы спросим их, неужели же они столь наивны, что считают субъективное невосприятие признаком небытия и дефект личного опыта критерием предметной реальности? Если уже физика показала нам, что есть звуки, неслышные человеку, и лучи, недоступные его глазу, то духовный опыт прямо начинает с нечувствительных реальностей. И если они сознательно ограничивают свой опыт чувственными восприятиями и предметами, то компетентность их в суждении о нечувственных или по крайней мере чувственно-недоступных предметах — оказывается ничтожной. Пока они будут упорно придерживаться границ своего элементарного, узкого и грубого опыта, им невозможно доказать или показать что-нибудь за его пределами; и наивно верить им на слово»¹⁴.

Вера в бессмертие человека, разумеется, не входит в компетенцию науки. Принимая этот принцип, фундаментально обоснованный еще Кантом, естествоиспытатели, или не согласные с Кантом, или не читавшие его, все же не оставляют в покое, по сути, не их проблему. Но сегодня позиция многих естествоиспытателей изменилась: многие из них — в очередной раз, как того требует идеологическая конъюнктура времени, — заявляют, что вплотную подошли к разгадке тайны человеческого бессмертия.

Для современного биолога тайна бессмертия «заключена в шаровидной форме клеток»¹⁵.

Панацеей от смерти на сей раз объявляется трансплантация органов и тканей, или так называемая заместительная терапия. Предлагается идеология ремонта с помощью запасных частей.

Наука выходит на уровень трансплантации клеток в эмбриогенезе. Развитие молекулярной биологии и генетики позволяет фрагменты материала наследственности (ДНК), принадлежащие одному организму, соединять *in vitro* с клеткой другого организма, придавая ей желаемые генетические свойства.

¹² Версоби́н В. Чтобы обессмертить россиян, нужно их клонировать. — «Вечерняя Москва». Приложение. Независимая народная газета. 1998, 27 января.

¹³ Пря́хин В. Джинн выпущен из бутылки. — «НГ-Наука», 1997, декабрь, № 4.

¹⁴ Ильи́н И. Аксиомы религиозного опыта. М., 1993, стр. 412.

¹⁵ Ре́пин В. За наше биологическое будущее. — «НГ-Наука», 1997, декабрь, № 3.

«Каждую эмбриональную стволовую клетку можно в определенных условиях превратить в целый зародыш. Каждую региональную стволовую клетку можно превратить в соответствующий орган без особых затрат. Стволовые клетки бессмертны. Это значит, что уже сейчас США обеспечили страну и нацию важнейшей биологической информацией (банки клеток. — *И. С.*) на случай радиационной или космической катастрофы. Очень скоро такие банки уникальной биологической информации будут стоить гораздо дороже запасов нефти»¹⁶.

Таким образом, бессмертие понимается как состояние человека в периодически повторяемой, но вечной процедуре замены вышедших из строя органов органами «лабораторными». Но такое бессмертие есть лишь **бегство от смерти**, понимаемой в свою очередь как однозначно тотальное прекращение какого бы то ни было существования.

Борьба за бессмертие как задача новых технологий представляет собой чудовищный симбиоз несовместимых в теоретическом отношении представлений. Базовым среди них был и остается атеизм, который в конце XX века не может не быть «просвещенным». Эта «просвещенность» относится к беспорочному признанию нравственного значения идеи о бессмертии, обоснованного уже в античности. Классическим примером является суждение Сократа в платоновском «Федоне» о том, что если бы со смертью тела погибала и душа, то дурным людям не о чем было бы беспокоиться. «Если бы смерть была концом всему, она была бы счастливой находкой для дурных людей: скончавшись, они разом избавлялись бы и от тела, и — вместе с душой — от собственной порочности. Но на самом-то деле, раз выяснилось, что душа бессмертна, для нее нет, видно, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного: стать как можно лучше и как можно разумнее... Если душа бессмертна, она требует заботы не только на нынешнее время, которое мы называем своей жизнью, но на все времена, и, если кто не заботится о своей душе, впредь мы будем считать это грозной опасностью»¹⁷.

Идея бессмертия принимается сторонниками клонирования, но при этом речь идет не о бессмертии души, а о бессмертии тела. Произведенная замена носит принципиальный характер.

Понимание бессмертия идеологами «ремонта» человека с помощью «запасных частей» человекоподобных существ — суть форма инстинкта самосохранения, при этом самосохранение трактуется как высшая цель, для достижения которой все средства хороши. Такое «бессмертие» — ядовитая пародия на одно из краеугольных положений христианства. Эта пародия разрушает нравственное сознание, а вместе с ним и нравственное устройство жизни — значит, и саму жизнь.

...Какими же могут быть ближайшие, находящиеся в недалекой перспективе социальные последствия подобного разрушения?

Во-первых, любая форма искусственного размножения — будь то оплодотворение *in vitro* или клонирование — является «технологической» поддержкой инвертов, ведь перестает «работать» старейший аргумент против однополых семей — нарушение ритмов рождаемости и угроза невозпроизводства человечества. Получение возможности размножаться для инвертированных лиц означает окончательную легализацию новых форм семейно-брачных отношений, противоречащих традиционному моногамному браку.

Во-вторых, новые методы искусственного размножения делают весьма реальной перспективу роста «неполных семей» и увеличение числа детей, рожденных вне брака и воспитывающихся в неполных семьях.

В-третьих, новые методы искусственного размножения разрушают историческую систему нравственных ценностей, обесценивая в первую очередь главную из них — ценность *любви*. Вспомним «Дивный новый мир» О. Хаксли, где

¹⁶ Репин В. За наше биологическое будущее. — «НГ-Наука», 1997, декабрь, № 3.

¹⁷ Платон. Сочинения. В 3-х томах, т. 2. М., 1970, стр. 81.

доведены до логического предела возможности и последствия искусственного размножения людей по заданным параметрам. Законодательное признание искусственного размножения в новом государстве имеет своим логическим следствием запрещение семьи, материнства, единобрачия. Они рассматриваются в новом обществе как источник сильных и нежелательных эмоциональных переживаний, душевной боли и в результате — всевозможных болезней. Место любви в иерархии ценностей данного общества занимает понятие *взаимопользования*, фиксирующее презрение к достоинству человека и отрицание личной свободы. Нельзя не согласиться с наличием жесткой и непротиворечивой связи между отрицанием традиционной нравственности, распадом брака и искусственными технологиями зачатия.

Эволюционируя, антропоцентризм XX века не приемлет понимания человека как существа, зависимого от высших сил, будь то природа или Бог. Он укрепляет человека в оценке себя как самодетерминируемого субъекта, целесомышленного «творца» техники, своей жизни, самого себя.

Уникальные факты социально-практического «апробирования» антропоцентризма предоставил опыт социалистического «строительства» и преобразований в России, которые не могли не коснуться науки, в частности биомедицины, о чем уже говорилось в самом начале статьи. То, что происходило в российской науке в первой половине XX века, было непосредственно связано с насильственным и мнимым, нарочито раздуваемым противопоставлением религии и науки.

Перечисленный фактический материал взывает к необходимости преодоления антропоцентризма изнутри, силами самой науки и ученых. И тогда откроется «скрытая теплота» Христова дела даже там, где ее как будто не осталось и следа.

Кстати, в вопросе клонирования мы, как всегда, впереди планеты всей: Запад намного нас осмотрительнее. В частности, США приняли мораторий на проведение работ по клонированию человека и начали разработку специальных законов, ограничивающих данную технологию. Совет Европы был вынужден принять дополнительный протокол к Конвенции «О правах человека и биомедицине», где говорится, что «инструментализация человеческих существ путем намеренного создания генетически идентичных человеческих существ несовместима с достоинством человека и, таким образом, представляет собой злоупотребление биологией и медициной». В этом же документе указывается на «серьезные трудности медицинского, психологического и социального порядка, которые такая намеренная биомедицинская практика могла бы породить для всех вовлеченных в нее индивидов»¹⁸.

Почему не менее выдающиеся достижения биомедицинского знания предшествующего века, а именно: изобретение шприца и игл для инъекций, становление микробиологии (Л. Пастер), бактериологии (Р. Кох), применение рентгена, получение пенициллина и т. п. — не сопровождалось разработкой специальных этического-правовых документов, регулирующих их применение? Очевидно, потому, что эти открытия и достижения определялись традиционными моральными представлениями о медицине. Они не выходили за пределы нравственных принципов христианской антропологии, до последнего времени базовой для нашей цивилизации.

В конце концов, вопрос даже не в том, возможно ли клонирование или это афера. Вопрос в отношении человека к этой возможности.

¹⁸ Кутковец Т., Юдин Б. Уроки незаконченной дискуссии. — «Человек», 1998, № 3.

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

«РЕЧЬ НЕ О КНИГАХ, А О ЖИЗНИ...»

*Переписка Фридриха Ницше с Готфридом Келлером,
Георгом Брандесом и Августом Стриндбергом*

Письма философа, как и всякие свидетельства его судьбы, представляют обычно интерес сугубо книжный: культурно-исторический с сильным архивным привкусом. Свидетельствующая в них о себе судьба, как правило, отступает в тень, становится не более чем вспомогательным штрихом, необязательной деталью портрета философа, в котором главное — освобожденное мышление, сбросившее с себя все индивидуальное. Эта как раз индифферентность познания к познающему была совершенно невозможна для Ницше. И потому он присутствует в своей философии весь целиком — со своею судьбой, становлением, своей болезнью и своим самопреодолением. Судьба Ницше, неотступно следовавшая за его мыслью, стала легендой мировой культуры — явление совершенно эксцентрическое для европейской философии, хотя и подлинно философское по сути.

Среди тех, с кем общался Ницше в последние годы жизни, не много личностей его масштаба. Это прежде всего швейцарский поэт Готфрид Келлер, датский литературовед Георг Брандес и шведский писатель Август Стриндберг. Переписка с каждым из них завязалась при разных обстоятельствах и завершилась столь же не похоже одна на другую. Но есть во всех трех случаях общее: первый шаг к контакту прямо или косвенно делал сам Ницше; именно он предстает более заинтересованной и нетерпеливой, нуждающейся в понимании стороной.

Со слепым упорством Ницше посылал свои книги бывшим немецким друзьям. Но их отклики звучат как из другого мира, который Ницше давно оставил. Они нарушают молчание — но так, что, право, лучше бы его не нарушали. Достаточно взглянуть на письмо друга юности Ницше Густава Круга, который по поводу всех поздних книг философа не нашел написать ничего, кроме: «...с тем что мне довелось прочесть, я, к сожалению, часто не могу согласиться. Понимание мне часто затрудняет слишком уж для меня красочный, богатый образами язык. Этот философ здесь для меня часто слишком художествен. Мне бы хотелось, чтобы ты совлек со своих идей их блистающие одеяния», и т. д. (заканчивается это глубоко равнодушное и полное самодовольных советов письмо каламбуром по поводу «переоценки всех ценностей»: «Прошу „переоценить“ „советника юстиции“, которым ты меня титулуешь, в „правительственного советника“»). И очень понятны горечь и обида, которые слышны у Ницше в пассаже из «Ессе Ното»: «Я говорю в лицо каждому из моих друзей, что он никогда не считал достаточно стоящим труда изучение хотя бы одного из моих сочинений: я узнаю по мельчайшим чертам, что они даже не знают, что там написано... Десять лет; и никто в Германии не сделал себе долга совести из того, чтобы защитить мое имя против абсурдного умолчания, под которым оно было погребено: у иностранца, датчанина, впервые достало тонкости инстинкта и смелости, и он возмущился против моих мнимых друзей».

Едва ли можно утвердительно ответить на вопрос, нашел ли Ницше подлинное понимание у того же датчанина Брандеса, у Стриндберга или у Келлера. Однако реакция этих выдающихся людей на его письма и сочинения была живой и значительной.

Наиболее краткой и внешне случайной была переписка с Готфридом Келлером. Ницше написал ему в сентябре 1882 года, вдогонку за отправкой своей «Веселой науки», при обстоятельствах, которые вскоре приведут Ницше к настоящему отчаянию.

Весной 1882 года Пауль Рэ знакомит Ницше с приехавшей из Петербурга Лу Андреас-Саломе, двадцатилетней дочерью русского генерала. Отношения в этом треугольнике складываются столь же неповторимо и столь же тривиально-обреченно, как и в любом другом из ставших достоянием истории. Ницше хотел воспитать из девушки некое чудо света, готов был поставить на карту свое будущее, отправиться с Лу в Париж или в Вену, посещать вместе с ней лекции в университете и направлять ее развитие. Две недели, проведенные летом вместе с Лу в деревушке Таутенберг в Тюрингском лесу, обернулись сплошной чередой философских бесед, «трагических сцен» и примирений. Отношения еще более усложнила своим визитом сестра Ницше Элизабет, люто ненавидевшая Лу. Простившись с Ницше, юная хрупкая интеллектуалка — в будущем подруга Рильке и ученица Фрейдя — уехала в Берлин к Паулю Рэ. Осенью Ницше ждал ее в Лейпциг, куда она в конце концов прибывает в демонстративном сопровождении Пауля Рэ. Вскоре Ницше будет суждено со всей остротой почувствовать одиночество и бесприютность. Однако пока он еще не знает, что все надежды и планы этого года были пустой химерой, пока еще для него «все переживания нужны, все дни священны и все люди божественны». Именно в эти дни Ницше пишет из Лейпцига шестидесятирехлетнему Готфриду Келлеру совершенно спонтанное письмо, которое должно было немало, хотя и приятно, удивить старика. Письмо проникнуто сильнейшей симпатией к творчеству швейцарского писателя, однако полнота и глубина выраженных в нем чувств имеют под собой еще и другой фундамент, о котором никак не мог догадываться Келлер. Ницше, что объясняется, возможно, его безотцовщиной (он потерял отца в раннем детстве), всю жизнь отчаянно нуждался в привязанности к людям авторитетным и немолодым — к тем, кто мог бы служить заменой идеального отцовского образа. В студенческие годы на этом месте был профессор Ричль, затем — Рихард Вагнер, позже, в Базеле, искусствовед Якоб Буркхардт, которого Ницше, по его собственным словам, почитал как родного отца. В письме к Келлеру, очевидно, вновь с яркой силой прорвалась эта потребность Ницше, подхлестнутая восторженностью влюбленного и одновременно неуверенностью в чувствах Лу. Ницше неосознанно искал опоры в том, кто был для него авторитетен и духовно родственен.

В ответ швейцарский поэт рассказал простую и сильную историю, предавшись, по его словам, воспоминанию. И эта история, по удивительному совпадению, содержала в себе нечто очень ницшевское — однако увиденное в ракурсе, для Ницше, увы, недоступном. Речь в письме шла о страдании, о своеобразном эстетическом достоинстве страдающего, но взгляд был направлен не внутрь себя, как у Ницше, который словно бы со стороны смотрел на собственное страдание и из этой дистанции между собой познающим и собой страдающим воссоздавал мир, — а вовне, на Другого, именно в страдании становящегося достойным интереса и даже восхищения. Но Ницше, с эгоцентризмом больного, приложил и этот рассказ к себе и послал Келлеру своего «Заратустру» «в подтверждение мысли, что боль делает людей красноречивее».

Впоследствии Ницше и Келлер обменялись еще несколькими посланиями, а осенью 1884 года они встречались в Цюрихе.

Переписка с Георгом Брандесом относится к последнему, в творческом отношении наиболее интенсивному году сознательной жизни Ницше. Имя, точнее, псевдоним (настоящее его имя — Морис Коген) этого датского критика и историка литературы мало что говорит сегодняшнему читателю, хотя в начале века он был чрезвычайно популярен во всей Европе, в том числе и в России, где вышло двадцатитомное собрание сочинений Брандеса. Одна из его книг, кстати, посвящена обзору русской литературы от Ломоносова до Чехова.

Не сразу, но с тем большей определенностью проявившись призванием Брандеса были история и психология. Отсюда, с одной стороны, его «систематизаторские» историко-литературные устремления; с другой же, и более яркой, — его внимание к единичному и индивидуальному, к самой личности художника, и в первую очередь такого, который идет против господствующих тенденций своего времени. Отсюда и закономерность того интереса, который в нем вызвали книги Ницше.

Этот контакт был чрезвычайно важен для обоих. Брандес на правах первооткрывателя получал самый яркий и современный материал, какой только можно было себе представить. Что же до Ницше, то в Брандесе он нашел, по существу, одного из первых своих читателей, или, вернее, прототип своего будущего читателя. Заметим при этом, что безоговорочного единомыслия Ницше у датского критика не встретил. Брандес сразу определил и обозначил, что именно для него важно и близко в идеях Ницше, а что непонятно и чуждо. Однако живой, вникающий интерес, проявленный Брандесом, был для Ницше крайне непривычен и отраден. Рядом с ним зазвучал новый голос, с немного резким и высоким тембром, особенность которого объясняется еще и своеобразием брандесовского немецкого. Датский литератор прекрасно владел этим языком, но все же в тонких нюансах (эти места я пытался, соответственно, переводить чуть-чуть «не по-русски») вносил в него некоторую неправильность и облегченность, уходя от того, что сам Ницше порицал как собственно немецкое. Собеседник датчанина сразу уловил это, обозначив немецкий язык Брандеса как «более общительный».

Темы, затронутые Ницше и Брандесом в письмах, актуальны для двадцатого века ничуть не менее, чем для девятнадцатого. Например, понимание ими проблем европейской культуры — точнее, самой культуры «как проблемы, а не ее разрешения». А своеобразный метафорически-понятийный язык Ницше и личностная наполненность, интенсивная «прожитость» высказывания придают этому диалогу необыкновенную живую силу. Эту человеческую полноту во всем, что писал Ницше, ощутил и Брандес, который скажет впоследствии: «Зрелые читатели не изучают Ницше с намерением разделить его мнения, и еще меньше с намерением пропагандировать их. Мы ведь не дети, ищущие себе учителей, но скептики, ищущие людей и радующиеся, когда мы находим человека, — а это встречается реже всего».

Мало-помалу в датчанине взыграл профессиональный инстинкт и навык, и весной 1888 года он подготовил и прочел в Копенгагене курс лекций о Ницше. Для Ницше это стало событием огромной важности; в письмах всем своим друзьям он трубит об этом факте, упоминает о нем даже в «Ессе Ното». Видимо, такая примета грядущего признания сказалась и на его рабочем состоянии, о чем Ницше говорит в письмах Брандесу от 4 и 23 мая, — сказалась благотворно, можно было бы добавить, если бы тут одновременно не напрашивалось и слово «тлетворно», поскольку всякая активизация творческой деятельности теперь ускоряет разрушительное развитие болезни, — так выглядела клиническая картина, которую всего через несколько месяцев констатируют врачи.

Разумеется, Брандес, наивно радовавшийся работоспособности своего немецкого корреспондента, о болезни его не подозревал. Ницше же вступил в последнюю стадию своей духовной жизни — наиболее легкую, ясную, лихорадочно-деятельную для него и самую, пожалуй, тяжелую и темную для его исследователей.

В русской литературе о Ницше эти страницы его жизни вниманием особо не отмечены, относились к ним как к заключительным тактам симфонии, которые сами по себе ничего не содержат и лишь венчают все, им предшествующее. Или же сгущали их в один мощный финальный аккорд, наподобие легенды о том, как на туринской площади Ницше увидел лошадь, которую нахлестывал кучер, обнял ее и в слезах упал без чувств, после чего разум его помрачился. Эта опирающаяся на реальный эпизод картинка обладает теми же нравоучительными свойствами (сознание противника этики сострадания помрачилось от сильнейшего аффекта сострадания), что и старая добрая традиция выводить оценку деятельности Ницше из его конца (безумием карает Господь). В действительности Ницше сошел с ума не в одночасье, и то, что с ним происходило в эти последние месяцы, представляет собственный интерес и ценность. Куда сложнее попытаться вникнуть в это безумие, в его законы и противоречия, в процесс потери «я» и сопровождавшие его озарения и бездонные провалы.

Кredo Ницше — его «несвоевременность», чуждость сегодняшнему дню и современникам, точнее, типу современного ему цивилизованного европейца. Отсюда и полнейшая аполитичность в последние годы, равнодушие к судьбам стран и наций: он жил как бы по ту сторону гражданства, национальности, происходящих в мире событий, вырабатывая себя, как шахту, для неопределенного будущего. К такому

образу Ницше привыкает его читатель и потому наблюдает с крайним и неприятным удивлением, как Ницше объявляет войну и шлет угрозы германскому кайзеру, предсказывает воздействие, которое в ближайшие два года или даже два месяца окажут его произведения, пытается подготовить почву для одновременного издания своих последних книг на всех главных европейских языках огромными тиражами и т. п. Можно сказать, что, обращаясь к современности и реальности, Ницше полностью теряет чувство реального. Так, он был партизаном вечности в тылу у времени, а теперь вдруг вырывается на передовую с криком: «Я — не человек. Я — рок! Я — динамит!» — и грозитя, безоружный, перекроить всю линию фронта.

В письмах эта потеря адекватности становится явственно различимой где-то после октября 1888 года; появляется все больше взбудораженности, самохвальства, преувеличенности, неестественности, причем в первую очередь в письмах лично неизвестным или малознакомым людям. В сравнении с такими размахистыми, безоглядными писаниями письма немногим близким друзьям кажутся прятанием безумных глаз, испуганным понижением интонации — как у человека, который за секунду до этого распевал во весь голос, думая, что он один на милю окрест.

К последним месяцам 1888 года относится переписка Ницше со шведским писателем Августом Стриндбергом, его младшим современником. Рекомендовал их друг другу Брандес, пропагандист чужого творчества по призванию, — рекомендовал с пониманием творческой близости этих индивидуальностей, но, увы, пожалуй, чуть поздно для Ницше. Перед нами лишь руины того, что могло быть, и все же руины по-своему законченные — наподобие искусственных руин, возводившихся в эпоху романтизма — в частности, благодаря трем последним приведенным в нашей подборке письмам: двум из так называемых «безумных записок» Ницше, отправленных между 31 декабря 1888 и 7 января 1889 года, и единственному ответу на них. (Надо отметить, что «безумные записки» точно очерчивают круг людей, игравших значительную роль во внутренней жизни Ницше. Среди адресатов этих посланий лишь два кажутся случайными: один из них — король Италии Умберто I, к которому Ницше обращается как к «моему любимому сыну Умберто». Впрочем, и здесь стоит обратить внимание на тревожащее, почти мистическое совпадение дат рождения и смерти Ницше и итальянского короля: 1844 — 1900.) Стриндберг с ребяческим азартом художника откликнулся на письмо, подписанное «Ницше Цезарь», стилизацией под латинское послание, проявив себя самой артистичной натурой из всех корреспондентов Ницше. Впрочем, не знаю, смог бы шведский писатель с таким же эстетическим спокойствием ответить на письмо, полученное спустя несколько дней Брандесом (см. последнее письмо публикации).

Разумеется, навязчивые идеи Ницше, его мания величия, проявившиеся перед окончательным духовным сломом, — все это симптомы настоящего, клинического сумасшествия. И все же, заглянув чуть дальше, за грань декабря 1888 года, мы неожиданно обнаруживаем в них и совершенно точный прогноз, сбывшееся пророчество. «Через два месяца я стану первым человеком на земле» — безумие, мания величия? Несомненно. Но если чуть-чуть уточнить эту фразу, немного отодвинуть указанный в ней срок, например, так: «Через какие-то 5 — 10 лет я стану властителем умов всего мира», — это будет уже совершенно здоровой оценкой, констатацией предстоящего факта. То же с прорицанием мировых катаклизмов и войн, ответственность за которые Ницше приписывает себе, так что и в самом деле может возникнуть вопрос, не ответствен ли он (ненавидевший германский рейх и прусский милитаризм!) за войны двадцатого столетия. В действительности делать такие выводы — значит идти на поводу у того, кто теряется в причинах и следствиях и, будучи громоотводом, принимает себя за молнию. Ницше был сейсмографом изумительной чуткости, и эту чуткость обостряла его болезнь; она же вносила такую лихорадочность в показания его интеллекта и интуиции, что само предвидение рядится здесь в безумие. Работа духа и процесс разрушения личности так слиты друг с другом в эти эйфорические, «безгранично ясные», по его словам, дни, что невозможно провести между ними черту, отграничить их друг от друга. В «Ессе Ното», самой одиозной и невыносимо болезненной книге Ницше, которую он правил и дорабатывал до последних дней пребыва-

ния в Турине, явные приметы безумия соседствуют с фрагментами, в которых безумие представляется только лишь маской, личиной, игрой, скрывающей гениальную прозорливость и ясность ума. Как иначе прочтешь язвительно-пророческий пассаж: «...немцы, пожалуй, еще раз бессмертно покусаясь на меня и увек о в е ч а т — для этого как раз есть еще время! Достигнуто? Восхитительно, господа германцы! Мои вам поздравления!» — эту бы цитату да на выстроенный в тридцатые годы в Веймаре мемориал Ницше!

Маска безумия, то здесь, то там спадающая с лица туринского Заратустры, ставит вопрос о сознательном, «гамлетовском» начале в безумии Ницше — сознательном не в смысле свободного выбора, а в смысле сознания невозможности иного выбора, кроме безумия. Так, один из немецких исследователей обозначает безумие Ницше как «форму выражения невозможности дальнейшей интеграции в объективную культурную систему».

Подобная научная реформулировка сравнения Ницше с Гамлетом (на которое наталкивает сам Ницше в «Ессе Ното»: «...что должен выстрадать человек, чтобы почувствовать необходимость стать шутом! — Понимают ли Гамлета? Не сомнение, а несомненность есть то, что сводит с ума...») не противоречит медицинскому аспекту дела, а просто обходит его стороной, утверждая отношение к безумию Ницше как к предопределенному последовательностью его мысли ш а г у. В пользу такого отношения говорит и тот факт, что приблизительно с лета 1888 года Ницше начинает осознанно обрубать свои немногочисленные человеческие связи — словно бы готовясь к тому, чтобы уй т и.

Ницше, несомненно, в той или иной степени знал, что болен и болезнь его прогрессирует, — и пытался определенным образом вступить с болезнью во взаимодействие, подстроить под нее свою духовную деятельность. Отсюда и впечатление последовательности, осознанности его ухода в безумие. И одно из последних стихотворений Ницше — «Солнце садится» из «Дифирамбов Дионису» — свидетельствует о ясном понимании: это эйфорическое равновесие между светом и тьмой, между усилием к самоосуществлению и распадом, есть преддверие гибели окончательной:

*Ясность, приди, золотая!
Близкой смерти
сокровеннейшее, сладчайшее предвкушенье!
Верно, я слишком спешил?
И лишь теперь, как устал,
взор твой настиг меня,
восторг твой настиг меня!*

У Ницше — две смерти. Смерть физическая констатировалась врачами 25 августа 1900 года. Начало другой, духовной, совпало с наступлением 1889 года, а подытожил ее спустя несколько лет сам Ницше, многократно повторявший фразу: «Я мертвый потому, что я глупый», — почти что декартовским «Мыслью, следовательно, существую». Его мать, бывшая рядом, пыталась его разубедить: «Это не так, сынок, ты написал прекрасные, умные книги», — но он только повторял эту простейшую фразу (к тому времени он мог складывать только простейшие фразы), свой последний философский афоризм, или же переставлял его части: «Я глупый потому, что я мертвый».

3 января 1889 года Ницше был препровожден полицейскими домой после того, как на площади Карло Альберто он обнимал лошадь и мешал уличному движению.

В последующие дни он беспокоил своих домохозяев тем, что день и ночь, громкогласно распевая, играл на фортепиано Вагнера, требовал, чтобы со стен сняли картины потому, что его квартира — «храм», в котором он собирается принять короля Италии, рвал денежные купюры и отправлял их в корзину для мусора.

9 января 1889 года за Ницше приехал его друг Франц Овербек, встревоженный очередным «безумным посланием». Ницше поместили сначала в психиатрическую лечебницу Базеля, затем перевезли в Йену, поближе к его родным.

¹ Здесь и далее стихотворения приводятся в переводах А. Карельского.

В йенской клинике Ницше провел, к счастью, лишь несколько месяцев. Там с ним обращались не хуже и не лучше, чем с любым другим сумасшедшим. Записи в его истории болезни беспристрастно отмечают мучительную раздвоенность между поведением одухотворенного существа и жалкого безумца. В последующие годы, когда он будет жить под опекой своей матери, все эти контрасты постепенно сгладятся в одну ровную, тихую и бесцветную картину.

В письме Якобу Буржхардту, самом просторном из своих «безумных посланий», Ницше обронил: «Я мог бы стать Буддой Европы, что конечно же контрастировало бы с индийским». Быть может, молчание и спокойствие человека, для которого унялись уже все жизненные бури, в том числе и буря безумия, этот ясно покоящийся в себе, будто бы погруженный в бесконечное размышление взгляд скованного параличом, лежащего в кресле Ницше и есть то контрастирующее подобие Умиротворенному? Так могла бы выглядеть очередная легенда о Ницше — созданная самим Ницше: слова его писем (см. письмо Брандесу от 23 мая 1888), его стихов и здесь поджидают его будущее, переkreциваются с ним:

*Волн и бликов игра.
Всякая тяжесть в былом
канула в синь забвенья —
праздно колышется челн.
Словно б и не было верст и бурь!
Желанья лежат на дне.
На душе, как на море, гладь.*

*Одиночество седьмое мое!
Впервые так близок мне
желанный причал,
и улыбка солнца тепла.
Что там пылает еще?
Не снега ли моих вершин?
Серебристой рыбой, легка,
отправляется в путь ладья...*

Перевод писем выполнен по изданию: *Nietzsche Friedrich. Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe, hrsg. v. Colli, Giorgio und Massimo Montinari. Berlin — New York, de Gruyter, 1974 f.*

1

НИЦШЕ — КЕЛЛЕРУ

Лейпциг, Ауэнштрассе, 26, 2-й этаж.
<16 сентября 1882 года.>

Высокоцитимый муж,

Я хотел бы, чтобы Вам откуда-нибудь уже было известно, что Вы для меня — очень почитаемый муж, человек и художник. Тогда бы сегодня мне не пришлось просить извинения за недавно отправленную Вам книгу.

Возможно, эта книга, несмотря на свое веселое название¹, огорчит Вас. Но поистине, никого не хотелось бы мне огорчить менее, чем Вас, *дарителя радости!* Я отношусь к Вам с такой благодарностью!

Сердечно Ваш

доктор Фридрих Ницше
(бывший профессор
Базельского университета
и на три четверти швейцарец).

¹ Речь идет о «Веселой науке» Ницше.

2

КЕЛЛЕР — НИЦШЕ

Цюрих, 20 IX 1882 года.

Высокочтимый господин профессор!

Примите мою сердечную благодарность за Ваше литературное послание и подарок с той же благосклонностью, с какой Вы письменно сопроводили оные. Хотя я сознаю, что мало чем заслужил Вашу щедрую доброжелательность и не особенно ей соответствую, лишь местами знаю Ваши прежние произведения, да к тому же местами нахожусь с ними во внутреннем противоречии, все же помимо этого остается более чем достаточно, чтобы гордиться выраженной Вами благосклонностью. «Веселую науку» я один раз уже просмотрел и как раз сейчас вновь с сосредоточенным вниманием читаю эту книгу; нахожусь еще, однако, на данный момент в положении старого дрозда, который в лесу видит свисающие со всех ветвей силки, куда он должен совать голову. И все же симпатия растет, и я надеюсь подойти к идее этого произведения настолько близко, насколько это позволит мое легкомысленное ремесло новеллиста.

В качестве скромного результата прочтения позвольте мне не оставить обойденным одно мое небольшое замечание или наблюдение. В высшей степени интересном рассуждении о драматической дикции и т. д. (параграф 80) идет такое место: «где жизнь приближается к бездне и где действительный человек чаще всего теряет голову и уж во всяком случае красноречие».

Я же среди людей низкого или простого происхождения наблюдал почти что противоположность этому и обнаружил, что простой крестьянский и рабочий люд, если они не погрязли в низости и вульгарщине, но действительно очутились в бедственном положении, нередко вместе с возрастанием душевных страданий и противостояния опасности прибавляют и в силе, продуманности и уместности выражения в своих речах, без всякого осознания того и представления о том, что ситуация для них это исключает. Это распространяется даже и на физические страдания. В молодые годы я видел однажды на операционном столе в хирургической клинике одного старика из низшего сословия, которому обпиливали его больной костяк. Уже в начале, пока его раздевали и перевязывали сосуды, он, стёная и охая, жаловался на боль; однако, когда пошла пила и страдания возросли, жалобы становились громче и громче, но все артикулированной, так сказать, оформленной и достойной. Не беспорядочный крик, не отвратительные взвизгивания, но все явственно произносимые слова, а охи и ахи в промежутках хотя и ноющие, но звучащие на излете все сдержанней. Правда, большинство людей ведет себя, быть может, не столь стилистически выдержанно, *sit venia verbo*¹, однако именно театр, трагедия должны ведь следить за стилем, коль скоро он есть в природе.

Однако я не хочу более надоедать Вам этими вещами и уж во всяком случае учинять какого-либо рода критический разбор. Я просто предался воспоминанию.

Почтительнейше преданный Вам

Готфр. Келлер.

¹ Да простится мне это выражение (*лат.*).

3

НИЦШЕ — КЕЛЛЕРУ

Генуя, 1 мая 1883 года.

Высокочтимый государь,

в ответ на Ваше милостивое послание и одновременно в подтверждение выраженной в нем Вами мысли, что великая боль делает людей красноречи-

вее, чем это им свойственно, позвольте представить на Ваш суд прилагаемую книжку, которая носит название

«Так говорил Заратустра».

Удивительное дело! Из настоящей *пучины* чувств, в которую забросила меня эта зима, опаснейшая в моей жизни, восстал я разом и десять дней находился словно под самыми ясными небесами и даже выше высоких гор.

Плод этих дней лежит теперь перед Вами; пусть он будет достаточно сладок и зрел, чтобы *прийтись по душе* Вам, *искушенному* в вещах сладких и достигших зрелости.

Всей душой почитающий Вас

проф. др. Ницше.

Рим, виа Польверьера, 4.

4

БРАНДЕС — НИЦШЕ

Копенгаген, 28 ноября 87.

Милостивый государь!

Год назад я получил через Вашего издателя Ваш труд «По ту сторону добра и зла», недавно ко мне тем же путем пришло Ваше последнее сочинение. Кроме того, у меня есть Ваша книга «Человеческое, слишком человеческое». Я как раз отправил оба имевшихся у меня тома переплетчику, когда пришла «Генеалогия морали», так что я не мог, как мне этого бы хотелось, сравнить ее с более ранними вещами. Мало-помалу я внимательно прочитываю все, что Вами написано.

Но на сей раз мне хочется незамедлительно выразить мою глубокую благодарность за это послание. Для меня *честь* быть известным Вам, и известным таким образом, что Вам пришла мысль сделать меня своим читателем.

Духом новизны и самобытности веет от Ваших книг. Я не совсем еще понимаю то, что я прочел, мне не всегда ясно, к чему Вы стремитесь. Однако многое согласуется с моими собственными мыслями и симпатиями — пренебрежение к аскетическим идеалам и глубокое неприятие демократической усредненности, Ваш аристократический радикализм. Ваше презрение к этике сострадания для меня не вполне объяснимо. Также в другом Вашем сочинении были рефлексии по поводу женщин вообще, которые не согласуются с моим собственным ходом мыслей. Вы устроены так совершенно по-другому, что мне нелегко бывает вчувствоваться. Несмотря на Ваш универсализм, Вы мыслите и пишете очень по-немецки. Вы принадлежите к числу тех немногих людей, с которыми мне хотелось бы говорить.

Я ничего не знаю о Вас. Я с изумлением вижу, что Вы — профессор, доктор. Во всяком случае, я поздравляю Вас с тем, что в духовном отношении в Вас столь мало профессорского.

Что знаете обо мне Вы, мне неизвестно. Мои сочинения ставят перед собой очень ограниченные задачи. Большинство из них существует лишь на датском языке. Уже много лет я не писал по-немецки. Думается, лучшая моя читательская публика — в славянских землях. Два года подряд я читал лекции на французском языке в Варшаве, а в этом году в Петербурге и Москве. Благодаря этому я вырываюсь из тесных масштабов моего отечества.

Хотя уже и не молод, я по-прежнему остаюсь одним из самых любознательных, охочих до нового людей. Поэтому Вы всегда найдете во мне откры-

тость Вашим идеям, даже тогда, когда я думаю и чувствую по-другому. Я часто бываю глуп, но никогда — ограничен.

Порадуйте меня несколькими строками, если сочтете это достойным Ваших усилий.

Признательный Вам

Георг Брандес.

5

НИЦЦЕ — БРАНДЕСУ

Ницца, 2 декабря 1887.

Милостивый государь,

пара читателей, которыми дорожишь, и более *никаких* читателей — вот на деле мои желания. Что касается последней части этого пожелания, то я, пожалуй, все более убеждаюсь, что оно остается неисполненным. Тем более счастлив я, что при убеждении «*satis sunt pauci*» у меня есть и всегда были эти *pauci*¹. Среди живущих я, помимо Вас, могу назвать (если называть тех, кто Вам знаком) моего замечательного друга Якоба Буркхардта², Ганса фон Бюлова³, мсье Тэна⁴, швейцарского поэта Келлера; среди умерших — старого гегельянца Бруно Бауэра⁵ и Рихарда Вагнера. Мне доставляет искреннюю радость, что такой *настоящий европеец* и миссионер культуры, как Вы, впредь будет среди них; я благодарю Вас от всего сердца за эту *добрую* волю.

Конечно, Вам придется при этом нелегко. Сам я не сомневаюсь в том, что пишу в чем-то еще «очень по-немецки», — Вы ощутите это, пожалуй, еще сильнее благодаря Вашей избалованности самим собою, я имею в виду — присутствием Вам свободной и по-французски грациозной манерой обращения с языком (*более общительной манерой* в сравнении с моей). Многие слова приправлены у меня по-другому, их вкус для меня несколько иной, чем для моих читателей, — это тоже влияет. В шкале моих переживаний и состояний перевес на стороне более редких, отдаленных, тонких звуковых частот в сравнении со среднею нормой. Еще у меня (если говорить как старинный музыкант, каким я, в сущности, и являюсь) слух к четвертитонам. Наконец, и это, пожалуй, более всего делает темными мои книги, во мне есть недоверие к диалектике, к самим основаниям. Мне кажется, считает ли человек что-либо «истинным» или *еще* не считает, зависит скорее от его внутренней *решимости*, от степени его решимости... (Я не часто отваживаюсь на то, чтобы знать.)

Выражение «аристократический радикализм», которое Вы употребили, очень удачно. Это, с позволения сказать, самые толковые слова, какие мне до сих пор доводилось о себе прочесть. Как далеко этот образ мыслей меня уже завел в моих идеях, как далеко он меня еще заведет — это я почти что боюсь себе и представить. Однако есть пути, которые не позволяют, чтобы по ним шли обратно; и вот я иду вперед, поскольку я *обязан* вперед.

Я со своей стороны, дабы не упустить ничего, что могло бы облегчить Вам доступ к моей норе, хочу сказать — философии, распорядился, чтобы мой лейпцигский издатель переслал Вам en bloc⁶ мои ранние произведения. Я в особенности рекомендую прочесть новые предисловия к оным (они почти все переизданы). Прочитанные в их последовательности, эти предисловия могли бы, пожалуй, пролить на меня некоторый свет, если предположить, что я не темен сам по себе (темен в себе и для себя), как *obscurissimus obscurorum virorum*⁷... Что как раз вполне возможно.

Музыкант ли Вы? Как раз сейчас издается одно мое сочинение для хора с оркестром под названием «Гимн к жизни». Это то, чему суждено уцелеть из моей музыки и однажды быть спетым «в память меня», если, конечно, от меня останется достаточно помимо музыки. Вы видите, с какими посмертными

мыслями я живу. Однако философия, подобная моей, — она как могила: *в ней уже не живешь*. «*Vene vixit, qui bene latuit*»⁸, — написано на гробнице Декарта. Безусловно, эпитафия!

Мне тоже хотелось бы когда-нибудь встретиться с Вами.

Ваш
Ницше.

NB. Этой зимой я останусь в Ницце. Мой летний адрес: Сильс-Мария, Верхний Энгадин, Швейцария. — Университетскую профессию я оставил. Я на три четверти слеп.

¹ Достаточно немногих... немногие (*лат.*).

² Буркхардт Якоб (1818 — 1897) — швейцарский искусствовед и культурфилософ.

³ Фон Бюлов Ганс (1830 — 1894) — знаменитый немецкий дирижер, муж Козимы, дочери композитора Листа, ставшей впоследствии женой Вагнера.

⁴ Тэн Ипполит (1828 — 1893) — французский литературовед. См. также примеч. к письму Брандеса от 15 декабря 1887 года.

⁵ Бауэр Бруно (1809 — 1882) — немецкий теолог и философ. Его книга «Христос и Цезари» (1877) оказала определенное воздействие на ницшевскую критику христианства.

⁶ Здесь: целиком, в комплекте (*франц.*).

⁷ Темнейший из темнейших (*лат.*).

⁸ Хорошо прожил тот, кто прожил незаметно (*лат.*).

6

БРАНДЕС — НИЦШЕ

Копенгаген, 15 декабря 1887.

Милостивый государь!

Наибольшее впечатление произвели на меня последние слова Вашего письма, а именно, что серьезным образом поражено Ваше зрение. Позаботились ли Вы о том, чтобы проконсультироваться у лучших глазных врачей? Это ведь меняет всю внутреннюю жизнь, когда человек плохо видит. Ваш долг перед всеми, кем Вы дорожите, сделать все возможное для сохранения и улучшения Вашего зрения.

Я отложил ответ на Ваше письмо, поскольку Вы известили меня об отправке книг и я намеревался поблагодарить Вас одновременно и за эту посылку. Однако посылка еще не пришла, а мне хотелось бы сегодня написать Вам несколько слов. Я забрал Ваши книги у переплетчика и, покуда работал над лекциями и занимался всякой необходимой литературно-политической деятельностью, по мере возможности в них углублялся.

17 декабря.

Мне чрезвычайно приятно видеть, что Вы нарекаете меня «настоящим европейцем», но от «миссионера культуры» я отказываюсь. Всякая миссионерская деятельность стала для меня отвратительной — поскольку я видел лишь *морализирующих* миссионеров, — а в то, что зовут культурой, боюсь, я не очень-то верю. Наша культура в целом не может воодушевлять, не правда ли? А чем был бы миссионер без воодушевленности?! То есть я более единичен, чем Вы думаете. Под немецкостью я подразумеваю только то, что Вы пишете больше для себя, в процессе письма думаете больше о себе, чем о широком читателе, в то время как большинство не немецких писателей обязаны принуждать себя к некоей педагогике стиля, что делает их, правда, яснее и пластичней, однако неизбежно лишает глубины и оставляет в писателе невыговоренным его интимнейшее и лучшее, его безымянное «я». Так, меня подчас приводит в ужас то, как моя сущность остается в моих писаниях едва раскрытой, лишь намеченной.

Я — не музыкальный человек. Искусства, в которых я разбираюсь, — это скульптура и живопись, им я обязан своими глубочайшими художественными впечатлениями. Мой слух не развит. В юности это было для меня большим огорчением. Я много играл и несколько лет занимался генерал-басом, но без всякого успеха. Я могу очень интенсивно наслаждаться хорошей музыкой, но остаюсь непосвященным.

Мне кажется, в Ваших произведениях я нахожу определенные совпадения с моими вкусами, пристрастие к Бейлю¹, например, а также пристрастие к Тэну, которого я, правда, не видел уже 17 лет. Его работа о революции² не произвела на меня того впечатления, какое она, кажется, произвела на Вас. Он сокрушается и пророчит землетрясение.

Я употребил выражение «аристократический радикализм», поскольку именно это соответствует моим политическим убеждениям. Однако меня немного задевает, когда Вы в своих произведениях столь поспешно и резко судите о таких феноменах, как социализм или анархизм. Анархизм князя Кропоткина, например, вовсе не глуп. Хотя дело конечно же не в именах и не в названиях. Ваш, как правило, столь блестящий ум, мне кажется, немного тускнеет там, где истина заложена в *нюансах*. В наибольшей степени меня интересуют Ваши идеи о происхождении моральных суждений.

Вы разделяете, к моему радостному удивлению, ту антипатию, которую я испытываю к Герберту Спенсеру³. У нас он слывет богом философии. Этим англичанам решительное предпочтение отдается, как правило, только потому, что их не столь высоко парящий дух страшится гипотез, в то время как немецкую философию гипотезы лишили мирового господства. А разве не много гипотетического в Ваших идеях о кастовых различиях как истоке различных нравственных понятий?

Я знаю Рэ⁴, которого Вы критикуете, видел его в Берлине; это был спокойный человек с приятными манерами, но несколько сухим, ограниченным умом. Он жил — по его выражению, как брат с сестрой — с одной совсем юной интеллигентной русской⁵, издавшей пару лет назад книгу «Борьба за Бога», из которой, правда, нельзя было почерпнуть никакого представления о ее реальных способностях.

Я рад, что смогу получить обещанные Вами книги. Мне было бы приятно, если бы Вы и в будущем не теряли меня из виду.

Ваш

Георг Брандес.

¹ Бейль — имеется в виду Стендаль.

² По-видимому, имеется в виду многотомный труд Тэна «Происхождение современной Франции», в котором подробно анализируется Французская революция.

³ Спенсер Герберт (1820 — 1903) — английский философ-позитивист, оказавший значительное влияние на философию XIX века.

⁴ Рэ Пауль (1849 — 1901) — философ-позитивист, друг Ницше. Подробнее о нем см. предисловие.

⁵ Речь идет о Лу Андреас-Саломе.

7

НИЦШЕ — БРАНДЕСУ

Ницца, 8 января 1888.

Милостивый государь,

выражение «миссионер культуры» не должно вызывать в Вас такого сопротивления. Можно ли быть сейчас оным в большей мере, чем если человек «миссионерирует» свое *неверие* в культуру? Постичь, что наша европейская культура есть чудовищная проблема, а никоим образом не разрешение ее, — разве не является сегодня такая степень самоосознания, самопреодоления *самоу культуры*?

Мне удивительно, что мои книги все еще не в Ваших руках. Я не премину напомнить об этом в Лейпциге. Как раз в рождественскую пору следует задать работенку этим господам издателям. Тем временем да будет мне позволено поделиться с Вами одним отчаянным *curiosum*¹, которым не обладает еще ни один издатель, моим *ineditum*², относящимся к числу наиболее личного, на что я оказался способен. Это — четвертая часть моего «Заратустры»³; ее название, в контексте того, что ей предшествует и что *следует за ней*, должно звучать:

Искушение Заратустры

Интермедия.

Быть может, так я лучше всего отвечу на Ваш вопрос касательно моей проблемы сострадания. Кроме того, вообще именно через эту потайную дверцу есть прямой смысл открыть ко «мне» доступ; при условии, что в эту дверцу входят с Вашими глазами и ушами. Ваша работа о Золя приятнейшим образом напомнила мне вновь, как и все, что мне довелось у Вас прочесть (последнее — статья в гётевском ежегоднике), о Вашем прирожденном даре ко всякого рода психологической оптике. Когда Вы с арифметической ясностью решаете труднейшие задачи *à la moderne*⁴, Вы настолько же в своей стихии, насколько немецкий ученый в таких случаях обычно *чувствует себя не в своей тарелке*. Или Вы, быть может, более благоприятного мнения о теперешних немцах? Мне кажется, что они год от года становятся все неуклюжей и четырехугольней в *rebus psychologicis*⁵ (в прямую противоположность парижанам, у которых все обращается в нюансы и мозаику), что от них ускользают все *глубокие* реалии. К примеру, мое «По ту сторону добра и зла» — какую конфузю оно вызвало среди них. Ни одного разумного слова не привелось мне о нем услышать, не говоря уж о разумном *чувстве*. Что дело здесь идет о развернутой логике совершенно определенной философской впечатлительности, а не о мешанине сотни произвольно нанизанных парадоксов и еретических мыслей, — ничего подобного не пришло в голову, думаю, даже самым благожелательным моим читателям. Ничего подобного не «переживали», мне не встречалась и тысячная доля такой страсти и страданий. «Имморалист»? Это же только пустой звук, в который ничего не вкладывают.

Кстати сказать, формулу «*document humain*»⁶ Гонкуры в каком-то из предисловий приписали себе, хотя мсье Тэн по-прежнему имеет полное право слыть ее автором.

Вы правы, говоря о «прорицании землетрясения», однако подобное донкихотство относится к наиболее достойному из того, что вообще есть на земле.

С выражением особого почтения

Ваш

Ницше.

¹ Курьезом (*лат.*).

² Неизданным (*лат.*).

³ Ницше писал книгу «Так говорил Заратустра» частями с 1883 по 1885 год.

⁴ Современной души (*франц.*).

⁵ В психологических задачах (*лат.*).

⁶ Человеческий документ (*франц.*).

8

БРАНДЕС — НИЦШЕ

Копенгаген, 11 января 1888.

Милостивый государь!

Ваши книги издатель, очевидно, позабыл мне отправить. Но Ваше письмо я сегодня с благодарностью получил. <...>

Есть один скандинавский писатель, чьи произведения заинтересовали бы Вас, если бы только они были переведены, *Серен Кьеркегор*. Он жил в 1813 — 1855 годах и является, по-моему, одним из глубочайших психологов, какие вообще существуют. Книжка, которую я написал о нем (перевод вышел в Лейпциге в 1879 году), не дает достаточного представления о его гении, поскольку эта книга является своего рода памфлетом, написанным, чтобы воспрепятствовать влиянию Кьеркегора. Однако в психологическом отношении она, пожалуй, решительно лучшее, что я опубликовал. <...>

Меня радует, что Вы нашли у меня нечто сгодившееся Вам. В последние четыре года я — самая одиозная фигура здесь на севере. Газеты ежедневно неистовствуют против меня, особенно со времени моей последней долгой распри с Бьёрнсоном¹, в которой высокоморальные немецкие газеты единодушно стали на сторону противника. Вы знаете, возможно, про его пошлую драму «Перчатка», его пропаганду девственности для мужчин и его союз с защитницами «требований морального равноправия». До сих пор что-либо подобное уж наверняка было бы делом неслыханным. В Швеции сумасбродные бабы учреждали большие объединения, в которых они приносили клятву «идти замуж лишь за девственных мужчин». Мне думается, они их получали с гарантией, как часы, только вот без гарантии на будущее.

Я вновь и вновь перечитываю три Ваши книги. Есть пара мостов, которые ведут от них к моему внутреннему миру: цезаризм, ненависть к педантству, вкус к Бейлю и т. д., и т. д. Но по большей части они мне еще чужды. Кажется, что наши с Вами переживания столь бесконечно разнородны. — Вы, без сомнения, увлекательнейший из всех немецких писателей.

Ваша литература! Я не знаю, что в ней вообще теперь есть. Мне думается, все толковые головы пошли либо в генштаб, либо в администрацию. Вся жизнь и все учреждения врастают у вас в *отвратительнейшее единообразие*, и сама писательская деятельность забывается издательской.

Преданный Вам и почитающий Вас

Георг Брандес.

¹ Бьёрнсон Бьёрнстjerne (1832 — 1910) — норвежский писатель и драматург, в 1903 году получил Нобелевскую премию.

9

НИЦШЕ — БРАНДЕСУ

Ницца, 19 февраля 1888.

Милостивый государь,

Вы самым приятным образом обязали меня Вашим вкладом в понятие «современности», поскольку именно этой зимой я описываю широкие круги вокруг этой первостепенной ценностной проблемы, с самой вышины, очень с птичьего полета и с честнейшим намерением, настолько несовременно, насколько это возможно, *взглянуть вниз* на современность... Меня поражает — признаюсь Вам в том! — Ваша терпимость, равно как и Ваша сдержанность в суждениях. Как Вы разрешаете приходиться к себе всем этим «детишкам»! Даже Хейзе!!

В следующую свою поездку в Германию я наметил для себя заняться психологической проблемой Кьеркегора, равно как и возобновить знакомство с Вашей древней литературой. Это будет мне в прямом смысле слова *на пользу* и послужит тому, чтобы «прочувствовать» собственные мои резкость и высокомерие в суждениях.

Вчера мой издатель телеграфировал, что книги Вам отправлены. Хотелось бы избавить Вас и себя от повествования о том, почему это так поздно случилось. Прошу Вас, милостивый государь, сделайте хорошую мину при этой «дурной игре», я имею в виду — этой ницшевской литературе.

Мне самому представляется, что я дал «новым» немцам самые щедрые, *внутренне прожитые* и независимые книги, какие у них вообще есть, а также, что касается моей личности, сам оказался основательным событием кризиса ценностных суждений. Однако это может быть заблуждением, да вдобавок еще и глупостью. Хотел бы, чтобы мне не *приходилось* иметь каких бы то ни было убеждений о себе. Еще пара замечаний: Вы ссылаетесь на моих первенцев (*Juvenilia* и *Juvenalia*²).

Памфлет против Штрауса³, злое высмеивание «очень свободным умом» того, кто лишь считал себя таковым, вылились в чудовищный скандал, — я был тогда уже ординарным профессором, несмотря на свои 24 года, то есть своего рода авторитет и нечто *заслуженное*. Самое непредвзятое мнение об этом казусе, в котором почти что каждая «знаменитость» выступила либо с поддержкой меня, либо с моим осуждением и было изведено немыслимое количество бумаги, можно прочесть у Карла Хиллебранда⁴ в «Народах, временах, людях», т. 2. *Не то* было событием, что я высмеял старческую писанину этого экстраординарного критика, но то, что я поймал немецкий дух на компрометирующей безвкусице *in flagranti*⁵: они в один голос, несмотря на все религиозно-теологические партийные расхождения, восхищались штраусовской «Старой и новой верой» как шедевром духовной (и даже *стилистической!*) свободы и тонкости. Мой памфлет был первым серьезным счетом, предъявленным немецкому образованию (тому «образованию», которое, как тогда провозглашали, одержало победу над Францией), от яростной разноголосицы той полемике в употреблении осталось сформулированное мною выражение «филистер от образования».

Два трактата о Шопенгауэре и Рихарде Вагнере⁶ представляют собой, как мне сейчас кажется, скорее внутренние признания, *данные мною себе обеты*, нежели подлинную психологию этих столь же глубоко родственных, сколь и антагонистичных мне мастеров. (Я был первым, кто дистиллировал из обоих некоего рода единство; сейчас это уже на поверхности немецкой культуры: все вагнерианцы — приверженцы Шопенгауэра. В мою молодость это было по-другому; тогда теми, кто держал сторону Вагнера, были последние гегельянцы, и еще в пятидесятые годы пароль звучал «Вагнер и Гегель».)

Между «Несвоевременными размышлениями» и «Человеческим, слишком человеческим» пролегла полоса кризиса, когда я как бы менял кожу. Тоже и физически: годами я жил в ближайшем соседстве со смертью. Это было моим величайшим счастьем: я забыл, я пережил себя... Подобный трюк удался мне еще раз.

Так что мы обменялись подарками, не правда ли, как два странника, которые рады, что повстречали друг друга?

Остаюсь преданнейший Вам
Ницше.

¹ Хейзе Пауль (1830 — 1914) — популярный в свое время немецкий писатель. Нобелевский лауреат 1910 года.

² Здесь: юношеское и сатирическое (*лат.*).

³ Poleмическое сочинение «Давид Штраус как исповедник и писатель» (1873), включенное затем Ницше в книгу «Несвоевременные размышления».

⁴ Хиллебранд Карл (1829 — 1884) — немецкий историк и эссеист.

⁵ Врасплох, в пылу (*лат.*).

⁶ Соответственно третье и четвертое «Несвоевременные размышления»: «Шопенгауэр как воспитатель» (1874) и «Рихард Вагнер в Байрёйте» (1876).

БРАНДЕС — НИЦШЕ

Копенгаген, 7 марта 1888.

Милостивый государь!

Вы живете, думается мне, среди прекрасной весны; здесь же, наверху¹, ужасные метели, и мы уже несколько дней как отрезаны от Европы. Кроме того, я выступал сегодня перед несколькими сотнями тупиц, вижу вокруг много безотрадного и грустного и вот хочу освежить свой дух, выразив Вам благодарность за Ваше письмо от 19 февраля и за книги, которыми Вы меня столь щедро одарили. <...>

Название моей книги «Современные умы» случайно. Я написал около двадцати томов и захотел составить для заграницы том о личностях, которые были бы там уже известны. Так она возникла. Кое-что в ней стоило немалых штудий, как, например, статья о Тегнере², в которой о нем впервые говорится нечто соответствующее истине. Ибсен как личность должен быть Вам интересен. К сожалению, как человек он находится не на той высоте, какую занимает как художник. В духовном отношении он очень зависим от Кьеркегора и все еще сильно проникнут теологией. Бьёрнсон в своей последней фазе стал совершенно обыкновенным светским проповедником, да вдобавок еще нечестным.

Уже больше трех лет, как я не издал ни одной книги; я был слишком несчастлив для этого. Эти три года были из числа самых тяжелых в моей жизни, и я не вижу никаких примет приближения лучших времен. Тем не менее я принимаюсь сейчас за публикацию 6-го тома моих сочинений и еще другой книги. Это займет у меня много времени.

Я сердечно порадовался всем полученным от Вас книгам, листал и читал.

Ваши юношеские книги очень ценны для меня, они очень облегчают мне понимание. Теперь я спокойно поднимаюсь по ступенькам, ведущим к Вашему духу. Начав с Заратустры, я поступил слишком опрометчиво. Я предпочитаю шагать в гору, чем прыгать вниз очертя голову, как в море.

Статья Хиллебранда была мне знакома, а несколько лет назад я читал некоторые ожесточенные выпады против книги о Штраусе. За выражение «филлистер от образования» я Вам благодарен — я и не предполагал, что оно исходит от Вас. <...>

Из остальных произведений я до сих пор честно и подробно изучил лишь «Утреннюю зарю». Я думаю, что целиком понял эту книгу; многие мысли совпадают с моими, другие для меня *новы* или по-новому оформлены, однако это не делает их *чуждыми* мне.

Чтобы это письмо не стало чересчур длинным, один-единственный пункт. Меня радует афоризм о «случайности браков». Почему, однако, Вы не *копаете здесь дальше* вглубь? Вы говорите в одном месте с неким благоговением о браке, который идеализирует чувства через предпосылку некоего идеала, — вот здесь бы резче, грубее! Почему не сказать однажды *всю* правду об этом? Я того мнения, что институт брака, который, правда, как сдерживатель звериного начала в человеке может приносить немало пользы, отвергает людей в еще большие беды, чем церковь. Церковь, монархия, брак, собственность — вот для меня 4 старых добрых института, которые человечество должно *в корне* преобразовать, чтобы вздохнуть с облегчением. Но из них один лишь брак убивает индивидуальность, парализует свободу, являет собой воплощенный парадокс. Это ведь ужасно, что человечество еще слишком незрело, чтобы отделаться от него. Так называемые свободнейшие художники по-прежнему говорят о браке с наивно-невинным видом, который приводит меня в ярость. И они правы, поскольку невозможно сейчас сказать, какой человеческий трос следует протянуть на его месте. Не остается ничего другого, как медленно видоизменить *opinion*³. А что Вы думаете об этом?

Мне бы очень хотелось знать, как Ваши глаза. Я был рад увидеть, как чето и разборчив Ваш почерк.

Должно быть, внешне Ваша жизнь там внизу протекает спокойно? Моя же — это жизнь в борьбе, которая сжигает дотла. Сейчас я в этих странах еще более ненавидим, чем 17 лет назад; это само по себе малоприятно, и все же вместе с тем отраднo постолюкy, поскольку доказывает мне, что я еще не ослабел и ни в едином пункте не пошел на мировую с господствующей всюду посредственностью.

Ваш внимательный и благодарный читатель

Георг Брандес.

¹ То есть на севере; характерный для европейцев способ картографической ориентации — Дания на карте выше Франции.

² Тегнер Эсайас (1782 — 1846) — шведский поэт-романтик.

³ Здесь: общественное мнение (*англ.*).

11

НИЦШЕ — БРАНДЕСУ

Ницца, 27 марта 1888.

Милостивый государь,

мне бы очень хотелось еще раньше поблагодарить Вас за столь обстоятельное и наводящее на раздумья письмо, однако у меня возникли трудности со здоровьем, так что я во всем ужасно медлителен. Глаза мои, попутно говоря, служат динамометром всего моего самочувствия: после того, как в главном деле снова пошло вперед и в гору, они стали выносливее, чем я вообще мог надеяться, — они посрамили предсказания самых лучших немецких глазных врачей. Если бы господа Грефе et hoc henus omne¹ оказались правы, я бы уже давно был слеп. Так я — тоже достаточно скверно — добрал до третьего номера очков, *но ведь я еще вижу*. Я говорю об этой неприятности, поскольку Вы выказали участие, спросив меня об этом, и потому, что в последние недели глаза были особенно слабы и раздражительны.

Мне жаль Вас на Вашем в нынешнем году особенно зимнем и угрюмом севере. Как там вообще удастся сохранить душевные силы?! Я преклоняюсь едва ли не перед каждым, кто под пасмурным небом не теряет веру в себя, не говоря уж о вере в «человечество», в «брак», «собственность» и «государство»... В Петербурге я был бы нигилистом; здесь я верю, как верит растение, *в солнце*. Солнце Ниццы — это и в самом деле не выдумка. Мы наслаждаемся им за счет остальной Европы. Бог, со свойственным ему цинизмом, позволяет этому солнцу светить над нами, бездельниками, «философами» и греками, ярче, чем над куда более достойным браво-героическим «фатерландом».

В конце концов, и Вы, инстинктом северянина, избрали сильнейшее из имеющихся стимулирующих средств, чтобы выдержать жизнь на севере, — *войну, агрессивный аффект, набеги викингов*. Я узнаю по Вашим работам бывалого солдата; и пусть не только «посредственность», но и, быть может, порода куда более самостоятельных и самобытных натур северного духа неизменно вызывает Вас на борьбу. <...>

Ваш «Немецкий романтизм» заставил меня задуматься о том, что все это движение, по существу, достигло своей цели лишь в музыке (Шуман, Мендельсон, Вебер, Вагнер, Брамс) — в литературе оно осталось только большим обещанием. Французы были удачливее. Я боюсь, что музыка так нужна мне для того, чтобы не стать романтиком. Без музыки жизнь была бы для меня бессмыслицей.

С сердечным и благодарным приветом

Ваш

Ницше.

¹ И все им подобные; и вся их порода (*лат.*).

БРАНДЕС — НИЦШЕ

Копенгаген, 3 апреля 88.

Милостивый государь!

Вы нарекли письмоносца посредником бесцеремонных вторжений. Это, как правило, очень верно, и потому пусть *sat sapienti*¹ он Вас не обременит. Я по натуре не назойлив, так что живу почти изолированно, сам неохотно пишу письма, вообще пишу неохотно, как и все писатели.

Однако вчера, получив Ваше письмо и взявшись за одну из Ваших книг, я внезапно ощутил своего рода гнев на то, что ни один человек здесь, в Скандинавии, Вас не знает, и быстро решил разом сделать Вас известным. Маленькая газетная вырезка сообщит Вам, что я (как раз закончивший ряд лекций о России) анонсирую новые лекции о Ваших произведениях. Уже несколько лет мне приходится повторять свои лекции, поскольку университет не может вместить всех слушателей. На сей раз дело будет, по всей видимости, не так, поскольку Ваше имя совершенно ново; однако те, кто придут и получат представление о Ваших произведениях, будут отнюдь не самыми глупыми.

Так как мне очень хотелось бы знать, как Вы выглядите, я *прошу Вас подарить мне Вашу карточку*. Здесь я прилагаю мою последнюю фотографию. Еще я хотел попросить Вас совсем вкратце написать мне о том, *когда и где* Вы родились и в каких годах изданы (а лучше — созданы) Ваши сочинения, поскольку они не датированы. Если у Вас есть какая-нибудь газета, в которой значатся эти внешние факты, тогда Вы можете этого и не писать. Я человек беспорядочный, у меня нету ни словаря писателей, ни какого-либо другого, где можно найти Ваше имя.

Ваши ранние труды — «несвоевременные»² — очень мне пригодились. Как молодые и восторженны, а также открыты и наивны Вы были! Многие в Ваших книгах зрелой поры я еще не совсем понимаю; часто мне кажется, что Вы истолковываете или обобщаете сугубо *интимные*, личные факты и предлагаете читателю красивый ларчик без ключа к нему. Но основное я понимаю. С восхищением я читал Вашу раннюю работу о Шопенгауэре; хотя лично я мало чем обязан Шопенгауэру, для меня это прозвучало как из глубины души.

Пара маленьких педантичных замечаний: «Веселая наука» <...>

На стр. 118 Вы говорите о той высоте, «на которую Шекспир ставит Цезаря». Я нахожу, что шекспировский Цезарь жалок. В своем роде цареубийство. И это возвеличивание убогого типа, который не нашел ничего лучшего, как воткнуть нож в великого человека! <...>

Эти мелочи призваны лишь показать Вам, что я Вас внимательно читаю. Мне, разумеется, хотелось бы говорить с Вами совсем о других вещах, но для писем это не годится.

Если Вы читаете по-датски, я хотел бы прислать Вам маленькую прекрасно оформленную работу о Хольберге³, которая появится через 8 дней. Напишите мне, знаете ли Вы наш язык. Если Вы читаете по-шведски, я бы обратил Ваше внимание на единственного гения Швеции, Августа Стриндберга. Когда Вы пишете о женщинах, Вы очень схожи с ним. Пусть Ваши глаза доставляют Вам только приятное.

Преданный Вам

Георг Брандес.

¹ Здесь: по мере возможности (*лат.*).

² Имеется в виду книга Ницше «Несвоевременные размышления».

³ Хольберг Людвиг (1684 — 1754) — датский писатель, философ и историк, виднейший деятель скандинавского Просвещения.

13

НИЦШЕ — БРАНДЕСУ

Турин (Италия).
 Ferma in posta¹.
 10 апреля 1888.

Однако, милостивый государь, какая это, право, неожиданность! Откуда взялось в Вас столько храбрости, чтобы во всеуслышанье заговорить о таком *vir obscurissimus*?!. Может быть, Вы думаете, что я известен в милом отечестве? Со мною ведь обращаются, как если б я был чем-то диковинным и абсурдным, чем-то, что до поры до времени вообще *незачем принимать всерьез*... Они явно чувствуют, что я их также не принимаю всерьез: да и как бы я мог это делать сегодня, когда «немецкий дух» стал *contradictio in adjecto*³!

За фотографию я Вам самым обязывающим образом признателен. К сожалению, я со своей стороны не могу ответить тем же: последние карточки, которые у меня были, увезла с собой моя сестра, вышедшая замуж в Южной Америке.

К сему прилагается небольшая автобиография, первая из написанных мною. Что касается времени создания моих книг, то соответствующие годы значатся на оборотной стороне титульного листа «По ту сторону добра и зла». Может быть, у Вас нету больше той страницы?

«Рождение трагедии» писалось с лета 1870 по зиму 1871 года (закончено в Лугано, где я жил вместе с семьей фельдмаршала Мольтке).

«Несвоевременные размышления» — с 1872 по лето 1875 года (их должно было быть 13; к счастью, здоровье сказало «нет!»).

То, что Вы пишете о «Шопенгауэре как воспитателе», очень меня радует. Этот маленький труд служит для меня опознавательным знаком: тот, кто не найдет в нем ничего *своего*, тому, вероятно, не скажут ничего и прочие мои вещи. В сущности, он содержит в себе схему, по которой я жил до сих пор; этот труд есть строгий *обет*.

«Человеческое, слишком человеческое» вместе с двумя своими продолжениями писалось в летнее время 1876 — 1879 годов. «Утренняя заря» — в 1880-м. «Веселая наука» — в январе 1882-го. «Заратустра» — с 1883-го по 1885-й (каждая часть приблизительно за десять дней. Совершеннейшее состояние «вдохновения», все сочинялось на ходу, во время долгих дальних прогулок; абсолютная уверенность, как если б каждая фраза была мне громко и явственно продиктована. Одновременно с этим чувство чрезвычайной физической упругости и собранности).

«По ту сторону добра и зла» — летом в Верхнем Энгадине⁴ и следующей зимой в Ницце.

«Генеалогия морали» задумана, создана и в подготовленном к печати виде отправлена в лейпцигскую типографию между 10 и 30 июля 1887 года.

(Естественно, существуют еще и мои *филологические* труды. Однако до них нам *обоим* уже нет никакого дела.)

Сейчас я как раз провожу опыт с Турином; я хочу остаться здесь до 5-го июня, чтобы потом ехать в Энгадин. До сих пор тут по-зимнему жестко и зло. Но город восхитительно спокойный и ласкающий мои инстинкты. Прекраснейшая мостовая в мире.

Вас приветствует благодарно преданный Вам

Ницше.

Какая жалость, что я не знаю ни датского, ни шведского!

Vita⁵. Я родился 15 октября 1844 года на поле битвы под *Лютценом*. Первое услышанное мною имя было Густав Адольф⁶. Мои предки были польские дворяне Ницкие; кажется, этот тип хорошо сохранился, несмотря на три по-

коления немецких матерей. За границей меня обычно принимают за поляка, еще этой зимой меня обозначили в ниццком списке иностранцев *comme polonais*⁷. Говорят, что моя голова подошла бы для картин Матейко⁸. Моя бабушка принадлежала к веймарскому шиллеровско-гётевскому кругу, ее брат стал приемником Гердера на посту генерал-суперинтенданта Веймара. Мне выпало счастье быть учеником славной *Шульцфорты*⁹, из которой вышли столь многие значительные для немецкой литературы имена (Клопшток¹⁰, Фихте, Шлегель, Ранке¹¹ и т. д., и т. д.). У нас были учителя, которые сделали бы (или *сделали*) честь любому университету. В студенческие годы я учился в Бонне, затем в Лейпциге; старик *Ричль*¹², в то время — первый филолог Германии, почти с самого начала выделял меня. В 22 года я стал сотрудником «Литературного центрального листка». Основание филологического общества в Лейпциге, которое существует до сих пор, — в том числе и моя инициатива. Зимой 1868 — 1869-го Базельский университет предложил мне профессию; я не был еще даже доктором. *Вслед за этим* Лейпцигский университет пожаловал мне докторскую степень, весьма почетным образом: безо всякого экзамена, даже без диссертации. С Пасхи 1869 года по 1878-й я был в Базеле; мне пришлось отказаться от немецких прав гражданства, иначе я как офицер («*конный артиллерист*») слишком часто призывался бы в армии, что мешало бы моей академической деятельности. Тем не менее я знаю толк в двух видах оружия — саблях и пушках — и, возможно, еще в третьем... В Базеле все складывалось очень благоприятно, несмотря на мою молодость; случалось, в частности, при защитах докторских диссертаций, что экзаменуемый бывал старше экзаменатора. Судьба оказалась благосклонной ко мне в том, что между мною и Якобом *Буркхардтом* установилась душевная близость — нечто необычное для этого замкнутого и живущего особняком человека. Еще большая благосклонность судьбы сказалась в том, что я с самого начала моего базельского существования оказался в неопишимо близкой дружеской связи с Рихардом и Козимой *Вагнер*, которые жили в то время в своем поместье Трибшен под Люцерном, как на острове, словно бы порвав со всеми своими связями. В течение нескольких лет мы были вместе и в великом, и в малом; это было доверие без границ. (В вагнеровском собрании сочинений (том 7) вы найдете его «открытое письмо» ко мне, по случаю «Рождения трагедии».) Те отношения принесли мне знакомство с большим кругом интересных людей (*и «людеек»*) — в сущности, почти со всем, что произрастает между Парижем и Петербургом. К 1876 году мое здоровье ухудшилось. Ту зиму я провел в Сорренто с моей старой знакомой баронессой Мейзенбуг («*Мемуары идеалистки*») и симпатичным доктором Рэ. Лучше не стало. Появились крайне мучительные и упорные головные боли, которые исчерпывали все мои силы. За долгие годы это выросло в состояние такой *хронической* болезненности, что в году у меня тогда бывало по 200 дней боли. У этого недуга должны быть сугубо *локальные* причины — для него нет никаких невропатологических оснований. У меня никогда не бывало симптомов умственного расстройства: даже лихорадки или обмороков. Мой пульс был тогда столь же ровным, как у Наполеона I (=60). Типичным для меня было два-три дня с полнейшей ясностью, *сги, vert*¹³ переносить крайнюю боль при продолжительной рвоте со слизью. Распространили слух, будто бы я был в сумасшедшем доме (или даже умер там). Нельзя представить себе большего заблуждения. Напротив, именно в это ужасное время мой дух стал *зрелым*; свидетельство тому — «Утренняя заря», которую я написал в одну из зим невыносимых лишений в Генуе, вдали от врачей, друзей и близких. Эта книга для меня своего рода «динамометр»: я сочинил ее *на минимуме* сил и здоровья. С 1882 года дела снова пошли, конечно же *очень* медленно, на лад; кризис, кажется, преодолен (мой отец умер очень молодым, ровно на том же году жизни, на котором я сам был ближе всего к смерти). Мне еще и сегодня необходима крайняя осмотрительность: обязательны пара условий климатического и метеорологического характера. То, что я провожу лето в Верхнем Энгадине, а зиму на Ривьере, — это не выбор, а необходимость... В конце концов, болезнь принесла мне *величайшую* пользу: она *высвободила* меня,

она возвратила мне мужество быть самим собою... Также, по характеру своих инстинктов, я — животное смелое, даже воинственное; долгое противостояние несколько обострило мою гордость. — Философ ли я? — Но что это меняет?!

¹ До востребования (*итал.*).

² Здесь: безвестнейший (*лат.*).

³ Противоречием в определении (*лат.*).

⁴ Верхний Энгадин — высокогорная местность на юго-востоке Швейцарии.

⁵ Жизнеописание (*лат.*).

⁶ Густав II Адольф (1594 — 1632) — шведский король. Погиб в Тридцатилетнюю войну в битве под Лютценом, где шведы разбили армию Габсбургов под командованием герцога Валленштейна.

⁷ Как поляка (*франц.*).

⁸ Матейко Ян (1838 — 1893) — польский живописец, автор полотен на сюжеты из истории Польши.

⁹ Шулъпфорта — бывший монастырь под Наумбургом, после Реформации преобразованный в гуманистическую гимназию.

¹⁰ Клопшток Фридрих Готлиб (1724 — 1803) — выдающийся немецкий поэт.

¹¹ Ранке Леопольд фон (1795 — 1886) — видный немецкий историк.

¹² Ричль Фридрих (1806 — 1876) — классический филолог.

¹³ Грубо, резко (*франц.*).

14

БРАНДЕС — НИЦШЕ

Копенгаген, 29 апреля 88.

Милостивый государь!

Во время моей первой лекции о Ваших произведениях зал был не до конца заполнен — возможно, полторы сотни слушателей, — поскольку никто вообще не знал, что Вы такое. Однако после того, как одна большая газета дала отзыв на мою первую лекцию, а сам я написал статью о Вас, интерес возрос, и уже на следующий раз зал Берстена был полон. Наверное, приблизительно 300 слушателей с величайшим интересом внимали моему изложению Ваших работ. Повторять лекции, как я это обычно делаю, я все же не отважился, поскольку эта тема столь малопопулярна. Я надеюсь таким образом найти для Вас нескольких хороших читателей на севере.<...>

Когда Вы в своем первом письме предложили мне Ваше музыкальное произведение «Гимн к жизни», то я из скромности отказался от этого дара, поскольку не очень разбираюсь в музыке. Теперь я надеюсь заслужить это произведение своим к нему интересом и был бы очень Вам признателен, если бы Вы пожелали его мне предоставить.

Я думаю, что смогу суммировать впечатления моих слушателей тем, как мне это выразил один молодой художник: это так интересно потому, что речь здесь идет не о книгах, а о жизни. Там, где в Ваших идеях им что-то не нравится, там это как бы «доведено до чрезмерной крайности».

Это нехорошо Вы сделали, что не прислали мне своей фотокарточки; по правде говоря, свою я отправил только лишь затем, чтобы хоть как-то обязать Вас. Ведь это столь малый труд — одну минуту посидеть перед фотографом, а всякого человека узнаешь гораздо лучше, когда имеешь представление о его внешности.

Всецело преданный Вам

Георг Брандес.

15

НИЦШЕ — БРАНДЕСУ

Турин, 4 мая 1888 года.

Милостивый государь,

то, что Вы мне рассказали, очень радует меня и более того — удивляет. Будьте уверены в том, что я Вам это «попомню»: знаете ли Вы, что все затворники «злопамятны»?.. <...>

«Гимн к жизни» отправится в эти дни в свое датское путешествие. Мы, философы, особенно благодарны бываем тогда, когда нас путают с художниками. Кстати, со стороны лучших экспертов я слышу уверения в том, что этот гимн вполне годен для исполнения и *пения*¹ и что в отношении его успеха также можно не сомневаться («чистота фраз»: эта похвала более всего порадовала меня). <...>

Эти недели в Турине, где я пробуду еще до 5 июня, удались мне лучше, чем какие-либо другие за последние годы, — прежде всего в философском отношении. Я почти каждый день на один-два часа накапливал такую энергию, чтобы просматривать всю мою концепцию целиком *сверху вниз* — когда чудовищное множество проблем лежало подо мной проработанным, словно рельеф с четкими контурами. Для этого нужен максимум сил, которого я уж едва ли ожидал от себя. Все связывается, уже несколько лет все было на верном пути, ты строишь свою философию, как бобр, ты необходим и не знаешь этого; однако все это нужно увидеть, как я увидел сейчас, чтобы поверить в это.

Я чувствую такое облегчение, такой прилив сил, я в таком хорошем настроении, — я забавляюсь с самыми серьезными вещами, приделывая им маленькие хвостики. С чем все это связано? Не добрым ли северным ветрам благодарен я, тем ветрам, которые не всегда прилетают с Альп? Иногда они прилетают и из *Копенгагена*!

Вас приветствует Ваш благодарно преданный
Ницше.

¹ ...для исполнения и пения... — слова известного дирижера Феликса Мотля (1856 — 1911) из его письма Ницше.

16

БРАНДЕС — НИЦШЕ

Копенгаген, 23 мая 88.

Милостивый государь!

За письмо и фотокарточку и музыку мое самое сердечное спасибо. Письмо и музыка обрадовали меня безоговорочно; фотография же могла бы быть и лучше. Это — изображение в профиль из *Наумбурга*, характерное по форме, однако слишком маловыразительное. Вы *должны* выглядеть по-другому; на лице того, кто написал *Заратустру*, должно быть написано гораздо больше тайн.

Мои лекции о Фр. Ницше я закончил к Троице. Они завершились, как пишут газеты, аплодисментами, «перешедшими в овацию». Овация почти целиком относится к *Вам*. Я же позволю себе здесь письменно присоединиться к ней. Поскольку моя заслуга была лишь в том, чтобы ясно и связно, понятно для скандинавских слушателей передать то, что в изначальной форме наличествовало у Вас.

Я пытался также охарактеризовать Ваше отношение к различным современникам, ввести слушателей в мастерскую Ваших идей, подчеркнуть мои собственные излюбленные идеи там, где они совпадают с Вашими, определить мои расхождения с Вами и дать психологический портрет автора Ницше. Во всяком случае, я могу без преувеличения сказать: Ваше имя сейчас *очень популярно* во всех образованных кругах Копенгагена и по меньшей мере повсюду *на слуху* в целой Скандинавии. Вам не за что благодарить меня; для меня было *удовольствием* углубиться в мир Ваших мыслей. Того, чтобы быть напечатанными, мои лекции не заслуживают; я не считаю чисто философское своей специальностью и неохотно печатаю что-либо, касающееся предмета, в котором я не чувствую себя достаточно компетентным.

Я очень рад, что Вы чувствуете себя столь окрепшим физически и пребываете в таком замечательном расположении духа. Здесь после долгой зимы наступила мягкая весна. <...>

Я надеюсь, что в будущем мы с Вами никогда не станем совершенно чужды друг другу.

Остаюсь Вашим верным читателем и почитателем.

Георг Брандес.

17

НИЦШЕ — БРАНДЕСУ

Турин, 23 мая 1888 года.

Милостивый государь,

я не хотел покидать Турин, не выразив Вам еще раз, *сколько* значительно Ваше участие в первой из моих *удавшихся* весен. История моих весен, по крайней мере в последние 15 лет, была вообще-то жуткой историей, фатальностью упадка и слабости. От местности при этом ничего не зависело; было так, словно никакой рецепт, никакая диета, никакой климат не способны изменить по существу *депрессивный* характер этого времени. Но вот ведь! Турин! и первые добрые известия, Ваши известия, милостивый государь, из которых явствует, что я живу... Ибо я подчас забываю, что живу. Некий случай, вопрос напомнил мне на днях о том, что для меня почти упразднилось одно из главных понятий жизни — понятие будущего. Ни единого желания, ни облачка желания предо мною! Гладкая равнина! Отчего бы какому-нибудь дню семидесятого года моей жизни не походить в точности на мой сегодняшний день? В том ли дело, что я слишком долго прожил в соседстве смерти и потому перестал обращать внимание на *прекрасные возможности*? Но, во всяком случае, я довольствуюсь сейчас мыслями о сегодня и завтра, — определяю сегодня, что должно произойти завтра — и ни на день дальше! Это, может быть, нерационально, непрактично, может быть, даже *не по-христиански* — тот нагорный проповедник запретил *именно эту* заботу «о завтрашнем дне», — но кажется мне в высшей степени философским. У меня появилось больше уважения к себе, чем прежде: я понял, что *разучился* желать, даже и не желая того.

Эти недели я посвятил «переоценке ценностей». Вам понятен этот троп? В сущности, алхимик принадлежит к самому заслуженному роду людей: я имею в виду того, кто из ничтожного, презренного делает нечто ценное или даже золото. Он один *обогащает*; остальные лишь разменивают. Моя задача при этом совершенно курьезного свойства: я спросил себя, что до сих пор более всего вызывало у человечества ненависть, страх, презрение, — и именно из этого сделал я мое «золото»...

Только бы мне не стали приписывать фальшивомонетничество! Точнее, наверняка *будут* это делать...

Под конец признаюсь в своем любопытстве. Поскольку у меня не было возможности подслушать у дверной притолоки и услышать что-то о себе, я бы охотно подслушал что-нибудь другим путем. Три слова к характеристике тем отдельных Ваших лекций — как много хотелось бы мне узнать из трех слов!

Вас, милостивый государь, сердечно приветствует

преданный Вам

Ницше.

18

НИЦШЕ — БРАНДЕСУ

Сильс-Мария, <Верхний Энгадин>, 13 сентября 1888.

Милостивый государь,

сим я имею честь и удовольствие вновь напомнить Вам о себе, а именно — пересылая это маленькое, *злое*, но несмотря на это преследующее очень

серьезные цели сочинение, написанное еще в *хорошие* туринские дни. С тех пор в преизбытке было *дурных* дней и такого упадка здоровья, мужества и, говоря по-шопенгауэровски, «воли к жизни», что в ту маленькую весеннюю идиллию мне уже почти и не верилось. К счастью, у меня оставался еще один документ той поры: «Случай Вагнера. Проблема музыканта». Злые языки захотят прочесть это как «Падение Вагнера»¹.

Как бы ни хотелось Вам, и с самыми вескими на то основаниями, защититься от музыки (самой навязчивой из всех муз), все же загляните как-нибудь в этот опыт *психологии музыканта*. Вы, досточтимый господин космополитикус, настроены слишком по-европейски, чтобы не услышать при этом в сто раз больше, чем мои так называемые земляки, «музыкальные» немцы... <...>

В сущности, этот труд написан почти что по-французски — возможно, даже легче перевести его на французский, чем на немецкий.

Не сообщите ли Вы мне пару русских или французских адресов, по которым имело бы *смысл* отправить это сочинение?

Через пару месяцев от меня можно ожидать нечто *философское*; под весьма благонамеренным заглавием «*Досуги психолога*»² я наговорю всему миру любезностей и нелюбезностей; в том числе этой высокодуховной немецкой нации.

Все это по-настоящему лишь передышка в *настоящем деле*, которое называется *переоценкой всех ценностей*; Европе понадобится открывать еще одну Сибирь, чтобы заслать туда этого «переоценщика».

Надеюсь, что это бодрое письмо застанет Вас в свойственном Вам *решительном* расположении духа.

Часто вспоминающий Вас

др. Ницше.

Адрес до середины ноября: Турин (Италия), *ferma in posta*.

¹ Название книги Ницше «*Der Fall Wagner*» можно перевести и как «Случай Вагнера», и как «Падение Вагнера».

² «*Досуги психолога*» — рабочее название книги «Сумерки кумиров, или Как философы молотом».

19

БРАНДЕС — НИЦШЕ

Копенгаген, 6 октября 1888 года.

Глубокоуважаемый, дорогой господин Ницше!

Ваше письмо и Ваша драгоценная посылка застigli меня в самом пылу работы. Отсюда задержка с моим ответом.

Уже почерк Ваш пробудил радостные ожидания в моей душе. Грустно и плохо, что у Вас было неважное лето. Я-то по безрассудству полагал, что все физические недуги у Вас уже окончательно позади.

Брошюру я прочел с величайшим вниманием и громадным удовольствием. Не до такой уж степени я немусыкален, чтобы не уметь оценить подобных вещей. Я лишь некомпетентен. Как раз за несколько дней до того, как получить Вашу книгу, я присутствовал на превосходном представлении «Кармен». Какая восхитительная музыка! И все же, рискуя прогневить Вас¹, я признаюсь, что «Тристан и Изольда» Вагнера произвела на меня неизгладимое впечатление. Я слушал эту оперу однажды в Берлине в отчаянном, совершенно издерганном душевном состоянии и сочувствовал каждой ноте. Не знаю, быть может, впечатление было столь глубоким оттого, что я был таким больным.

Знаете ли Вы вдову Бизе? Вы должны послать ей эту брошюру. Она ее порадуется. Это милейшая, очаровательнейшая женщина с нервным тиком, который ей странно идет, и притом очень подлинная, очень настоящая и пылкая натура. <...>

Один экземпляр книги я дал значительнейшему шведскому писателю Августу Стриндбергу, которого я совершенно расположил к Вам. Он настоящий гений, только немного помешан, как и большинство гениев (и не гениев). Я буду старательно подыскивать место для другого экземпляра.

Париж мне теперь малознаком. Вы же отправьте один экземпляр по следующему адресу: *госпоже княгине Анне Дмитриевне Тенишефф², Английская набережная, 20, Петербург*. Эта дама — моя очень близкая подруга; она знает и музыкальный мир Петербурга и сделает Вас там известным. Я уже и раньше предлагал ей приобрести Ваши сочинения, однако в России все, даже «Человеческое, слишком человеческое», было под запретом. Также имело бы смысл отправить один экземпляр князю Урусову³ (который фигурирует в письмах Тургенева). Он очень интересуется всем немецким, человек весьма одаренный, духовный гурман. Я, правда, в данный момент не припомню его адреса, но могу его узнать.

Я рад, что несмотря на все физические недомогания Вы столь бодро и отважно работаете. Я радуюсь всему, что Вы мне обещаете.

Для меня было бы большой радостью, если бы Вы стали моим читателем, но, к сожалению, Вы не понимаете моего языка. Этим летом я неизмеримо много работал. Я написал две большие книги (в 24 и 28 печатных листов): «Польские впечатления» и «Русские впечатления»; кроме того, целиком переработал одну из моих прежних книг, «Исследования по эстетике», для нового издания и сам правил все три книги. Где-то через неделю я закружусь с этой работой, затем у меня будут новые лекции, в промежутках между которыми я буду писать лекции для Петербурга и Москвы и затем поеду посреди зимы в Россию, дабы воспрянуть там духом.

Таков план моего зимнего похода. Пусть только он не обернется русской кампанией в дурном смысле слова.

Надеюсь и в будущем на Ваш дружеский интерес ко мне.

Верно преданный Вам

Георг Брандес.

¹ ...прогневить Вас... — В «Случае Вагнера» Ницше противопоставляет вагнеровскому «полипну бесконечной мелодии» музыку «Кармен» Бизе.

² Княгиня Тенишева стала фактически первой читательницей Ницше в России. В декабре того же года она ответила Ницше письмом на присылку его книги.

³ Урусов Александр Иванович (1843 — 1900) — известный в свое время адвокат. Выступал на процессе по делу Нечаева. Занимался литературной деятельностью под псевдонимом Александр Иванов.

20

НИЦШЕ — БРАНДЕСУ

Турин, 20 октября 1888 года.

Досточтимый и дорогой господин Брандес,

и вновь вместе с Вашим письмом повеяло добрым ветром с севера: по сути, это было до сих пор единственное письмо, в котором бы выразилось «нормальное отношение», вообще какое бы то ни было отношение к моим посягательствам на Вагнера. *Ибо* мне не пишут. Я даже у близких и ближних вызываю ужасный страх. Так, например, мой давний друг барон Зайдлиц из Мюнхена, к несчастью, как раз президент мюнхенского Вагнеровского общества; мой еще более давний друг, советник юстиции Круг из Кёльна, — президент тамошнего Вагнеровского общества; мой зять доктор Бернхард Ферстер в Южной Америке¹, небезызвестный антисемит, — один из самых рьяных сотрудников «Байрёйтских листков»; а моя досточтимая подруга Мальвида фон Мейзенбург, автор «Мемуаров идеалистки», по-прежнему путает Вагнера с

Микеланджело... С другой стороны, мне дали понять, что следует быть настороже с «вагнеристкой»²; в некоторых случаях она действует без колебаний. Возможно, в Байрёйте будут защищаться на германско-имперский и кайзеровский манер тем, что запретят мои сочинения как «опасные для общественной нравственности», и кайзер в этом случае будет на их стороне. Ведь даже мою фразу «нам всем знакомо неэстетичное понятие христианского юнкерства» могут истолковать как оскорбление монарха.

Мне было приятно услышать Ваши похвалы вдове Бизе. Пожалуйста, дайте мой адрес ей, а также князю Урусову. Один экземпляр отправлен Вашей подруге княгине Дмитриевне Тенишефф. После моей *следующей* публикации, которую совсем недолго осталось ждать (название теперь: «*Сумерки кумиров*, или Как философствуют *молотом*»), мне бы также очень хотелось отправить один ее экземпляр столь лестным образом представленному мне Вами шведу. Я только не знаю, где он живет. Это сочинение, представляющее мою философию in puce³, радикально, как преступление...

О том, как воздействует «*Тристан*», я и сам мог бы рассказать немало чудесного. Изрядная доза душевной муки, думается мне, — превосходное тонизирующее средство к вагнерианскому пиришеству. Имперский судебный советник доктор Винер из Лейпцига дал мне понять, что один из карлсбадских курсов лечения также подойдет для этого.

Ну и работающий же Вы! А я, идиот, даже не понимаю по-датски!

Целиком и полностью верю Вам в том, что именно в России можно «воспрянуть духом»; кое-какие русские книги, прежде всего Достоевского (во французском переводе, ради всего святого, не в немецком!), я отношу к величайшим в моей жизни облегчениям.

От всего сердца и с правом быть *благодарным* Вам

Ваш Ницше.

¹ ...в Южной Америке... — Бернхард Ферстер, муж сестры Ницше Элизабет, был одним из основателей немецкой колонии «Новая Германия» в Парагвае.

² «Вагнеристка» — по-видимому, имеется в виду вдова Вагнера Козима, отношение Ницше к которой было крайне противоречиво. В последнюю пору сознательной жизни Ницше рассматривал свои отношения с Вагнерами через призму мифологического треугольника Тезея (Вагнера), Ариадны (Козимы) и Диониса (себя).

³ В самом главном (*лат.*).

21

БРАНДЕС — НИЦШЕ

Копенгаген, 16/XI 88.

Милостивый государь!

Напрасно ждал я ответ из Парижа, чтобы узнать адрес мадам Бизе. Адрес князя Урусова, напротив, у меня теперь имеется. Он живет в Петербурге, Сергиевская, 79.

Все три мои книги уже вышли. Я начал читать здесь мои лекции. Удивительно, как замечания о Достоевском в Вашем письме и Вашей книге совпадают с моими впечатлениями от него. Я упоминаю о Вас также в моей работе о России, где я пишу и о Достоевском. Он великий художник, но отвратительный тип, совершенно христианский в своей эмоциональной жизни и притом совершенно *sadique*¹. Вся его мораль — это именно то, что Вы окрестили рабской моралью.

Потрясающего шведа зовут Август Стриндберг; он живет здесь. Его адрес: *Хольте* под Копенгагеном. Он полагает, что встретил в Вас свое женоненавистничество, и потому особенно Вас ценит. По этой причине Вы для него «*современны*» (ирония судьбы!). Когда он прочел в газетах отзывы на мои ве-

сенние лекции, то сказал: поразительно с этим Ницше; многое у него так, будто бы я сам это написал.

На французском языке вышла его драма «Отец» с предисловием Золя.

Мне грустно, когда я думаю о Германии. Куда она движется?! Как грустно сознавать, что в историческом отношении, по всей видимости, уже не придется пережить ничего хорошего. Как жаль, что Вы, такой ученый филолог, не понимаете по-датски. Я по возможности препятствую тому, чтобы две мои книги о Польше и России были переведены: боюсь, как бы меня не выдворили или как минимум не отказали в праве читать там лекции, когда я снова захочу туда поехать.

В надежде, что эти строки застанут Вас еще в Турине или же будут Вам пересланы,

всецело преданный Вам

Георг Брандес.

¹ Садистический (франц.).

22

НИЦШЕ — БРАНДЕСУ

Турин, виа Карло Альберто, 6, III.
20 ноября 1888 года.

Милостивый государь,

извините, что отвечаю Вам сразу же. В моей жизни теперь присутствует *сигнуса* смысла в случайностях, ничего подобного которой мне не встречалось. Сперва позавчера, и вот теперь — снова. — Ах, если бы Вы знали, *что* я написал только что, когда меня навестило Ваше письмо...

Сейчас я с цинизмом, который станет всемирно-историческим, рассказал самого себя: книга называется «Ессе Ното» и является совершенно безоглядным *покушением на Распятого*; она заканчивается такими громами и молниями всему, что есть христианского или *зараженного* христианством, что у многих потемнеет в глазах. В конечном счете я первый психолог христианства и могу, как старый артиллерист, каковым и являюсь, вывести тяжелые орудия, о существовании которых ни один противник христианства даже и не догадывается. Все в целом — увертюра к «*Переоценке всех ценностей*», произведению, *которое лежит передо мною в завершённом виде*¹. Я обещаю Вам, что через два года весь мир будет содрогаться в конвульсиях. Я — рок.

Вы догадываетесь, кому в «Ессе Ното» пришлось хуже всего? Как двусмысленнейшей породе людей, как по отношению к христианству заслуживающей наибольшего проклятия расе в мировой истории? Господам немцам! Я высказал им страшные вещи... На совести у немцев, к примеру, то, что они лишили смысла последнюю *великую* историческую эпоху, Ренессанс, — и в то мгновение, когда христианские ценности, ценности декаданса, были повержены, когда они были *побеждены* в инстинктах самого высшего духовенства противоположными, жизненными инстинктами!.. *Нападать* на церковь — да ведь это же значило тогда восстанавливать христианство. Цезарь Борджиа — Папа Римский: это было бы *смыслом Ренессанса*, его подлинным символом...

Вы также не должны досадовать на то, что собственной персоной появляетесь в одном из ключевых мест книги — я как раз написал его, — там, где я стигматизирую отношение ко мне моих *немецких* друзей: полнейшее незамечание и в том, что касается признания, и в собственно философском отношении. Вы появляетесь в этом месте, окутанный учтивым облаком славы...

С Вашими словами о Достоевском я безоговорочно согласен; с другой стороны, я высоко ставлю его как ценнейший психологический материал, какой

я только знаю, — я неожиданным образом благодарен ему, как бы ни был он противен моим глубочайшим инстинктам. Примерно то же с моим отношением к Паскалю, которого я почти что люблю, поскольку он бесконечно многому научил меня: единственный *логичный* христианин...

Позавчера с восторгом и как будто бы совершенно свою вещь я читал «Les mariés»² господина Августа Стриндберга. Мое искреннее восхищение ничем не ограничивается, кроме чувства, что я при этом немного восхищаюсь и самим собою. Турин *остаётся* моей резиденцией.

Ваш Ницше, ныне — *чудовище...*

Куда мне следует послать Вам «Сумерки кумиров, или Как философствуют молотом»? В случае, если Вы еще 14 дней будете в Копенгагене, ответ не нужен.

¹ Как известно, четырехчастный труд «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей» не был доведен Ницше до сколь-нибудь завершенного состояния и существует лишь в виде фрагментов из наследия философа. Вышедшая в 1901 году одноименная книга является недобросовестной компиляцией, сделанной сестрой Ницше Элизабет. В данном случае Ницше, очевидно, выдает желаемое за действительное, подразумевая, что эта книга «лежит» перед ним как карта, проработанный план (см. письмо от 4 мая 1888 года).

² «Браки» (*франц.*) — цикл новелл (1884 — 1886) Стриндберга.

23

БРАНДЕС — НИЦШЕ

Копенгаген, 23 ноября 88.

Милостивый государь!

Ваше письмо застало меня сегодня в самый разгар работы; я читаю здесь курс о Гёте, повторяю каждую лекцию по два раза, и тем не менее люди уже за три четверти часа до начала выстраиваются в очередь на площади перед университетом, чтобы занять стоячее место. Мне занятно проходить перед столь многими величайшего из великих. Я должен буду оставаться здесь до конца года.

Далее, однако, тут привходит одно малоприятное обстоятельство — а именно, что, как меня известили, одна из моих старых книг, недавно переведенная на русский, осуждена в России как «безбожная» на публичное *сожжение*.

Из-за последних моих двух работ о Польше и России мне уже заранее следует опасаться быть высланным; сейчас я должен попытаться привести в действие все возможные протекции, чтобы этой зимой получить разрешение выступать в России. К этому добавить то, что сейчас почти вся моя переписка конфискуется. После происшествия в Борках¹ там очень бояться. Так же было после знаменитых покушений; все письма перехватывались.

С живейшей радостью вижу, что Вами вновь уже столь многое сделано. Поверьте, я пропагандирую Вас где только могу. Еще на прошлой неделе я настоятельно призывал Генрика Ибсена изучить Ваши произведения. С ним у Вас тоже есть нечто родственное, хотя и очень отдаленно родственное. Могуч и велик и совсем не любезен, но все же *достойн* любви этот чудак. Стриндберга обрадует, что Вы его цените. Я не знаю французского перевода, который Вы упоминаете. Однако здесь говорят, что все лучшие места в «Браках» («*Mariés*») опущены — в первую очередь остроумная полемика с Ибсеном. Прочтите все-таки его драму «Отец»; там есть просто грандиозные вещи. Он наверняка охотно пришлет ее Вам. Но я вижу его так редко; он нелюдим из-за бесконечно несчастливого супружества. Подумайте только, в *душе* он испытывает отвращение к своей жене и не может обойтись без нее *физически*. Такой он — моногамный мизогин²!

Мне удивительно, что в Вас еще так сильна тяга к полемике. В ранней молодости я был страстно полемичен; теперь я могу только излагать, а сражаюсь лишь молчанием. Я бы не стал нападать на христианство, точно так же, как писать брошюру против оборотней (я имею в виду веры в оборотней).

Но я вижу, мы понимаем друг друга. Я тоже люблю Паскаля. Но я уже молодым был *за* иезуитов, против Паскаля (в «Письмах к провинциалу»). Всемирные хитрецы, ведь они были правы; он их *не* понял, они же поняли его и — какой шедевр сообразительности и нахальства! — сами издали его «Письма провинциала», даже с примечаниями. Лучшие издания те, что сделаны иезуитами.

Лютер против Папы — это та же коллизия. У Виктора Гюго в предисловии к «Осенним листьям» есть это тонкое высказывание: «Созывается Вормский сейм, но расписывается Сикстинская капелла. Есть Лютер, но есть Микеланджело... и в числе того, что отжило свой век, скажем мимоходом, есть Лютер, но нет Микеланджело».

Всмотритесь в лицо Достоевского: наполовину — лицо русского крестьянина, а наполовину — физиономия преступника: приплюснутый нос, маленькие, буравящие тебя насквозь глазки и нервически дрожащие веки, большой и словно бы литой лоб, выразительный рот, который говорит о муках без числа, о бездонной печали, о нездоровых влечениях, о бесконечном сострадании, страстной зависти! Эпилептический гений, уже внешность которого свидетельствует о потоке кротости, наполняющей его душу, о волнах почти невероятной пронизательности, захлестывающих его ум, наконец, о честолюбии, о величии устремлений и о том, как препятствует этому мелкость его души.

Его герои — не только бедные и обездоленные, но и чуткие простецы, благородные девки; часто — страдающие галлюцинациями одаренные эпилептики, вдохновенные искатели мученичества — именно те типы, какие должны были встречаться среди апостолов и учеников первых веков христианства.

Наверняка нет никого, кто до такой степени был бы далек от Ренессанса.

Мне чрезвычайно любопытно, что может говориться обо мне в Вашей книге.

Остаюсь в верной преданности

Ваш

Георг Брандес.

¹ В 1888 году у станции Борки сошел с рельсов поезд, в котором находился император Александр III. Сам царь при этом не пострадал.

² Мизогин — женоненавистник (*греч.*).

СТРИНДБЕРГ — НИЦШЕ¹

Хольте, начало декабря 1888 года.

Милостивый государь,

вне всякого сомнения, Вы преподнесли человечеству самую глубокую книгу из всех, которыми оно обладает, и не меньшая Ваша заслуга состоит в том, что Вы имели смелость (быть может, весьма выигрышную для Вас) выплунуть высокие слова в лицо подонкам. И я благодарю Вас за это! Тем не менее мне кажется, что, несмотря на Ваш свободный ум, Вы обманываетесь касательно этого преступного субъекта. Взгляните на сотни фотографических снимков, иллюстрирующих тип ломброзовского преступника², и признайте, что мошенник — это существо низшего порядка, дегенерат, слабоумный, лишенный элементарных умственных способностей, которые позволили бы ему усвоить параграфы закона и понять, что они являются мощным препятствием на пути его

воли к власти. (Обратите внимание на высокую мораль, которая читается на лицах всех этих честных животных! Это же полное отрицание морали!)

И Вы еще хотите, чтобы Вас перевели на наш гренландский язык! Почему не на французский или английский? Судите сами о том, насколько умна наша публика, если меня за мою трагедию чуть было не посадили в сумасшедший дом, а г-н Брандес, с его гибким и богатым умом, обречен на молчание по воле тупого большинства.

Все письма, адресованные моим друзьям, я заканчиваю словами: читайте Ницше — это мой *Carthago est delenda*³.

Как бы то ни было, Ваше величие пойдет на убыль в тот момент, когда Вас прочтут и поймут, когда презренная чернь скажет Вам «ты», сочтя Вас своим. Лучше сохранять возвышенное молчание и допустить в святилище лишь нас, горстку избранных, чтобы мы могли сполна насладиться мудростью. Давайте же сбережем эзотерическую доктрину в ее целостности и чистоте, раскрывая ее лишь через посредство верных учеников, к числу которых относится и Ваш покорнейший слуга

Август Стриндберг.

¹ Перевод с французского. Ответ на первое, несохранившееся письмо Ницше.

² ...ломбровского преступника... — Имеется в виду выдвинутая итальянским психиатром и криминалистом Чезаре Ломброзо (1835 — 1909) теория биологической predispositionности отдельных личностей к совершению преступлений.

³ Карфаген должен быть разрушен (*лат.*).

25

НИЦШЕ — СТРИНДБЕРГУ

Турин, виа Карло Альберто, 6, III.
8 декабря 1888.

Драгоценный и уважаемый господин Стриндберг,

мое письмо потерялось? Я написал Вам тотчас же после *второго* прочтения, глубоко захваченный этим шедевром¹ *беспощадной психологии*; я выразил также убежденность в том, что Вашему произведению предопределено уже сейчас быть поставленным в Свободном театре мсье Антуана, — Вы должны просто-таки потребовать это от Золя!

Наследственный преступник — декадент, даже идиот, это несомненно! Однако история семейств преступников, основной материал для которой собрал англичанин Гальтон² («Наследственность таланта»), всегда сводит все к проблеме *слишком сильной* для определенного социального уровня личности. Классический образчик этому дает последнее знаменитое уголовное дело — дело Прадо в Париже. Самообладанием, остроумием, запалом Прадо превосходил своих судей и даже адвокатов; тем не менее *гнет обвинения* так истощил его физически, что некоторые свидетели смогли узнать его лишь по старым изображениям.

Ну а теперь пять слов между нами, *сузубо* между нами! Вчера, когда меня нашло Ваше письмо — первое письмо в моей жизни, которое *нашло* меня, — я как раз завершил последнюю ревизию рукописи «*Ессе Ното*». Поскольку в моей жизни больше нет случайностей, Вы, следовательно, тоже не случайность. Зачем же пишите Вы письма, которые приходят в такое мгновение!.. На деле «*Ессе Ното*» должен появиться одновременно на немецком, французском и английском. Я вчера же отправил рукопись моему наборщику; как только рукопись будет набрана, она должна попасть в руки господ переводчиков. Но кто эти переводчики? Право, я не знал, что Вы сами ответственны за превосходный французский Вашего «*Отца*»: я думал, что это мастерский пере-

вод. В случае, если бы Вы сами пожелали взяться за перевод на французский, меня бы просто осчастливило такое чудо осмысленности в совпадениях. Ибо, между нами, чтобы перевести мой «Ессе Ното», нужен первоклассный писатель, который по выразительности, утонченности чувства стоял бы на тысячу миль выше любого «переводчика». К тому же это вовсе не толстая книга; я думаю, что во французском издании (возможно, у *Лемерра*, издателя Поля Бурже³) она составила бы как раз такой же том за 3 франка 50. А поскольку в ней высказываются совершенно неслыханные вещи и местами, притом с полнейшей невинностью, говорится языком *правителя мира*, мы превзойдем числом изданий даже «Нана»⁴... С другой стороны, это убийственно *антинемецкая* книга; через все повествование идет поддержка партии *французской* культуры (я рассматриваю там всех немецких философов как «бессознательных» фальшивомонетчиков)... Притом читать эту книгу не скучно: местами я писал ее даже в стиле «Прадо»... Чтобы обезопаситься от немецких брутальностей («конфискации»), *первые* экземпляры, еще до появления книги, я с письменным *объявлением войны* направлю князю Бисмарку и молодому кайзеру⁵: на это военные не осмелятся ответить полицейскими мерами. — Я — психолог...

Подумайте об этом, милостивый государь! Это дело первостепенной значимости. Ибо я достаточно силен для того, чтобы расколоть историю человечества на две части.

Остается еще вопрос английского перевода. Может быть, у Вас есть какие-нибудь соображения на этот счет? *Антинемецкая* книга в Англии...

Преданнейше

Ваш

Ницше.

¹ Речь идет о драме Стриндберга «Отец».

² Гальтон Фрэнсис (1822 — 1911) — английский путешественник и писатель, основоположник евгеники, президент Антропологического института в Лондоне.

³ Бурже Поль (1852 — 1935) — французский писатель, член Французской Академии. Придерживался консервативных, правых воззрений.

⁴ «Нана» — роман Э. Золя.

⁵ Несколько днями позже Ницше действительно отправил письма с объявлением войны Бисмарку и только вступившему на престол кайзеру Вильгельму II.

26

СТРИНДБЕРГ — НИЦШЕ¹

Хольте, 11 декабря 1888 года.

Милостивый государь,

мне доставило огромное удовольствие получить несколько одобрительных слов, написанных Вашей рукой в адрес моей плохо понятой трагедии. Знаете ли Вы, сударь, о том, что мне, дабы увидеть мою пьесу опубликованной, пришлось согласиться на два бесплатных издания? Зато во время театрального представления одна дама свалилась замертво, у другой начались родовые схватки, а при виде смирительной рубашки три четверти публики разом поднялось и, под сумасшедшие вопли, покинуло зал.

А Вы еще хотите, чтобы я требовал от г-на Золя постановки моей пьесы перед парижанками Анри Бека²! Тогда в этой столице рогоносцев начнутся повалыные роды!

Теперь — о Ваших делах. Иногда я сочиняю сразу по-французски (для примера прилагаю к письму статьи: они написаны в легком бульварном стиле, но язык не лишен выразительности), иногда перевожу уже написанное. Однако и в том и в другом случае мне нужно, чтобы мой текст перечитал человек, для которого французский язык является родным.

Найти переводчика, который не выхолостил бы стиль в соответствии с правилами Высшей школы риторики, который не лишил бы язык его девственной выразительности, — задача почти невыполнимая. Отвратительный перевод «Браков» был сделан франкоязычным швейцарцем за круглую сумму в десять тысяч франков и к тому же дополнительно проверен в Париже еще за пятьсот. Иными словами, Вы понимаете, что перевод Вашего произведения — это прежде всего вопрос денег, и, учитывая мое неважное финансовое положение^{*}, я не могу Вам сделать скидки, тем более что тут требуется не просто ремесленная, а поэтическая работа. Так что, если значительные расходы Вас не смущают, Вы можете смело рассчитывать на меня и на мой талант. <...>

* Жена, трое детей, двое слуг, долги и т. д.

¹ Перевод с французского.

² Бек Анри (1837 — 1899) — французский драматург, поборник натурализма.

27

НИЦШЕ — СТРИНДБЕРГУ

Турин, виа Карло Альберто, 6, III.
18 декабря 1888 года.

Уважаемый и драгоценный господин Стриндберг,
за это время мне прислали из Германии «Отца» в доказательство тому, что я, в свою очередь, заинтересовал моих друзей отцом «Отца». <...>

Снаружи с мрачной помпой движется похоронная процессия: князь ди Кариньяно, кузен короля¹, адмирал флота. Вся Италия в Турине.

Ну, Вы осведомили меня о Ваших шведах! И вызвали во мне *зависть*. Вы не цените Вашего счастья — «o fortunatos nimium, sua si bona norint»² — а именно, что Вы не немец... Нет никакой другой культуры, кроме французской; это не демарш, а само благородие, идти в *единственную* школу, — она неизбежно окажется и *верною*... Вы желали бы подтверждений этому? Но Вы сами — подтверждение! <...>

С сердечным расположением

и наилучшими пожеланиями

Ницше.

¹ В «безумных записках» января 1889 года Ницше будет идентифицировать себя то с отцом короля Италии Умберто I, то с его умершим кузеном, о котором здесь идет речь: «...этой осенью, одетый ничтожнее, чем можно себе вообразить, я <...> присутствовал на моем погребении».

² О, счастливы те, кто познал свое благо (*лат.*).

28

НИЦШЕ — СТРИНДБЕРГУ

Турин, 31 декабря 1888 года.

Дорогой господин Стриндберг,

Вы вскоре сможете услышать ответ на Вашу новеллу¹ — он звучит как ружейный выстрел... Я повелел созвать в Риме правителей, я хочу расстрелять молодого кайзера.

До свидания! *Ибо* мы увидимся... Une seule condition: Divorçons...²

Ницше Цезарь.

¹ Речь идет об одной из присланных Ницше Стриндбергом «швейцарских новелл», возможно — новелле «Муки совести», где говорится о безразличии европейских монархов к

своим народам. Примечательно, что герой этой новеллы — прусский офицер, который сходит с ума и помещается в психиатрическую лечебницу.

² Непременное условие: разведемся... (франц.).

29

СТРИНДБЕРГ — НИЦШЕ

Holtibus pridie Cal. Jan. MDCCCLXXXIX.

Carissime Doctor!

Θελω, Θελω μανηυαζ!

Litteras tuas non sine perturbatione accipi et tibi gratias ago.

Rectius vives, Licini, neque altum
Semper urgendo, neque dum procellas
Cantus horreskis nimium premendo
Litus iniquum.

Interdum juvat insanire!
Vale et Fave!

Strindberg (Deus, optimus, maximus).

Перевод:

Хольтибус, накануне янв. 1889.

Дражайший доктор!

Хочу, хочу безумствовать!

Письма Твои я получил не без волнения. Благодарю Тебя.

Правильно будешь Ты жить, Лициний, коль скоро пускаться
Больше не станешь в открытое море и, опасаясь бури стихов,
Не будешь приближаться к столь опасному берегу.

Приятно, однако, подурачиться!
Будь здоров и благосклонен!

Стриндберг (Бог, лучший, величайший) (лат., др.-греч.).

30

НИЦШЕ — СТРИНДБЕРГУ

<Турин, начало января 1889.>

Господину Стриндбергу

Eheu?.. Больше не Divorçons?..¹

Распяты́й.

¹ Увы?.. ...разведемся?.. (лат., франц.).

31

НИЦШЕ — БРАНДЕСУ

Турин, 4 января 1889 года.

Моему другу Георгу

После того, как Ты меня открыл, найти меня было не чудом; трудность теперь в том, чтобы меня потерять...

Распятый.

Перевод с немецкого, вступительная статья
и примечания **Игоря Эбанондзе**.



**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА КУШНЕРА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ,
УЧРЕЖДЕННОЙ ФОНДОМ АЛЬФРЕДА ТЁПФЕРА (ГЕРМАНИЯ)!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА И СОТРУДНИКА,
ЧЛЕНА РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА
ОЛЕГА ГРИГОРЬЕВИЧА ЧУХОНЦЕВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ,
УЧРЕЖДЕННОЙ ФОНДОМ АЛЬФРЕДА ТЁПФЕРА (ГЕРМАНИЯ)!**

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



С ВАРЛАМОМ ШАЛАМОВЫМ

Мы с ним оба были верные «сыны Гулага», я хоть по сроку и испытаниям меньше его, но по духу, по отданности, никак не слабей. Это — очень стягивало нас, как магнитом. И когда в 1956 я читал в самиздате стихи его, неведомого:

Я знаю сам, что это — не игра,
Что это — смерть. Но даже жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развёрнутой тетради, —

да ведь это ж просто обо мне! о моей тайне! — и он соучастник. И с подобным же чувством прочёл он в самиздате 1962 года «Ивана Денисовича» — по своему пессимистическому взгляду никак не допуская, что это будет опубликовано.

В один из среднеоябрьских дней, когда «Иван Денисович» был только-только напечатан, мы впервые встретились в комнатухе отдела прозы «Нового мира». Он был крайне взволнован событием (теперь имея в виду, что же будет с «Колымскими рассказами»): по своей болезненной манере нервно подёргивал вытянутым бритым лицом, как бы закусывал сдвинутой челюстью и размахивал предлинными руками. Из его первых фраз было: что идёт повсюду спор — будет ли мой рассказ ледоколом, таранящим дорогу и всей остальной правде, лагерной и не лагерной, либо (и Шаламов склонялся так): это — только крайнее положение маятника, и теперь покачнёт нас в другую сторону. Я, хоть и ожидал вскоре зажима меня самого — но лишь потому, что всё прочее моё обнаружится куда острее «Денисовича», а в общем движении, я думал, прорыв продолжится и будет значительный. Нет, пессимизм Шаламова оказался верней.

В тех же днях он написал мне в Рязань длинное, пылкое письмо, если даже не назвать его отчасти нежным, хотя это так непохоже на Шаламова, но был такой дух в его письме! «...очень-очень эту повесть хвалили. Но только прочтя её сам, я вижу, что похвалы преуменьшены неизмеримо», «столь тонкая высокохудожественная работа мне не встречалась, признаться, давно»; «повесть эта для внимательного читателя — откровение в каждой её фразе», «детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигают новы». О «школе Ижмы» для Шухова: «Всё это в повести кричит полным голосом, для моего уха...» — «Художественная ткань так тонка, что отличаешь латыша от эстонца»; «произведение чрезвычайно экономно, напряжено, как пружина, как стихи». — И даже, переступая через своё глубокое убеждение об абсолютности зла лагерной жизни, признавал: «Возможно, что такого рода увлечение работой [как у Шухова] и спасает людей».

Повод был — об «Иване Денисовиче»; а в письме том — делился он и делился нашими общими лагерно-литературными чувствами на таком пороге. Я, разумеется, теплейше ему ответил, а вскоре, по его приглашению, повидал его в Москве — оказалось, в том же полубарачном-полуписательском городке на Хорошевском шоссе, где только что недавно я был у Ахматовой. В. Т. оказался женат, у жены взрослый сын, — но странное было впечатление условности этого соединения,

чуть ли не раздельного хозяйства супругов. Один этот раз я и видел их вместе, а то всегда заставал В. Т. одного, в его отдельной комнатухе, сходной с камерой.

Не помню, ещё при первой ли нашей встрече в редакции или в этот раз тут, но на очень ранней поре возник между нами спор о введённом мною слове «зэк»: В. Т. решительно возражал, потому что слово это в лагерях было совсем не частым, даже редко где, заключённые же почти всюду рабски повторяли административное «зе — ка́» (для шутки варьируя его — «Заполярный Комсомолец» или «Захар Кузьмич»), в иных лагерях говорили «зык». Шаламов считал, что я не должен был вводить этого слова и оно ни в коем случае не привьётся. А я — уверен был, что так и влипнет (оно оборотливо, и склоняется, и имеет множественное число), что язык и история — ждут его, без него нельзя. И оказался прав. (В. Т. — нигде никогда этого слова не употребил.)

Тут я взял у В. Т. читать уже многое из его «Колымских рассказов» (в несколько потом приёмов возвращал и больше брал), тут же сговорил его сделать подборку стихов, которые сам передам Твардовскому. (Стихи его уж очень-очень были мне к сердцу.) Первые месяцы после напечатания «Ивана Денисовича», даже год, пока я не начал усиленно собирать материалы для «Красного Колеса», я не знал на себе более высокого долга, чем лагеря и бывшие зэки.

Правда, рассказы Шаламова художественно не удовлетворили меня: в них во всех мне не хватало характеров, лиц, прошлого этих лиц и какого-то отдельного взгляда на жизнь у каждого. В рассказах его не-лагерных чаще был какой-нибудь анекдотический случай, которыми одними литературу не питаешь. А в лагерных — действовали не конкретные особенные люди, а почти одни фамилии, иногда повторяясь из рассказа в рассказ, но без накопления индивидуальных черт. Предположить, что в этом и был замысел Шаламова: жесточайшие лагерные будни истирают и раздавливают людей, люди перестают быть индивидуальностями, а лишь палочками, которые использует лагерь? Конечно, он писал о запредельных страданиях, запредельном отрешении от личности — и всё сведено к борьбе за выживание. Но, во-первых, не согласен я, что настолько и до конца уничтожаются все черты личности и прошлой жизни: так не бывает, и что-то личное должно быть показано в каждом. А во-вторых, это прошло у Шаламова слишком сквозно, и я вижу тут изъян его пера. Да в «Надгробном слове» он как бы расшифровывает, что во всех героях всех рассказов — он сам². А тогда и понятно, почему они все — на одну колодку. А переменные имена — только внешний приём сокрыть биографичность.

Другая беда его рассказов, что расплывается композиция их, включаются кусочки, которые, видимо, просто жалко упустить. Многие рассказы («Галстук», «Тётя Поля», «Тайга золотая» и другие) составлены как бы из калейдоскопических кусочков, нет цельности, а наволакивается, что помнит память, — хотя материал самый добротный и несомненный. Иногда из недоразвитой картины он перескальзывает в рассуждение, но и оно расплывается (как в «Красном кресте»). Однако во всех этих приметах я усматриваю не столько творческую программу Шаламова, сколько результат его изнеможения от многолетнего лагерного измота. В них тоже — черта подлинности.

Очень ценно было отдельное его «физиологическое» исследование о блатном мире.

Стихи Шаламова всегда мне нравились больше, чем проза его. (Как и ему самому.)

В новогодние дни 1963 года Шаламов приходил к нам в гости в неприятно-«роскошный» номер «Будапешта», что на Петровских линиях, мы ужинали в номере и живо обсуждали пьесы: мою «Олень и Шалашовку», которую он уже прочёл, — и его колымскую пьесу, не помню её названия, драматургии в ней было не больше, чем в моей, но живое лагерное красное мясо дрожало так же, пьеса его волновала меня.

До этой поры я ещё не взялся записывать наши встречи с Шаламовым. Первый раз записал встречу в мае 1963. Это — почти сплошь его отдельные литератур-

² Позже, в 1993, это и подтверждено близким свидетелем. — «Время и мы», № 115, Сиротинская.

ные суждения. Не знаю, может быть, они уже опубликованы, изложены в системе, но во всяком случае приведу отрывочно, как у меня записано.

— Андрей Платонов — очень большой писатель, загублен Горьким, которому верил, а тот советовал чушь: «не печатайте».

— Горький — отец журнального «самотёка», он провозгласил, что талант — это только труд, трудом можно достичь всего, и обманул многих бесплодных кропателей. Но труд — это уже *потребность* таланта, а не отец таланта. (Верно!)

— Писатель должен быть немного «иностранцем» по отношению к описываемому материалу. Слишком много знать о материале не надо, слишком большой опыт не нужен писателю: он тогда становится непонятен своим читателям, чересчур глубоко уходит в материал, не знакомый им. (Последнюю опасность понимаю, но талант и вкус должны помочь от неё удержаться. А не знать материала достаточно хорошо — с этим не соглашусь: тогда и будет поверхностно. В. Т. говорил это, видимо, с горечью о себе: что он *слишком* вошёл в лагерный материал, так что читателям уже и не верится или слишком неуютно. А я примеряюсь — к истории революции: как же бы можно сметь писать её, зная недостаточно?)

— В ритмах, размерах русской поэзии — бесконечное многообразие, ямб не похож на ямб и т. д. Поэтому: нечего искать какие-то новинки, рваные формы. Надо *выдать кровь* — и будут *стихи!* (Совершенно с ним согласен.)

Это — из устойчивых убеждений В. Т., об этом у него есть и стихотворение:

Поэзия — дело седых,
Не мальчиков, а мужчин
.....
Сто жизнью проживших сполна.

— Стихотворение не должно быть продумано заранее, а родиться в ходе написания.

— Ахматова — очень большой поэт, больше Гумилёва, даже обрезая её по 1921 году. Её единственный недостаток — некоторая академичность, холодноватость. Цветаева — больше Ахматовой, потому что горячо вложила душу и кровь. Но — много потеряла на ненужные формальные поиски.

— У Есенина — чистое поэтическое горло, этим он отличается. И... — у Северянина было чистое горло.

— У Твардовского самое лучшее — «Дом у дороги», потому что минор, трагическое звучание. В мажоре не создаются великие вещи. Фронтовой «Тёркин» выше «Тёркина на том свете», в этом последнем много частных достоинств (отдельные строфы, мысли, места), но главный порок: что сталинское время — не предмет для балагана, у Твардовского плавный санный съезд с темы. (Шаламов до конца сохранял полный зэческий накал. И не заметил я в нём, чтобы холодный отказ Твардовского лично раздражил его против А. Т. А какое горе, что Твардовский не воспринял и не напечатал тех стихов Шаламова.) «За далью даль», считал он, — провал.

— Поэтов не урожаяется ни «больше», ни «меньше». Их бывает всегда примерно одно и то же количество на поколение. (Эта мысль — и странная, и спорная.)

Спорили мы с ним о точке с запятой. Шаламов считал, что этот знак совсем себя изжил и ставить не надо. А я — отстаивал, он очень незаменим бывает, и зря им мало пользуются теперь.

Окно варламовской комнатухи всегда было наглухо закрыто и форточки не откроешь: выходило на Беговую, на страшное Хорошевское шоссе с постоянным перегаром грузовиков, а ещё как дребезжали стёкла от раннего утра и до позднего вечера! — но тут Варламу «помогала» сильная послелагерная глухота. А я как раз в тот (1963) год, получив свободу от школы, провёл чудесную весну в Солотче в разливное время в отдельном домике в лесу, и на осень ехал туда же, отдаться писанию «Ракового корпуса». И так мне жалко было Варлама, что он лишён и тишины и воздуха, я пригласил его приехать и поработать у меня недельку. И он охотно приехал. Это был тёплый сентябрь, когда ещё топить не нужно. Избушка не имела отдельных комнат, печь и перегородки не до потолка, всего-то мог я ему предло-

жить закуток, правда светлый, с отдельным окном на юг, с кроватью и маленьким столиком.

Приглашая его, я судил по себе: мне бы только дали работать в тишине и в чистом воздухе, с утра до вечера, лишь бы не мешали, — и я думал, что и он нуждался лишь в том. А, оказалось, он понимал так, что вторую половину дня или хотя бы к вечеру мы будем подолгу разговаривать. Он предполагал между нами длинные литературные разговоры, он весьма нуждался в таком общении — да и очень интересные у него суждения. Но я вообще не люблю «разговаривать о литературе»; предпочитаю молча читать и выпитывать, молча писать своё. Да при моём постоянном тоннельном прорыве сквозь хребты, 16-часовой неразгибности в день, — я совершенно не готов был так проводить время. Уклонился раз, два, три, самое большое могу разговаривать только к ночи полчаса. Он — может быть обиделся, может быть и нет, — но понял нашу несовместимость, и через два дня круто сказал, что — уезжает. Всё же в Солотче он написал два-три стихотворения («Будто там, в садах Платона, / Длится этот диалог...»). Открытой размолвки между нами этот неудачный опыт не вызвал — но и не сблизил никак.

Были у нас встречи и после того, но записана у меня весьма важная встреча 30 августа 1964. Я только что вернулся после летней работы в Эстонии, где неудержимо понесло меня на складку большого корпуса «Архипелага». Определились и Части его, и в Частях — многие главы, и множество уже натекшего материала я разнёс по этим заготовкам глав. Но: я и не верил в возможность справиться мне одному, да и просто не смел с таким замыслом обойти Варлама: он имел все права на участие. И я пригласил его встретиться — прийти на Чапаевский, где я остановился у Вероники Туркиной-Штейн. По телефону я, разумеется, не мог ему даже намекнуть — и он, хотя это было утреннее время, пришёл как в гости — очень помытый, в чистенькой голубой рубашке, каким мне не приходилось его видеть по его домашней запущенности. А я вместо торжественного стола — повёл его, чтобы не «под потолками», в соседний большой сквер, где и улеглись мы на травке в отдалении ото всех и говорили в землю — разговор был слишком секретен.

Я изложил с энтузиазмом весь проект и моё предложение соавторства. Если нужно — поправить мой план, а затем разделить, кто какие главы будет писать. И получил неожиданный для меня — быстрый и категорический отказ. Даже: знал я за В. Т. умение тонко намекнуть вместо того, чтобы сказать прямо (у меня уже слагалось такое ощущение, что я с ним открыт, а он полузакрыт), — а тут он ответил прямо: «Я хочу иметь гарантию, для кого пишу».

Я был тяжело поражён: до этого самого момента я был уверен, что у него, как и у меня, главная линия — сохранить память, просто писать для потомства, хоть без надежды напечатать при жизни. А он:

— Зачем я буду это писать? Какая разница, что я напишу — и это будет лежать в каком-нибудь другом месте?

Да ведь понятно ему было: такую книгу невозможно печатать.

Мысль об известности — видимо, сильно двигала им.

Ответ его был так категоричен, что и уговаривать бесполезно. Весь огромный замысел теперь ложился на мои плечи на одни. Записал я в тот день: «Нет, между нами всё-таки нет открытой ясности отношений, какая-то стена отчуждения или неполного родства — и вряд ли мы через неё когда-нибудь перейдём...» Ушёл я с утяжелённым чувством, хотя понимал, что он волен быть самим собой. Но было и облегчение: я тоже ведь, таким образом, сохранял теперь индивидуальность пера.

Это только начало мне тогда проясняться, главным образом со стороны художественной: трудно нас сопрячь в одну книгу, очень мы разные перья. И о скольких принципах, направлениях, пропорциях, тоне, местах, абзацах и фразах пришлось бы нам спорить — пожалуй, до взаимного истощения. Но в тот момент мне казались важней — единство и совместный охват нашего лагерного опыта.

Только много позже, уже работая над «Архипелагом», я подумал: а взгляды? да разве можно было совместить наши мироощущения? Мне — соединиться с его ожесточённым пессимизмом и атеизмом? А — политические взгляды? Ведь, несмотря на весь колымский опыт, на душе Варлама остался налёт сочувственника революции и 20-х годов. Он и об эсерах говорил с сочувственным сожалением, что, мол,

они слишком много сил потратили на расшатывание трона, и оттого после Февраля — у них не осталось сил повести Россию за собой. (Да ведь — и ума! и души! да ведь — и ответственности перед страной и государством.) За пределами лагерной темы, на русскую и советскую историю в целом — у нас были взгляды, конечно, слишком разные.

И хорошо, что Шаламов отказался, — только загубили бы мы книгу.

В ту встречу были и другие разговоры у нас, восстанавливаю по записям того дня. После нескольких лет держания, чуть ли не с 1958, редакция «Советского писателя» вернула ему «Колымские рассказы», 34 штуки. При этом 4-6 положительных внутренних рецензий (о которых ему известно) — все скрыты, и присланы автору только две отрицательных, главная из них — «октябриста» Дрёмова. Тот пишет, что рассказы эти *неполезно* читать советскому читателю. И пытается Дрёмов противопоставить «Колымским рассказам» «Ивана Денисовича» (за которого, впрочем, в той же рецензии хает и меня: «пытался», «не удалось», «слабая художественная индивидуальность образов»). В. Т. предположил, и мы согласились: такие рецензии (там и адрес критика указан) следует распространять в самиздате вместе с отвергнутым произведением, пусть люди узнают о сути таких внутренних рецензий; тогда авторы их ещё десять раз подумают прежде, чем так подло рецензировать. С раздражением на Дрёмова Варлам сказал:

— Как я мог полемизировать с «Иваном Денисовичем», когда это написано на 10 лет раньше?..

(Да, впрочем, и я «Ивана Денисовича» задумал в 1950, мы развивались параллельно.)

Раздражение В. Т. невольно переносилось и на меня, на успех «Денисовича» — и можно его понять! Пройдя такие жестокие муки, годами вынашивая рассказы о них — и всё обойдённый печатью. Конечно, от первого же появления «Ивана Денисовича» Шаламову было очень тяжело: что, такой заслуженный лагерник, не он первый вышел с этой темой громко. Но — тогда он не дал в себе развиться зависти, обиде, держал себя благородно.

Ещё в тот раз Шаламов сказал: поэтическая критика в «Новом мире» ведётся очень плохо, и он перестал там работать внутренним рецензентом.

И ещё, о театре «Современник», очень меня поразив:

— Это — театр, который гонится за сенсационностью, а своей *линии* у него нет.

Я: — А у какого театра теперь — есть?

Он: — Это уже другой разговор.

И не ответ.

Были и ещё у нас встречи, но записана только одна: в начале июня 1965, в комнатке В. Т. на Хорошевском шоссе, где стёкла не умолкали постоянно греметь от страшного шума тяжёлых грузовиков.

В. Т. с большим и справедливым раздражением разносил какую-то напечатанную фальшивую книгу о колымских лагерях (не записал я автора, кажется на «К»). В этой связи заговорили о мемуарах Е. Гинзбург (тогда только 1-й части). Он резко высказывал: забвение товарищей, выпячивание себя (я сам не нашёл так, хотя и Твардовский сказал о книге то же самое); враньё (?), фальшивая душа; характер втируши, крайне (?) левые мнения, рукопись как паспорт фрондизма. Резко говорил и о ней самой: что на Колыме она занималась коммерческими операциями, а «обосновать более тяжёлого обвинения не могу» (т. е. в стукачестве). Кажется, его раздражение загорелось из-за двух её характеристик: похвальной — Кривицкому (В. Т.: он — организатор провокаций и лагерных процессов) и хулы — Владимировой (о которой Шаламов написал: «Пророчица или кликуша»).

В этот раз рассказывал Варлам и о своём выступлении на мандельштамовском вечере, которым был горд. Записано у меня, сказал буквально:

— Мой час придёт!

Да, было у него много прав для такой надежды. Но — слишком жестокая и длительная мясорубка, а жизнь — отмерена, а здоровье обрывчиво.

После провала моего архива в сентябре 1965 начались годы травли и моей начальной борьбы, и мы уже не виделись. Отозвался я немедленно письмом на пуб-

ликацию его стихов в «Литгазете» летом 1966: «Очень неожиданно и тем более приятно было увидеть в „Литературке“ Ваши стихи! Рад! Нравится. А „О песне“ — 1 и 4 — великолепно, очень значительны!» В тот же год и он мне — на моё выступление в Институте востоковедения: «Поздравляю. Так и надо было действовать давно». (Не угас под пеплом его политический, бунтарский огонь...)

А потом вдруг — его тягостное отречение от «Колымских рассказов» в «Литгазете» в феврале 1972: «зловонные журнальчики» (эмигрантские), «змеиная практика господ из „Посева“», «я — честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчёт в значении XX съезда коммунистической партии» и — «проблематика „Колымских рассказов“ давно снята жизнью»... От дела всей своей жизни — так громко отрёкся...

Меня — это крепко ударило. Кто?? Шаламов?? сдаёт наше лагерное? Непредставимо, как это: признать, что Колыма — «снята жизнью»? И помещено-то в газете было почему-то в чёрной рамке, как если бы Шаламов умер. Я в тех же днях откликнулся в самиздате. И добавил в «Архипелаг».

Жестокий конец, как вся лагерная и послелагерная жизнь Шаламова. Да и — как устоявшееся выражение его худого желвачного лица при чуть уже безумноватых глазах.

Пополнил он ряд самых трагических фигур нашей литературы.

1986

Добавление 1995 г.

А вот, вдруг, опубликовано «Из дневников» В. Шаламова³. (Видать — далеко не всё, очень разрозненно).

И я поражён. Изо всего нашего знакомства, ни из одной встречи, никаким предчувствием я не мог предположить такое: что Шаламов меня возненавидел.

Теперь стал мне понятен и его отказ от соавторства по «Архипелагу»: «Почему я не считаю возможным личное моё сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать своё личное слово в русской прозе, а не по-явиться в тени такого в общем-то дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына». (Да неужели же к моей *борьбе* с советским режимом, никогда ни малейшей сделки с ним, ни отречения от своего написанного, — подходит слово «делец»?)

Больно, Варлам Тихоныч, своих не познаша... А я считал Вас — уж каким братом по перу!

Теперь он вспоминает разговор — не помню, может быть и был, а может быть его задуманный и произнесенный вопрос: как мог я (нищий провинциальный учитель) принять гонорар за публикацию «Ивана Денисовича»? Что за нелепость? (Отдав миллионные гонорары за «Архипелаг» в фонд помощи ээкам, я себя упрекнуть никак не могу.) А сам Шаламов, за публикации своих лагерных стихов — разве не брал гонораров? И кто его упрекнёт? А вот — напечатать, что «проблематика „Колымских рассказов“ давно снята жизнью», — вот это по отношению к лагерной памяти — как?

А может быть это своё отречное письмо сам Шаламов и не ощутил как оглушительную капитуляцию? Вопреки его буйной политической молодости — после лагерей, вследствие ли ээковской осторожной выучки, или по истинному переносу интересов — ведь он никогда, ни в чём ни пером, ни устно не выразил оттолковения от советской системы, не послал ей ни одного даже упрёка, всю эпопею Гулага переводя лишь в метафизический план. На остаток — его разногласия с советской властью были, как у Синявского, «лишь эстетические»?

Хотя нет. Та политическая страсть, с которой он когда-то в молодости поддерживал оппозицию Троцкого, — видно, не забита и восемнадцатью годами лагерей. К тому вижу его запись, что ему, 50-летнему, «даже в 1956 году не было поздно

³ «Знамя», 1995, № 6.

повторить карьеру де Голля». Удивительная запись (примерно 1978). Разве горит у Шаламова деголлевская жажда спасения Родины? Или: что понимал он в военном деле, военном духе? Как всегда у него: ничто на Земле не сравнимо с лагерем. Однако и: не всё на Земле лагерем исчерпано.

Теперь видно: озлобление его ко мне — настойчиво росло, всё возвращается. Уже — и рак я «придумал» (и Твардовский было «придумал», но доказал смертью...). И за границу почему не поехал — «боялся встречи с Западом». И то, что я свою лагерную стихотворную повесть сам не печатаю по её несовершенству, — тоже мне в вину... И помощь ему предлагал — тоже в вину.

Недобро и о Пастернаке. Пренебрежительно (и с полным непониманием!) к Булгакову. Да сквозь все его эти дневниковые записи — обзлённость то и дело выныривает, далеко не только ко мне.

Уж так круто-тяжко сошлось Варламу к его ужасному концу. В одинокие предсмертные годы не выдержал душой неудач и несчастий.

Добавление 1998 г.

В «Шаламовском сборнике», выпуск 2, повторив публикацию «Записных книжек» из «Знамени», публикаторша берётся ещё — от себя — пополнить упреки покойного ко мне⁴.

«Солженицын не показал рассказов Шаламова Твардовскому» — и сопровождает своими низкими толкованиями. А я — сразу же за публикацией «Ивана Денисовича» обратился к В. Т.: отберите какие Ваши стихи, я попробую передать А. Т. И — передал. Твардовскому, к моему удивлению и сожалению, они вовсе не понравились, и он выразил мне резкое неудовольствие моим посредничеством⁵. Продолжать его, настаивать — было неуместно. Тем более, что путь через новомирский отдел прозы был Шаламову и открыт, и использован им: его рассказы там хорошо знали, они лежали в «Новом мире» задолго до публикации «Ивана Денисовича», он сам мне о том писал.

Ещё, прямой навет. В рубрике «Разрозненные записи <1962 — 1964>» приводится записанный Шаламовым разговор⁶ с «новым знакомым», который, «быстро перебирая небольшими пальчиками» машинопись рассказов Шаламова, наставляет его: «в Америку посылать этого не надо», «не верить в Бога» — нельзя «добиться успеха на Западе»; и ещё: «Александр Трифонович не любит слова „кулак“». Поэтому я всё, всё, что напоминает о кулаках, вычеркнул из Ваших рукописей, Варлам Тихонович». — Шаламов не называет имени «нового знакомого», но публикаторша делает это за него: в комментариях 1995 года намекает, а в 1997, в «Шаламовском сборнике», вып. 2, уже прямо, не смущаясь, приписывает Солженицыну слова: «Без религии на Западе не пойдёт». — **Никогда не было** у меня с Шаламовым ни такого, ни подобного разговора — «пойдёт-не пойдёт», никогда я не «черкал» рукописей В. Т., никогда не обсуждал, посылать ли ему их на Запад.

Сиротинская искажает и обстоятельства моей реплики на отречение Шаламова в «Литгазете»: «из благополучного Вермонта... о бесправном, но недобитом калеке». Я откликнулся тогда же, в СССР, в феврале 1972, весьма далёкий от благополучия и обложенный травлей с непредсказуемым концом.

⁴ «Шаламовский сборник». Выпуск 2. Вологда, «Грифон», 1997, стр. 73 — 75.

⁵ «Бодался телёнок с дубом». М., «Согласие», 1996, стр. 57 — 58.

⁶ «Знамя», 1995, № 6, стр. 143 — 144.

О П Ы Т Ы

А. С. ПУШКИН. 1799 — 1999

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ



ПЬЕРО БЕЛКИН

Положили послать за ним и объявить
ему неожиданное счастье...

А. С. Пушкин, «Метель».

Когда хвалили Белкина, Пушкин улыбался: «Писать повести надб вот этак: просто, коротко и ясно...»

В провинции поначалу спрашивали, кто такой Белкин, но в Петербурге мистификация сразу была разоблачена, и самым скучным образом: Александр Сергеевич опять шалит, а ведь пора образумиться... Инициалы «А. П.» на обложке выдали Пушкина с головой. Впрочем, он и не собирался долго таиться, сам просил Плетнева шепнуть Смирдину, что никакого Белкина нет, а есть Пушкин.

С тех пор только любопытные младшие школьники могут спросить: «Почему книга Пушкина, а повести Белкина?» И тогда взрослые говорят детям то, о чем Петру Александровичу велено было сообщать шепотом: никакого Белкина нет, это Пушкин так придумал, что это Белкин, а на самом деле...

На самом деле Белкин «родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине» и двухсотлетие со дня его рождения можно было отметить в конце 1998 года. Месяц рождения у Пушкина прямо не указан, но судя по тому, что Иван Петрович умер осенью 1828 года «на 30-ом году от рождения», можно догадаться, что Белкин умер двадцатидевятилетним, а тридцать лет ему исполнилось бы поздней осенью или в декабре 1828 года.

Шестая повесть

Пространное предисловие к повестям обычно пролистывается даже внимательным читателем, ведь раз произведение написано Пушкиным, то к чему такая длинная повесть о мнимом авторе («Гробовщик», к примеру, всего лишь вдвое длиннее предисловия).

А это и в самом деле отдельная повесть, шестая повесть Белкина! В ней, как и в других пяти повестях, есть свой сюжет. Правда, герой здесь один-единственный — сам Белкин.

Пушкин работает над предисловием чуть ли не дольше, чем над собственно повестями. Он жертвует неоконченной «Историей села Горюхина» для биографии Белкина, забирая из нее целый ряд деталей и подробностей, начиная с фамилии героя и названия его родной усадьбы и заканчивая обстоятельствами разорения белкинской вотчины.

Отсылает Плетневу повести, а с предисловием тянет, оставляет его у себя, желая что-то важное в него добавить («...приступим к изданию. Предисловие пришло после...» — из письма П. А. Плетневу, август 1831 года). Если бы история ко-

Шеваров Дмитрий Геннадиевич — журналист, прозаик. Родился в 1962 году в Барнауле. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Начал печататься в 1978 году. Публиковался в журналах «Урал», «Согласие», «Смена»; с 1989 по 1997 год работал в газете «Комсомольская правда». В настоящее время является обозревателем газеты «Первое сентября». В «Новом мире» печатается впервые.

роткой жизни Белкина была только традиционной для литературы своего времени мистификацией, стоила бы она тогда таких долгих раздумий?

И еще одно соображение, которое заставляет взглянуть на Белкина как на полноправного пушкинского героя — такого же, как Самсон Вырин, Адриан Прохоров, Сильвио или Алексей Берестов. Пушкин еще осенью и зимой 1830 года писал друзьям о своих повестях как о чем-то безусловно значительном, удавшемся. Решившись печатать их Анопуге, он чувствует, что просто анониму, без биографии, без тайны, передать такие дорогие сердцу вещи нельзя, их можно отдать только «в хорошие руки».

По мере работы над предисловием и обретением Белкиным своей судьбы все ласковее становятся упоминания об Иване Петровиче в письмах Пушкина.

3 июля 1831 года, из Царского Села в Петербург Плетневу: «Я переписал мои 5 повестей и предисловие, т. е. сочинения покойника Белкина, *славного малого...*» (Здесь и ниже курсив мой. — Д. Ш.)

11 июля, тоже Плетневу: «На днях отправил я тебе... повести покойного Белкина, *моего приятеля*. Получил ли ты их?»

15 августа, опять Плетневу: «Посылаю тебе с Гоголем сказки *моего друга* Ив. П. Белкина...»

Читатель конца XX века склонен везде победно обнаруживать иронический подтекст или скрытую пародийность. Жизнеописание Белкина, кажется, само дает повод для такого беспощадного взгляда, ведь оно вложено в письмо почтенного соседа, престарелого архаиста и провинциала, пожелавшего остаться неизвестным. Кажется, грех не посмеяться над неловкими оборотами старика, его пышной обстоятельностью, но Пушкин, комментируя в нескольких строчках это письмо, просит читателей оценить его «искренность и добродушие». Этим самым Пушкин просит и в самом Белкине, и в его повестях оценить прежде всего искреннее и добродушное начало.

Взглянув на Белкина без иронического предубеждения, мы увидим, что добродетели, которыми награжден Иван Петрович, вовсе не случайны. Это те черты, которые умел ценить Пушкин в своих друзьях. От Дельвига Белкину достались мягкосердие, кротость, уважение к летам, от Пуштина — честность, умеренность и трезвость, от Кюхельбекера — доверчивость и «стыдливость... истинно девическая»... Незавидное же качество Ивана Белкина, его хозяйственная беспечность, напоминает об отце поэта — Сергее Львовиче.

После этого трудно считать случайными даты, упоминаемые в жизнеописании Белкина. Иван Петрович родился в один год с Дельвигом и Пушиным — в 1798-м, а умер от простудной горячки в 1828-м, в год смерти няни поэта, Арины Родионовны.

Пушкину хотелось совместить в своих повестях до той поры редко совместимое в русской прозе: достоверность и глубину с легкостью, занимательностью и даже веселостью. Читательский смех, кажется, входил в его планы и был для него показателем успеха. В декабре 1830 года, только попав в Москву из Болдино, Пушкин читает свои еще не опубликованные повести Боратынскому, и тот, обычно сдержанный в проявлении эмоций, «ржет и бьется» (письмо А. С. Пушкина П. А. Плетневу от 9 декабря 1830 года).

Предисловие к повестям тогда еще не было переписано набело, и, возможно, именно реакция близких друзей подтолкнула Пушкина к парадоксальному шагу. Мнимому автору остроумных историй он надевает маску Пьеро. Передает роль повествователя человеку с очень заурядной и очень печальной судьбой. О счастливых избавлениях и чудесных развязках рассказывает теперь неудачник, провинциальный сочинитель, чьи рукописи только и годятся что на заклею окон. О блестящих победах над обстоятельствами рассказывает несчастный Белкин, оставшийся одиноким в запущенном бедном имении. К тому же издатель извещает нас, что автор погиб от нелепой случайности — по нерадивости местного лекаря-прохиндея.

После такого предисловия нельзя уже только «ржать и биться» над повестями Белкина. Это не анекдоты, а домашняя летопись, сокровенные тетради, почти ис-

поведь. Читая даже самые карнавальные эпизоды в «Барышне-крестьянке», невозможно забыть о горюхинском Пьеро Белкине, его одиночестве и разбитом сердце, о драме, которая предшествовала гибели Белкина, но которую не выдал целомудренный сосед из села Ненарадово.

Пренебрегая предисловием, критики довольно долго путались в кафтане комического, «ржали и бились» вслед за Боратынским, искренне полагая, что все повести, кроме «Станционного смотрителя», — это не более чем изящные водевили. Полевой писал сразу после выхода повестей: «Забавна и шутка, названная „Гробовщик“». Белинский называл повести «побасенками» и даже «прозаическими бреднями» («Молва», 1835, № 7).

Исключением стало мнение Аполлона Григорьева. Он первым в 1859 году заговорил о самостоятельном значении образа Белкина, но сложившееся мнение поколебать Григорьеву не удалось.

Даже в начале нашего века в комментариях к серьезному венгерскому собранию Пушкина о сцене в жадринской церкви (когда невеста вдруг видит перед собой вместо возлюбленного жениха чужого человека) говорится с игривой восторженностью: «Что может быть комичнее этого?.. Шутливые герои повестей Белкина...»

**Сказки
острова
Болдина**

Пушкин читает московским друзьям рукопись повестей, не зная о том, как тяжело болен в Петербурге Дельвиг. Домашние Дельвига сначала не придают значения его болезни и не обращаются вовремя к толковому врачу. 14 января 1831 года Антон Антонович скоропостижно умирает от простудной горячки.

21 января Пушкин пишет Плетневу: «Нечего делать! согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так».

Предисловия к повестям еще нет, оно появится только к концу лета. Тогда, в августе, Пушкин снова вспомнит о Дельвиге. «Перечитывал я на днях письма Дельвига», — пишет он Плетневу 3 августа.

В десятых числах августа Плетнев по просьбе Пушкина передает повести на рассмотрение цензуры, а предисловие все не окончено! Только в начале сентября Пушкин, очевидно, сам отвозит его в Петербург. Точка поставлена, Белкин умирает от простудной лихорадки, обратившейся в горячку.

Согласимся. Покойник Белкин. Быть так: «Повести покойного...»

Грустная тень предопределенности ложится на «Повести Белкина», и на сцену выходит Самсон Вырин: «От беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать...»

Поразительно, но именно с этой расхожей присказкой Пушкин отчаянно полемизирует в «Повестях Белкина». Это увидела Анна Ахматова (статья «„Каменный гость“ Пушкина», 1947). Ахматова пишет о «Повестях Белкина»: «Созданные в дни горчайших размышлений и колебаний, они представляют собой удивительный психологический памятник. Автор словно подсказывает судьбе, как спасти его, поясняя, что нет безвыходных положений, и пусть будет счастье, когда его не может быть, вот как у него самого, когда он задумал жениться на 17-летней красавице, которая его не любит и едва ли полюбит... Автор поэм со страшными и кровавыми развязками („Цыганы“, „Полтава“)... внезапно с необычным тщанием занимается спасением всех героев „Повестей Белкина“».

Только Вырина он не спасает, поскольку тот сам отказался верить в счастье своей дочери и ее возвращение. А она — вот чудо! — возвращается, да еще в карете в шесть лошадей, с тремя барчатами и черной моськой. Некому оценить это чудо, спился бедный Вырин, но предопределенность побеждена — не все молоденькие дуры, увезенные гусарами в столицу, метут потом улицу «вместе с голью кабацкой».

Пушкин советовал драматическому писателю «быть беспристрастным, как судьба», но в «Повестях Белкина» он словно изменяет самому себе. На самом деле Пушкин показывает нам, как беспристрастие может быть милосердным. Судьба — злодейка, но Бог милует.

Предчувствуя упреки в идилличности сюжетных развязок, он называет свои повести «сказками». Это был не побег от реальной жизни (какой уж там побег! — холерные карантинные придала Болдину «вид острова, окруженного скалами»). Это была сказка сказок, дерзкая попытка проникнуть в устройство страшной реальности и уже оттуда если не указать выход, то подать надежду своим героям, себе самому и нам, будущим читателям.

Говорят, что успех латиноамериканских сериалов в стране великой литературы основан на хэппи-эндах. Чем труднее жизнь, тем томительнее и серьезнее мы ждем счастливой, «игрушечной», как говорила Ахматова, развязки в банальном сюжете. Возможно, именно с этим психологическим обстоятельством связан и нынешний «неуспех» русской классики. Вспомним: даже в тургеневских романах и повестях не найти ни одной счастливой развязки!

Ахматова, очевидно, была права, когда писала, что русская литература пошла по пути «Каменного гостя», где Командор остается неотмщенным, а Дона Анна может выбрать себе нового мужа. Путь «Повестей Белкина» и «Капитанской дочки» зарос травой, благополучные развязки приватизировала бульварная литература, сделал их первой приметой фальши и ходульности.

То, что другие привыкли считать очевидным, Пушкин исследует заново. Ставшие бытовыми выражения «устроить судьбу» и «составить счастье» он повторяет так, будто впервые их слышит. Он пытается вернуть им первоначальный смысл и вместе со своими героями хочет преуспеть в устройстве судьбы и в составлении счастья.

Но это лишь на первый взгляд кажется, что героями «Повестей Белкина» правит воображение художника, а внезапные благополучные развязки устроены по прихоти автора. Пушкин в предисловии настаивает на строгой документальности происходящего, отмечая, что имена героев «почти все вымышлены» Белкиным, названия же деревень и сел в повестях — подлинные. «Сие произошло... от недостатка воображения».

Пушкин следует не за судьбой своих героев, а будто чуть впереди этой судьбы, отвращая, казалось бы, неотвратимое, предупреждая об опасности, но и его что-то ведет, и порой из проводника он становится усталым свидетелем того, что неотвратимо свершается. «Казалось, кто-то меня так и толкал...» («Метель»).

Пушкин не хочет подменять вымыслом то, что неподвластно человеческому разумению, даже гениальному. «Провидение не алгебра... — замечает он в статье о втором томе „Истории русского народа“ Полевого. — Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая (выделено Пушкиным. — Д. Ш.) — мощного, мгновенного орудия Провидения...»

Эти слова написаны в ту же болдинскую осень тридцатого года и кажутся философским эпиграфом к «Повестям Белкина». Пушкин пишет далее, что историк — не астроном, который может по календарю предсказать солнечное затмение. События жизни человечества никогда не будут предсказаны в календарях. Но кажется, Пушкин при этом думает и о литературе, ведь он сам признавался, что не мог предсказать поступков своей Татьяны. Правда, ему не очень верили. Как не поверят многие и после выхода «Повестей Белкина», что благополучные финалы повестей — это случай, он лишь гениально «угадан» Пушкиным, но не рассчитан алгебраически.

При этом всякое прямое нравоучение кажется Пушкину плоским. У судьбы нет назидательной цели, поэтому ничего неправдоподобного он не видит в том, что жизнь Дуни и Минского в «Станционном смотрителе» вполне «по-буржуазному» устроилась. Правда, для читателя остается тайной Дунино счастье: нашла ли она его вдали от родительского дома? И куда в финале пропал Минский, ведь Авдотья Самсоновна приезжает в родную деревню с детьми, но без мужа. Быть может, лихой гусар погиб на Кавказе или на дуэли?..

Нам не дано предугадать...

**К истории
одной
невстречи**

Примерно в те же осенние дни, когда запертый в Болдине Пушкин устраивает судьбы своих героев и время от времени пытается прорваться через карантин, неподалеку, в Саровский монастырь, стекаются за исцелением и благословением паломники, напуганные невиданной эпидемией. Многие из них не в силах скрыть свой страх и уныние. Исцеляя и утешая, отец Серафим устало приговаривает: «Умолчи до времени. Не тобой устроишься, а свыше воля Божия низойдет... Не надобно покоряться страху... а нужно помнить, что хотя мы и грешные, но все находимся под благодатью нашего Испытателя...»

Холера подбирается к Болдину. Пушкин ставит эпитафию к будущей книге: «А вот то будет, что и нас не будет. Пословица Святогорского Игумена».

Потом кто-то из друзей посоветует Пушкину найти другой эпитафию: читатель настроен на более веселый лад, а строгий игумен может их отпугнуть...

Кстати, судьбы героев в некоторых пушкинских повестях решаются около храмов, именно там их настигает «мгновенное орудие Провидения». Самсон Вырин отпускает Дуню прокатиться с гусаром до церкви, а находит дочь в огромном Петербурге, только отслужив молебен у Всех Скорбящих. В «Метели» действие кружится вокруг бедной жадринской церкви.

Сейчас все чаще слышится вопрос, в котором недоумение смешано с упреком: почему Пушкин проехал мимо Саровской пустыни, почему не встретился с Серафимом Саровским, своим великим современником? Проникновеннее всех это недоумение выразил еще в середине 1930-х годов Сергей Николаевич Булгаков в статье «Жребий Пушкина»: «Как мог он не слышать о преподобном Серафиме? ...Как не встретились два солнца России? Последнее есть роковой... факт в жизни Пушкина... Пушкин прошел *мимо* преп. Серафима, его не приметя...»

Мне почему-то кажется, что умолчание Пушкина о старце Серафиме и есть уже его ответ. И ответ этот сродни пословице святогорского игумена или притче о старце, к которому пришли паломники послушать мудрые наставления, а пустынножитель молчит. Что же ты молчишь, теребят его паломники, мы ждем твоего слова! А монах отвечает им: если вы не поняли моего молчания, то откуда вам понять мои слова?

В письменных источниках — еще не весь Пушкин. На это указывал в свое время Борис Модзалевский, сетуя на утрату многих писем Александра Сергеевича. И если Пушкин о чем-то не написал, это вовсе не значит, что он об этом не думал. Напротив, о каких-то очень важных событиях Пушкин сознательно умолчал, и так поступил бы каждый, кто дорожит независимостью своей личной жизни. Об этом, именно в связи с «Повестями Белкина», писала и Ахматова: «Пушкин в зрелый свой период был вовсе не склонен обнажать „раны своей совести“ перед миром...»

Он мог быть прекрасно наслышан о чудесах, которые творил преподобный Серафим Саровский. О его пророчествах, которые сбывались в точности. Мне кажется, что этот необыкновенный пророческий дар Серафима Саровского и остановил Пушкина, помешал им встретиться. Слава о прозорливости старца Серафима смущала не одного поэта, а многих людей, которые позднее откровенно вспоминали об этом. Офицер русской армии Иван Каратаев писал о том, что, приближаясь к Саровской пустыни, вдруг решил вместе с товарищами не заезжать в монастырь, как собирались, а проехать мимо. Мы были смущены, вспоминает он, «страхом прозорливости старца Серафима».

За несколько месяцев до начала работы над повестями Пушкин пишет в письме: «Я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которого не могу ни предвидеть, ни избежать...» С самого начала тридцатых годов Пушкин так остро предчувствовал трагичность своей судьбы, что не находил в себе сил услышать подтверждение этой трагичности от святого человека, но поверить которому было бы нельзя. Он хотел оставить себе право на последнее счастье — счастье неведения, без чего невозможны ни любовь, ни творчество, ни одинокие прогулки верхом в осенних полях... Невозможны были бы и «Повести Белкина» с их деревенским простодушием, морозной бодростью и апофеозом благодатного случая.

Прощание с Белкиным ...А «они были счастливы настоящим и мало думали о будущем». Героям пушкинских повестей не до смерти, они и во время дуэли уплетают спелые черешни, а косточки выплевывают в сторону вероятного противника. Даже гробовщик Адриан улыбается и созывает домашних за стол: страшный сон — всего лишь сон, а жизнь так прекрасна! Скучный землемер Шмит в усах и шпорах оказывается авантюристом и готов положить жизнь за устройство побега симпатичной девушки. Армейскому прапорщику не везет в любви, но он отличается при Бородине. Девушка падает в объятия нетрезвому гусару, нечаянно венчается с ним, а через несколько лет судьба возвращает ей гусарского полковника как любимого и верного мужа. Свадьба других влюбленных — Лизы и Алексея — слажена еще веселее, Муромские провозглашают вечную дружбу с Берестовыми.

Оборванный мальчик Ванька в финале «Станционного смотрителя» получает пятак за доброту сердца, а рассказчик не жалеет об истраченных на вольных лошадей семи рублях.

Кстати, Пушкин просил Плетнева назначить цену «Повестям Белкина» — семь рублей за экземпляр вместо десяти: «Ибо нынче времена тяжелые, рекрутский набор и карантин».

Только Белкину ничего не достается — ни любви, ни богатства, ни дружбы с хмельными застольями, ни гибели на ратном поле. Он забыт в предисловии, как в брошенной усадьбе. Читатели поднимают глаза от последней, так счастливо завершившейся страницы и готовы крикнуть: «Автора! Автора на сцену!..» За Белкиным посылают, чтобы «объявить ему неожиданное счастье», да поздно. «Конец повестям И. П. Белкина».



**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА АСТАФЬЕВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ПРЕМИИ ИМЕНИ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА,
ВРУЧАЕМОЙ АКАДЕМИЕЙ РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ
СЛОВЕСНОСТИ И РОСБАНКОМ!**

**Премированная повесть «Веселый солдат» печаталась
в журнале «Новый мир» (1998, № 5 — 6)**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БУЙДУ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ПРЕМИИ ИМЕНИ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА,
ВРУЧАЕМОЙ АКАДЕМИЕЙ РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ
СЛОВЕСНОСТИ И РОСБАНКОМ!**

**В премированный прозаический сборник «Прусская невеста» (М., 1998)
вошли рассказы, печатавшиеся в том числе и в журнале «Новый мир».**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ АНТОНЕНКО



ПОКОЛЕНИЕ, ЗАСТИГНУТОЕ СУМЕРКАМИ

...Поколения, застигнутые сумерками, больше никогда не увидятся.

Милорад Павич, «Хазарский словарь».

Появление на русском языке романа Дугласа Коупленда «Поколение Икс»¹ может восприниматься как первая, пока еще «пристрелочная» попытка подведения итогов завершающего век десятилетия: люди 90-х теперь и в России получили культовый текст, открывший для Запада «неизвестное поколение». Роман Коупленда становится «зеркалом для героя» (помните такой перестроечный фильм?) — герой, заплутавший во времени, глядит на самого себя, узнавая и не узнавая.

Творчество Коупленда начинает восприниматься в качестве наиболее яркого выражения духа и стиля времени; по знакомству с ним определяется «продвинутость» молодых людей. Забавно, что достаточно благостных коуплендовских персонажей пропагандирует на своих страницах журнал «ОМ», известный своей рекламой «жесткого» разврата — но и обладающий чутьем на все по-настоящему модное. А ведь «Поколение Икс» было впервые опубликовано в 1991 году, и описанные в нем лица уже тогда приближались по возрасту к «тридцатнику»... Тут очевиден некий зазор во времени, который, однако, читая роман, не сразу и осознаешь: все-таки написанное Коуплендом очень близко мироощущению двадцатилетних в России. Со всеми мыслимыми поправками и оговорками, разумеется. Ведь роман сочинен канадцем о жизни в США. Но это еще и произведение о конце тысячелетия, который наступит одновременно во всех странах.

Автор данных строк, сам принадлежащий к поколению конца тысячелетия, хотел бы поделиться наблюдениями: что из описанного Дугласом Коуплендом актуально сейчас для русской действительности, — а также порефлексировать на тему: чем сверстники автора (и сам он) отличаются от выведенных в романе «иксеров».

В наших журнальных статьях о «Поколении Икс» содержание романа проговаривается примерно так: «Это книга о трех молодых людях, живущих в калифорнийской пустыне около Палм-Спрингс, навещающих на Рождество родителей и рассказывающих друг другу (и читателю) различные байки». Подобный «минималистский» пересказ действительно лучше всего отражает суть произведения. «Поколение Икс» не является романом в классическом, или даже постклассическом, значении слова: в коуплендовском мире отсутствует не только «развитие сюжета», но и практически любое действие и движение.

«Поколение Икс» издавалось с подзаголовком «Сказки для ускоренного времени», вызывающим в памяти сюжет старой научно-фантастической повести. В ней временной континуум человека, его собственное, личное время настолько замедлилось по отношению к ритму остальной вселенной, что весь мир исчез, перестав быть воспринимаем. Герои Коупленда также выпали из общеобязательного, «декретного» времени, обменяв (а для кого-то, может быть, «разменяв») Историю на истории.

Антоненко Сергей Георгиевич — историк, публицист. Родился в 1974 году в Москве; окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности история религии; аспирант Института российской истории РАН. С 1995 года печатался в журналах «Родина», «Москва», «Наука и религия», в «Независимой газете», «НГ-Религии», «Литературной газете». Настоящая статья — дебют автора в «Новом мире».

¹ «Иностранная литература», 1998, № 3.

Движение в романе напоминает армейскую забаву — «дембельский поезд»: «старичок» лежит на кровати, которую одни «салажата» мерно раскачивают, другие машут по сторонам зелеными ветками, «создавая» проплывающий за окном пейзаж, кто-то изображает стук колес вагона, кто-то объявляет названия станций и т. д.

Но иллюзия движения в романе способна вывести и на более глубокие аналогии. Произведение эпохи «перезревающего постмодерна» оказывается жанрово и композиционно близким пре-модерновым текстам — Евангелиям... Новозаветные авторы, прежде всего Марк, также отказываются от значительной части литературных достижений своего времени, от приемов эллинистического романа — они уходят в своеобразный минимализм. Евангелисты создали произведения, в которых движение сюжета имеет подчиненный или даже вовсе кажущийся характер по сравнению с к е р и г м о й — вестью о спасении. Среди ученых-новозаветников существует точка зрения, согласно которой идея развития вообще привносится в евангельский текст читателем. Несколько огрубляя, можно сказать, что фабула здесь лишь соединяет речения, притчи, «притчи в действии» и мистериальные действия, служит технически необходимым связующим раствором. Примерно ту же роль выполняют в романе канадского писателя «похождения» его героев Энди, Дега и Клэр, их перемещения по Америке (Невада, Нью-Йорк, Портленд). Они создают поводы для рассказывания новых историй — незатейливых притч об истинно важном. Единственный подлинный сдвиг происходит в конце повествования: Дег и Клэр решают перебраться еще дальше от современных центров процветания — в Мексику, в «малюсенький» городок, где Энди, если захочет, сможет их найти «по Деговому авто». И третий участник компании отправляется вслед за товарищами. Герои уходят из кадра, камера остановлена... (Кстати, этот мотив бегства все дальше и дальше от цивилизации, от общества — родовой для американской литературы. Достаточно вспомнить Фенимора Купера с его циклом романов о Натти Бампо, каждый из которых заканчивается тем, что Кожаный Чулок вынужден уходить от людей во все более непроходимые лесные дебри, а когда уже не остается лесов — в прерии.)

Ребята из Палм-Спрингс передают свое понимание новых правил игры в этом мире, выраженное в максимально «нетоталитарной» форме — в виде рассказов и баек, «сказок на сон грядущий»: «Все очень просто: мы придумываем истории и рассказываем их друг другу. Единственное правило — нельзя (совсем как на собраниях „Анонимных алкоголиков“) прерывать рассказ, а по завершении — никакой критики». Принцип таких историй — бескорыстие. Нужно рассказать «страшную, черную тайну» — чтобы, возможно, помочь другим, а не чтобы помогли тебе. А объемность видения создается авторскими глоссами — ироничными примечаниями на полях, порой удачно сдвигающими излишнюю декларативность main-текста.

Новый прагматизм

Поколение конца тысячелетия — в большинстве своем «головные» люди; им присуще весьма рациональное отношение к бытию. Другое дело, что с точки зрения как предыдущих, так и последующих поколений (молодая поросль в романе — это «Глобальные Тинэйджеры», компания Тайлера, младшего брата Энди) «поколение Икс» ведет себя чудакливо, странно, «не по правилам» и не вписывается в этот мир. В действительности же «иксеры» просто не принимают мир слишком всерьез — это парадоксальным образом оказывается наиболее верным способом добиться в нем комфортного существования.

Герои Коупленда напоминают компанию, опоздавшую на поезд, что должен был везти куда-нибудь в голубые дали. И вот вместо того, чтобы слоняться по заплеванному перрону и уточнять все равно врущее расписание, ребята устраивают пикник в ближайшем леске — «здесь и сейчас». Для коуплендовских «иксеров» ушедший поезд — это «генетическая лотерея», выигрыш в которой достался поколению отцов и работодателей: в их время для достижения стабильного обывательского благополучия требовалось столько же усилий, сколько сейчас едва хватает на «дохлый сандвич в пластиковой коробке». Неоконсервативный сдвиг в экономике привел, по Коупленду, к тому, что у молодого человека остается все меньше реаль-

ных шансов приобрести собственный дом, открыть свое дело. Вершиной профессиональной реализации на долгие годы остается «загончик для откорма молодняка» — «маленький, тесный отсек офиса, образованный передвижными перегородками; место обитания младшего персонала». Естественно, что настоящие «иксеры» избирают «MacJob», «макрабство», — работу в сфере обслуживания, бесперспективную с карьерной точки зрения, но освобождающую от исполнения обязанностей-ритуалов «деловой жизни». А в Америке даже в пустыне можно неплохо прожить, работая в этой сфере.

Прагматизм — идеология буржуазная. И побег в пустыню Энди, Дега и Клэр не предполагает отказа от множества уютных «мелкобуржуазных» привязанностей. Протест ребят из Палм-Спрингс — не хипповско-панковский эпатаж. Это реакция нормальных (лично на мой вкус, даже чересчур нормальных) людей на мир, страдающий болезнью Альцгеймера. Их подсознательная тоска отпечатывается лозунгом на полях основного текста: «Средний класс надо изобрести вновь».

Но в новых условиях желающим попасть в него остается тратить молодость на приобретение богатства, а затем богатство на покупку молодости. Поколение конца тысячелетия отвергает подобную «конвертацию». К своим безусловным ценностям те, кому от двадцати до лет Иисуса Христа, относят «quality time» — насыщенное время. В романе нет этого выражения, но есть образ «времени-прожитого-не-зря» — это общение, становящееся почти ритуальным, «рассказывание историй».

Новый прагматизм — пикник на обочине «пропавшего шоссе» («The Lost Highway» — так называется фильм культового режиссера «поколения Икс» Дэвида Линча). Это — добровольный маргинализм, только избираемый не с невротическим подсознательным желанием подростка вызвать жалость у старших, а — как единственно разумная линия поведения: «Мы приехали сюда, покрытые ранами и болячками, с кишками, завязанными в такие узлы, что уже и не надеялись когда-нибудь опорожнить кишечник. Наши организмы забастовали, одурев от запаха ксероксов и жидкости „Штрих” и от запаха гербовой бумаги, и от бесконечного стресса от бессмысленной работы, которую мы исполняли скрепя сердце, не получая в награду даже обыкновенного „спасибо”. Нами руководили силы, заставлявшие нас принимать успокоительное, думать, будто прогулки по магазинам — уже творчество, и считать, что видеофильмов, взятых в прокате на субботний вечер, вполне достаточно для счастья. Но теперь, когда мы поселились здесь, в пустыне, все обстоит намного, намного лучше».

Очевидно, Коупленд задумывал «Поколение Икс» как роман, отражающий социальные процессы. Не случайно в конце приводятся «Цифры» — статистические данные по развитию экономики и изменению уровня жизни в Америке. Но история к концу XX века располагает более тонкими и глобальными детерминационными механизмами: в послеперестроечной России с мало схожими вроде бы материальными проблемами сформировался духовный климат, близкий к условиям коуплендовской калифорнийской пустыни. Гибель советской цивилизации и кризис западной протестантской этики труда оказываются комплементарными, взаимодополняющими явлениями.

В позднем СССР, как в обществе, не до конца утратившем следы традиционного, существовала сложная иерархия профессий и родов занятий. Различия шли прежде всего по престижности, «чистоте» работы. Дворники, например, и уборщицы были стойко презируемой кастой. «Ты что, дворником хочешь стать?» — спрашивали мамы своих незадачливых сыновей-двоечников.

Другими определяющими моментами в оценке профессий были приобщенность к «дефициту», перспектива поездок за границу, наличие свободного времени, географическое расположение места работы, наконец. Деньги, зарплата присутствовали всегда, но они являлись как бы «фоном», чем-то само собой разумеющимся и потому едва ли не второстепенным. Патриархальное государство гарантировало каждому физическое выживание сегодня — и возможность выстраивать жизненную перспективу на будущее, жертвуя меньшим ради большего.

Когда все это рухнуло, выяснилось, что само понятие «работа» не просто обесценилось, а оказалось совершенно утрачено. В ситуации, где слово «бандит» стало

обозначением вполне respectable вида деятельности, работа как образ творческого преобразования мира или как способ личностной самореализации — исчезла. Она существует теперь лишь в качестве средства выживания. Уничтожилась связь между образованием, профессией — и тем, как человек зарабатывает себе на хлеб. Большинство моих сверстников вынуждено работать не по специальности: ведь прежняя система образования не соответствует номенклатуре «новых» профессий. Следовательно, потеряли смысл школьные вопросы «Кем быть?», «Кем я хотел бы стать?» — закончу какой-нибудь техникум, преобразованный в академию, научусь владеть компьютером и стану работать на фирме. Профессия, «ремесло» не может далее быть объектом жизненного выбора. Работа для «поколения Икс» в России — исключительно средство, никогда не цель. То, что для людей классического буржуазного или социалистического общества находилось в центре их личности, у поколения конца тысячелетия оказалось вытеснено на периферию.

В этом мы схожи с героями Коупленда. У нас тоже есть «макрабство» — работа в сфере обслуживания, насильюющая твое время, но оставляющая в покое душу. В Москве «макрабство» — это обычно ночное сидение в ларьке, чей ассортиментный минимум составляют водка, пиво, сигареты и презервативы. Единственное, что отсутствует, — возможность, подобно Энди и Дегу, уехать в пустыню и работать там за стойкой бара: в наших пустынях баров не случается.

Для моих же друзей оказался более близок иной способ провести этот мир: Дуглас Коупленд называет его «антиотпуск» — «работа, на которую устраиваешься ненадолго (обычно на год; начальство в эти намерения посвящать не принято). Как правило, цель работника состоит в том, чтобы зашибить бабки, уволиться и переключиться на более важную для него лично деятельность — например, писать акварели на Крите или заниматься компьютерным дизайном свитеров в Гонконге» (...играть в рок-притонах Питера; выпускать интернетовский журнал в Петрозаводске; став буддийским монахом, затеряться в сокрытых обителях Востока, etc.).

Из перспективы консервативных ценностей («Бог, Нация, Труд»), близких и автору данного очерка, происходящее представляется финальным, подлинно пред-апокалиптическим этапом разрушения уже самого нижнего «этажа» упорядоченного бытия. Действительно, этика труда и «семейные ценности» — быть может, последнее, что оберегает нас от одичания. Но нельзя не заметить и другое. Эмансипированная от любых профессиональных привязок, несводимая к внешним занятиям личность конца тысячелетия, наконец вылупившаяся из куколки-хризолиты своего социального «эго», являет того нового Субъекта истории, взыскав которого прошел весь наш век. Черты «последнего героя» различали в своих грезах Ницше и Блок; ради того, чтобы сделать его своим наследником, вспыхивали революции и народы перегонялись как стада из концлагерей одной деспотии в тюрьмы и застенки другой. Для его свободы сжигали себя на площадях невольники совести...

«Человек конца» — наследник всех ценностей христианского эона, расплавленных в тигле свободы. Быть может, он — представитель первого и последнего поколения, для которого понятие выбора, «извола» сверкает такой первозданной, кристально холодной чистотой.

«...Все забыл я, что помнил ране, христианские имена...» — амнезия как естественная защитная реакция на непосильный груз памяти, информации, ответственности не исключает честности: «Здесь для меня слишком много истории... Для жизни мне нужно *меньше*. Меньше прошлого. Итак, я приехал в пустыню — дышать пылью, гулять с собаками, смотреть на скалы или кактусы и знать, что я — первый человек, который видит этот кактус, эту скалу. И пытаться прочесть письмо внутри меня». Это искренность ребенка, уцелевшего после кораблекрушения и играющего в камешки на берегу океана. Потому, в сущности, так инфантильны, несмотря на свою взрослую, почти старческую мудрость, герои Коупленда, да и мы, их сверстники с другого конца океана, — дети, в крови которых взрослый ум циркулирует как отраву.

В России надлом резче и скол времени острее. Россия — страна эсхатологическая по преимуществу. И тема предельного, финального и *наивного* выбора звучит здесь чище и звонче — еще в балладном русском роке предыдущего поколе-

ния «восьмидесятников» — Башлачев, «Кино», «Алиса», «ДДТ»; затем в роке «нового синтеза» — Сергей Калугин, Ольга Арефьева; наконец, звучит она и среди мелодий досматривающих «сны серебряного века» Алекса Полякова и Лары Винарковой. Эта же тема определяет стилистику и настрой вначале «реального» (1996 — 1997, № 1 — 2), а потом виртуального полухулиганского журнала «ИНАЧЕ»; ее не может игнорировать и вальжно-барственный, похожий на альбом для автографов в аристократическом салоне XIX века альманах «Волшебная гора». Индивидуальный выбор, изменяющий параметры мироздания, — лейтмотив текста Сергея Дунаева «Приговоренный к жизни», выдержанного в новом жанре «интернетовского романа».

Конечно, у нас порой срываются на истероидный тон, вообще характерный для русской апокалиптической публицистики. Коуплендовские «иксеры» решают проблему последнего выбора в свойственной им прагматической манере. Клэр рассказывает историю про астронавта, чей корабль попал в плен к однообразной, тупой планете, на которой вечно стоит 1974 год, «атмосфера состоит из кислорода, пшеничной кострики и радиоволн среднего диапазона», а жители сосредоточены на бессмысленной «позитивной» деятельности. Из-за «отравления космосом» астронавт превратился в страшилище и впал в летаргию, от которой пробуждался один раз в полдень, и то лишь на полчаса. (Ёрнический тон истории не должен останавливать: для «поколения Икс» ничто, рассказанное с пафосом, не имеет значения; а «байки» для нашей компании, как мы помним, — это вообще очень серьезно.)

Далее повествование начинает напоминать классический сюжет «Красавица и чудовище». Астронавт (его зовут Бак) успевает найти пристанище в семье, где есть три дочери — Арлин, Дарлин и Сирина. Они кормят пленника своей планеты, когда он просыпается в полдень. Девушки влюбляются в своего странного гостя. Каждой по очереди астронавт делает предложение: бежать вместе с ним. Ведь «волны, генерируемые влюбленной женщиной, как раз той частоты, какая нужна для запуска двигателя и взлета космического корабля». Бак сможет вылететь от отравления космосом на лунной базе. Но есть загвоздка: в корабле хватит воздуха только на одного человека. Девушке придется умереть, но как только они попадут на Луну, Бак обещает воскресить ее...

Вначале за астронавтом ухаживала Арлин; от предложения она отказалась. Потом Бака стала кормить Дарлин; и с ней повторилось то же самое. Заботиться о Баке пришел черед Сирины; и она, когда узнала, что ей придется умереть, сказала просто: «Понимаю»... И перед тем, как умереть от отсутствия кислорода, она успела увидеть за штурвалом космического корабля своего героя в его истинном, прекрасном облике...

А внизу Арлин и Дарлин обсуждали это, раскачиваясь на качелях:

«— Ты ведь понимаешь, — произнесла Арлин, — что все Баковы обещания нас воскресить собачьей какашки не стоили.

— Да знаю я, — сказала Дарлин. — Только я все равно жутко ревную — ничего не напишешь».

Притчу Клэр отличает от сказки о красавице и чудовище одно обстоятельство: мы на самом деле не знаем, воскресит ли Сирина Бак. Выбор — это всегда риск; но ценность не в том, что за ним, а в нем самом — в моменте, когда «снаружи, на черном фоне, заляпанном каплями пролитого молока — звездами, мерцает бледно-голубым яичком Земля». Что далее, по ту сторону, узнает только Сирина — она так или иначе экспериментально выяснит, обманул ли ее Бак. А двум ее сестрам останется болтаться на качелях, будучи лишенными даже простого утешения злорадства — узнать о ее судьбе.

...Хочется дополнить «глоссы» и «лозунги» на полях коуплендовского романа такой, например, максимальной:

| |
|---|
| Если ты не сделаешь выбор, выбор сделает тебя. |
|---|

Новый прагматизм, как и прежний, опирается на критерий опыта: ведь только опыт откроет, оживет ли кто-то, «если и умрет».

Новое целомудрие

Пожалуй, иначе нельзя охарактеризовать жизненную философию, определяющую взаимоотношения внутри треугольника главных героев романа. Один критик произведения Коупленда заметил, что структура сюжета «Поколения Икс» напоминает «Тропик Рака» Г. Миллера, с той только разницей, что там трое главных героев трахаются друг с другом, а здесь — не трахаются. И прекрасно живут в интимнейшем соседстве и в сексуальном плане вроде бы полноценны. Они просто друзья, и порой Энди даже слегка комплексует по этому поводу: «Нам с Клэр так и не удалось влюбиться друг в друга, хотя мы оба старались изо всех сил». Но излишняя рефлексия отступает, когда приходится противостоять агрессивному «жизненному» всезнайству: «парень девушке не друг, и все тут». Один из «слоганов» на полях романа выглядит как девиз освобождения от диктата мира, предусматривающего одну модель отношений мужчины и женщины. «Ты — особь своего личного пола». Сколько людей, столько и полов. Нет, «иксеры» не затронуты идеологией «сексуальной контрреволюции», призывающей всех заниматься мастурбацией из-за угрозы распространения СПИДа. Просто поколение конца тысячелетия устало от навязываемой однозначности.

Новое целомудрие для героев романа — это прорыв к человечности в ее досовременном варианте, это попытка разграничить личность и секс, отстоять автономию «я» от реакций этого «я». В перспективе в равной степени восстанавливается ценность и одиночества, и дружеского общения. Но остается тоска по любви («Но где она живет, вечная любовь...» — «Агата Кристи»).

О «поколении Икс» как-то было сказано, что оно «не рискует любить». В действительности оно ищет влюбленности и постоянно склонно иронизировать над собой за свою неспособность воспринимать прежние стандарты чувств. (Тама Яновиц, писательница-«иксерка», чей рассказ напечатан в том же номере «Иностранной литературы»: «Глаза у этого Микеля умопомрачительные — как два зеленых омута, такие раз увидишь и больше не захочешь. Взглянет — коленки дрожать начинают, а меня такие штуки просто бесят. Так что я никак не реагировала — то есть не позволяла коленкам дрожать — и беседовала с ним, словно он был моей подружкой. Впрочем, я, пожалуй, уже разучилась разговаривать по-другому».) Но что делать, если образ любви, сформированный Ренессансом и Новым временем (и, на самом деле, почти совершенно не реформированный XX веком), настолько обесмыслился, что превратился в пародию. Носителем таких пародийных черт в романе Коупленда выступает недолговечный любовник Клэр Тобиас, который со своей мелкой ревностью и плейбойскими комплексами «воспринимает жизнь как не-особенно-смешную-французскую-комедию эпохи Реставрации». Тобиас смешон, а как известно, смех и страсть — вещи несовместные.

Видимо, «поколение Икс» обречено на свою холодноватость в этом остывающем мире. Но в России все воспринимается болезненнее из-за абсолютной чуждости, враждебности идущей с Запада «технологизации» любви самим основаниям русской культуры (вспомним повесть А. Н. Толстого о графе Калиостро, искавшем «формулу любви»). Наши «иксеры», уже не верящие ни в какую романтику отношений, все-таки лишь в очень малом своем количестве способны встроиться в бодрые колонны физкультурников, «выбирающих безопасный секс». Скорее уж — «экстремальный». Увы, перверсии, как говорят психологи, могут стать делом личностей, переживших гибель детского идеала и испытавших нравственное опустошение. А когда на это накладывается шок от крушения цивилизации (воспринимаемого подростком в категории «родительская ложь»), то картина получается малооптимистическая для тех, кто всерьез озабочен «здоровьем нации»... Недаром у нас так популярен малопризнаваемый на родине П. Гринуэй.

Право на побег

Наиболее зрелым посланием «поколения Икс» с «нашего берега» может стать свежий роман Михаила Бутова «Свобода» («Новый мир», 1999, № 1 — 2). С берега — но не с только что открытого континента, а скорее с одного из неизвестных

островов, входящих в Архипелаг Икс. Текст романа, как и положено «рукописи, найденной в бутылке», монологичен. Это — самосвидетельство (из чего, конечно, не обязательно следует биографическое совпадение «я» рассказчика и «я» автора).

Повествование задумано как «цепочка забавных историй». Однако, в отличие от романа Коупленда, их рассказывают не разные герои, а один — литературный двойник писателя. Появление же иных персонажей служит поводом для погружения в воспоминания. Их у alter ego автора хватает. Ведь главный герой «Свободы» уже пережил свое поколение. Его взгляд на московских «иксеров» начала 90-х — оглядка назад, придающая видению ностальгический ракурс. И дело здесь не в том, что повествователь физически старше людей конца тысячелетия. В конце романа он делится с читателем секретом своей нынешней удаленности от тех, чей дух все еще «проходит сквозь ночь»: «С тех пор, как мне впервые улыбнулся произошедший от меня младенец, я знаю, что любить можно иное и иначе». Верно: произведший новый род, передавший эстафетную палочку следующему поколению — или взрастивший ученика — отслаивается с постоянно обновляемого среза века. Он принял на себя неизмеримо большую ответственность как личность, но ответственность своей генерации он уже, не снеся до конца, поделил. Быть может, мир построен на непреложности этого закона, но она заставляет героя вздыхать (хотя и не слишком глубоко, не до верхушек легких): «Философствую я, словно старая дама, то и дело что-нибудь теряющая и вынужденная разыскивать: очки или связку ключей». Это — плата за прерванный побег...

Мотив ухода-бегства роднит героев М. Бутова с калифорнийскими пустышками. Только те продолжают свой вечный эскап, а свидетель конца века из Москвы завершает в финале романа «путешествие на край ночи» — выходя на ясную, дневную половину бытия. Не исключено, что героя подталкивает к этому опыт одного из его приятелей, Андрея, — четко обнаружившаяся у того «теллурическая» воля к смерти, медицински диагностированная суицидальная тяга (надо признать, что с читательской точки зрения заключение психиатров не становится мировоззренческим приговором). Возвращение в общество, рождение ребенка может рассматриваться как невротическое стремление компенсировать разрушительные для личности позывы Танатоса.

Различие между жизнью ребят Коупленда и московской «Свободой» такое же, как между перестрелкой в ковбойском салуне и дуэлью «русская рулетка». У американских парней есть возможность путешествовать дальше: за калифорнийской пустыней откроется Мексика, за ней — сельва Амазонии и т. п. Из московской же квартиры, ставшей временным убежищем героя, открываются два пути: страшная реальность Ничто («...имя этому — Ничто. Так оно выглядит») или возврат к позитиву — но какому?.. Приватные ценности не смогут насытить душу, в которой однажды поселилась «тоска по недостижимому» — «сладостная и властная, как опий». Хотя мы прочитываем, как это переживание впервые коснулось героя, лишь в середине романа, но уже с первых страниц ясно, что перед читателем один из тех, про кого У. Эко сказал: «...его подавленное интеллектуальное вольнодумство скрывало отчаянную жажду абсолюта».

Рассказывается нехитрая и во многом типичная история интеллектуала в Церкви, занимавшегося изданием богословской литературы и вынужденного оставить свой пост отчасти из-за расхождений с начальством, отчасти по причине экономического краха предприятия. Все это совпало с внутренним кризисом героя. И вот он решает на какое-то, не определенное, впрочем, строго, время отъединиться от мира, от общения, от любого конкретного деяния. «Великий Отрыв» бутовского героя внешне мало похож на выбор троицы из «Поколения Икс». Он не пересекает землю, а скорее забивается вглубь пространства, отыскивая в нашем пространственно-временном континууме подходящую щель, где и выстраивает соответствующую его подавленному состоянию сеть координат, недолговечную, как паутина. С внешней стороны таким местом для него оказывается квартира в Большом Тишинском (за ней попросил присмотреть приятель, уехавший в Антарктиду). Характерно описание сборов главного героя: может создаться впечатление, что в экспедицию уезжает не его товарищ, а он сам. «Я прикупил в спортивном магазине „Олимп“ пару надежных туристских башмаков. Дальше к ним добавились: сто па-

чек „Беломора” и еще, на крайний случай, несколько брикетов шестикопеечной подплесневелой от древности махры; по десять кило вермишели, гречки и риса; пластмассовые бутылки с растительным маслом и большой пакет сахарного песка; какое-то количество соли, спичек, чая „Бодрость”, мыла и приправ — всех подряд; наконец, три картонных ящика стеклянных банок с кашами, сдобренными тушенкой».

Уже в этом перечислении чувствуется схваченная автором интуиция поколения конца тысячелетия, выросшего по преимуществу в странном мире современных городов, названных выпавшим из поколения «восьмидесятников» поэтом А. Широпаевым «лишайми на теле земли». Лишай — неестественное, антиприродное, паразитическое образование; одновременно он сдирает покровы и обнажает суть. Сквозь него глядит живое мясо природы. Через городские лишайи проходят токи и энергии в тысячи раз более сильные, чем через здоровую грубую «кожу».

Город постмодерна не представляется более античным полисом — выверенным, упорядоченным образом человеческого бытия, пришедшего на смену игре стихий и страстей. В нем оказалось гораздо гуще намешано слепого, хаотичного и вместе с тем — природного. Город — «пустыня» в древнем понимании слова. Это может быть и тайга, и выжженные пески, но главное — что-то внечеловеческое, с которым возможен диалог («О, прекрасная мати-пустыня!..» и куда можно бежать, спастись. Но неопытного одиночку пустыня погубит. Поэтому люди 90-х серьезно относятся к теме «выживание в мегаполисе», породившей даже специфическую моду — камуфляж для уличных боев «ночь в городе».

Бутовский «разочарованный странник» тоже «выживает»². В заколдованном лесу мегаполиса он ощущает себя обитателем, «ареал» которого постоянно сокращается (в конце концов он ограничивает свои вылазки рынком, булочной и гастрономом); в микрокосмосе квартиры наш герой — член сообщества, включающего кроме него тараканов, мышей, крыс и пауков. «Иногда приходила женщина...» Но ей не суждено было стать частью этого биоценоза: бутовского анахорета гораздо более интересовали занятия с ученым пауком Урсусом...

Читая эти депрессивные описания, я поражаюсь, насколько близки между собой интонации тех «девяностников», которым доводилось подолгу жить в Москве, снимая квартиры. Например, восприятие города и своего дома как «среды обитания», ощущение собственной включенности в некое природное сообщество, живущее по законам, весьма далеким от человеческого измерения... Один мой товарищ, вселившись в снимаемую квартиру, через некоторое время обнаружил в ней живущую на кухне черепаху, оставшуюся от прежних хозяев. Он честно подкармливал ее, оставляя в определенном месте листики салата и блюдец с молоком. В остальном судьба животного моего приятеля совершенно не интересовала. Он не пытался наблюдать за черепахой, даже чтобы выяснить, где, под каким конкретно шкафом она живет. Их пути в квартире не пересекались. Когда я, воспитанный на традиции домашних зверушек и «мы-в-ответе-за-тех-кого-приручили», возмущился такой черствостью, мой друг сказал: «Ты не понимаешь. Я чувствую себя таким же зверем, забытым в чужой квартире, как и эта черепаха. Мы оказались брошены в одно место, и, поскольку она не наносит мне вреда, я могу оказать ей небольшую помощь. Но я не могу принимать ответственность за ее жизнь, так как не отвечаю до конца даже за свою».

Итак, повествование Бутова принадлежит к весьма уважаемому жанру исповеди о личном кризисе и его излечении (вспомним, что из мировой литературы к этому же жанру относится «Степной волк» Г. Гессе). Для нас, исследователей мировоззрения поколения, интересно, что внутренний мир героя резонирует с сорванной струной века.

У действующих лиц «Свободы» налицо весь комплекс черт «иксеров» — одиночество в толпе, поиск историй («но мы умели ценить заявку на историю не ниже самой истории»), прагматизм отчаяния («удивительная вещь: чем явственней

² Это слово приобретает в романе зловещий отсвет; как бы между прочим приводится статья из энциклопедии о британском специалисте по выживанию в городе, который убил шестнадцать человек, после чего зарезался сам.

смахивают наши методы на хитрость настырного сумасшедшего, тем очевиднее они попадают в яблочко»). Даже столь остроумно выраженная Коуплендом (в виде «глосс» на полях текста) тяга к каталогизации находит свое соответствие в интеллектуальных эмоциях московского анахорета: «Словарь зачаровал меня с первой же статьи... Чем полнее каталоги и длиннее перечисления — тем надежнее скованы демоны, тем легче убедить себя, что мир человеку по мерке, благоволит ему и пригоден для достойной жизни».

Герой Бутова, как и «иксеры», становится заложником собственной холодноватости, боязни увлечений (на самом деле это — страх разочарования, неизбежного под смеющимися небесами). Он избрал свободу, которой дает следующее определение: «Свобода начинается там, где вещи перестают на что-либо намекать, кроме самих себя. Туманно — ну и пускай, зато весомо». Туманно потому, что сами вещи сегодня испытывают кризис достоверности...

В начале романа затворник с Большого Тишинского объясняет мотивы своего ухода: «Я надеялся нащупать в молчании выход, я все еще протестовал, все еще не хотел признавать, что жизнь, которую стремился превратить в выковывание бытия сокровенного, обречена развиваться по модели визита к зубному врачу: сажают в кресло, делают больно, берут деньги».

Найти выход ему не могут помочь никакие авторитеты. Родители не только не укрепят на жизненной дороге, но даже вряд ли способны подарить хоть каплю тепла. Отчуждение между поколениями отцов и детей в московском романе глубже, чем у Коупленда. И там и тут родители и их дети говорят на разных языках, живут с разными системами ценностей. Но для приехавшего домой на Рождество Энди родовое гнездо — это все-таки традиционный американский «home, sweet home». У героя же «Свободы» старшее поколение вызывает устойчивое раздражение — отец, в своей жизни «вышедший на уровень твердого нуля», мать, отчим. Диалог с матерью — единственный в романе — показывает пропасть, разделяющую людей разных эпох. Читателю становится видна эта непереходимая бездна уже после второй реплики матери, брошенной ею в экран телевизора:

«Сообщили о пикете с кумачовыми транспарантами возле ленинского паровоза на Павелецком вокзале — коммунисты поднимали голову.

— Сволочи, — сказала она. — Недобитки».

«Недобитки» — слово не из лексикона людей 90-х! Мы никогда никого не били так, чтоб добить. Это очень коммунистическое, большевистское слово: «врангелевские недобитки», «фашистские недобитки». И дальнейший разговор показывает, что все категории прежних времен продолжают определять сознание матери героя, но служат они уже только прикрытием ее внутренней пустоты.

Религия — по крайней мере в своем «нормальном», социальном аспекте — также не способна вдохнуть новый смысл в существование. В отличие от «иксеров» из Палм-Спрингс, их московские ровесники вряд ли являются столь религиозно безразличными. Повествователь в романе Бутова не только формально воцерковленный и богословски начитанный человек. Некоторые места в романе заставляют предположить, что его выбор в пользу христианства прошел соблазны весьма изысканного свойства. Я имею в виду осведомленность квартирного отшельника об эзотерических духовных практиках (в частности, о «работе с зеркалом»). Уже одно сравнение виртуозно нарезанных и разложенных на тарелке закусок с буддийской мандалой чего стоит! («...узоры, орнаменты, натюрморты, целые сады из колбасных кружков и ветчинных прямоугольников, ломтиков сыра и белесых, словно утопленники, кальмаров, из шпрот и сайры, тонко нарезанного фиолетового лука, огуречных и помидорных долек... Не в два приема устраивалась такая мандала, и разбирать ее наспех тоже рука не поднималась».) Мандала в тантрическом буддизме — особая мистическая диаграмма, модель вселенной, которая строится для определенного обряда и немедленно по его совершении разрушается. Такое «снижение» образа до застольной цитаты — признак усталости «русских мальчиков». Про одного из них еще в XVIII веке было сказано, что он «все веры превзошел и во всех верах был учителем»... Прежний духовный опыт сделался, по законам постмодерна, цитатником на все случаи жизни. «Цитаты остались невостребованны». Но есть смутное предчувствие, что одна из них вдруг может оказать-

ся спасительным камнем, выступом на скале, за который зацепится душа в своем отвесном падении. Например, вот эта: «Держи ум во аде и не отчаивайся»...

Два других великих «авторитета» — любовь и смерть — в свою очередь, не открывают герою новых путей. Он не находит счастья в любви, ибо верен «эротизму личности» в нашем фатально обезличивающемся мире. И он начисто лишен пиетета перед смертью, зачарованности ею («Ничего нет прекраснее смерти!» — Сергей Калугин). Герой Бутова в чем-то идет наперекор эстетике своего времени, заявляя, что смерть «всегда и прежде всего безобразна и унижительна. Это постыдная порча, чужая вина, оскорбление, на которое нечем ответить. Ее не окультируешь — попробуй окультировать тухлятину, гниение».

Что же приходит к затерявшемуся в пустыне города человеку как надежда, как неожиданно пойманный зрачком солнечный зайчик? В момент, когда вся шкала ценностей сбита и остается лишь верность дружбе как последний зыбкий ориентир, вечная тоска по недостижимому прорывается спонтанным чувством бессмертия:

«— По-твоему, и мы умрем?»

— Прямо сейчас? — удивился я.

— Не сейчас, так завтра. Не завтра, так в старости... Какая разница... Все равно не понимаю, что это значит.

Настроенный на пьяные речи, я отшутился... Пропустил мимо ушей слова, которых не повторит мне никто и никогда. Будто неведомо чем мы выкупили себя наперед, и долго теперь не полагается нам слышать ледяное дыхание — ни в затылок, ни где-либо рядом».

Именно это ощущение: человек бессмертен — не абстрактно, поэтически, а реально, практически, — и составляет итог Ухода. Герой Бутова закончил свой побег, но обретенное им уже никогда не позволит ему стать «человеком-из-толпы».

Отношения поколения с историей напоминают отношение сына к отцу в классическом фрейдовском мифе — ненависть-любовь, замешенная на соперничестве. Мир действительно перекармлился историей. Идеологию и мировоззрение «поколения конца», даже если отвлечься от эсхатологических обертонов, можно воспринимать как острую аллергию. Это мироощущение трагично и болезненно — но в нем есть и странная благостность отчаяния. Оно оставляет главное — интерес, надежду и выбор, перед которым и концентрационные миры могут «распасться как клетки».

...Последняя глава романа Дугласа Коупленда «Поколение Икс» называется «1 января 2000 года».

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ



ЖИЗНЬ ВРАСПЛОХ

Что же внутри последней матрешечки? Что значит — сплошная?

Ольга Шамборант, «Признаки жизни».

Тексты («записки», «опыты») Ольги Шамборант пять лет назад были представлены «Новым миром» (1994, № 2); нынче же в более чем удвоенном объеме вышли отдельной книжечкой (СПб., «Пушкинский фонд», 1998). Определиться с их жанром — что само по себе не столь уж общеинтересно — меня побуждает связь избранного тут повествовательного наклонения с сутью дела.

Много чего читано «в русском жанре» со времени впитанных мной с молоком самиздата «Мыслей врасплох» Терца-Синявского — много перебрано «камешков» и «затесей» («Опавшие листья» и «Ни дня без строчки» оставим в скобках как относящиеся к другой, вернее, к двум другим эпохам). Выбираю среди «мыслей» Терца одну из любимых и, кажется, не слишком диссонансирующую с тем, чем готова поделиться Шамборант:

«Как вы смаете бояться смерти?! Ведь это все равно что струсить на поле боя. Посмотрите — кругом валяются. Вспомните о ваших покойных стариках родителях. Подумайте о вашей кузине Верочке, которая умерла пятилетней. Такая маленькая, и пошла умирать, придушенная дифтеритом. А вы, взрослый, здоровый, образованный мужчина, боитесь... А ну — перестаньте дрожать! веселее! вперед! Марш!!»

Несмотря на местоимение второго лица запись эта со всей очевидностью обращена к себе самому, «взрослому образованному мужчине». Или в крайнем случае к неведомому собеседнику, который когда-нибудь будет застигнут врасплох плодами чужого уединения. Ибо в отличие от подлинных писательских дневников (иногда огромного литературного значения — как у Жюль Ренара, Михаила Пришвина) все эти «листья» кружатся и опадают в изначальном расчете на примысленного сочувственника.

Но — не на реального собеседника, здесь и теперь читающего предложенные строки.

Свежее жанровое обаяние миниатюр Ольги Шамборант в том, что она соединила отважную (но выверенную, конечно) интимность записываемого с обращенностью к актуальному читателю позицию автора «Уединенного» с позицией «колумниста», «писателя в газете», Гилберта Честертона или «поздней» Татьяны Толстой — исповедь и проповедь «в одном флаконе» (простите за пошлость).

Это почти неприметное — на фоне прочих создателей литературы (собственного) существования — отличие на самом деле очень принципиально. Доподлинное, а не виртуальное только присутствие других определяет здесь самый стиль жизни, а значит — каталог всех «признаков» ее.

«Вечная жизнь начерно. Только перепишешь набело полстраницы — рок опрокинет на нее чернильницу. Эта хроническая неудача, это ускоренное отдаление линии горизонта, это издевательское откладывание жизни — прямо по голове стучит, выстукивает, что так жить неправильно. ...надо бросить эти игры. Надо уйти в касание, халтурить в отношении общепринятого. Но ведь страшно рискнуть не собой, а другими. Как надо измучиться неизбежными

неразрешимыми заботами, чтобы понять, что в тюрьме-лагере есть своя компенсация тяготам и ужасам — избавление от ответственности за других.

Если уединившийся ради ежедневных «строчек» творец напоминает одну из героинь «Пушкинского дома»: «Вокруг Фаины — не было никого», — то озабоченный сетью обратных связей писатель-собеседник проецируется на другую героиню того же романа А. Битова: «Альбина никогда не была и не бывала одна: она была с легендами об отце; с сохранившей и в бедности какой-то заграничный жест богатства мамой... с фотографиями вилл и бабушек; с кошкой Жильбертой и устройством ее котят...»

Когда Шамборант делится наблюдениями над собой, то, можете не сомневаться, в каких-то поворотах они (как хорошая песня, чей лирический субъект — каждый, всякий) совпадут с вашими самонаблюдениями.

«ВЕЗЕНИЕ. Иногда, бывает, повезет, и сбитая машиной собака вблизи окажется причудливо свернутым куском картона. Или вдруг навстречу идет старик, сразу переворачивающий обыденное представление о старости: могучий, не телом, а мощным излучением суммы накопленных знаний, это вам не розовый обмылок НКВД, где-нибудь на вахте режимного учреждения... Буквально 50 метров прошла по улице, а сколько удачи!»

И как это она прознала, что и мне издали сослепу чудится в любом неопознанном шматке мусора то, что я увидеть боюсь, — труп убитого животного? (О стариках умолчу.)

Или — эссе «Лексика на страже морали», заставляющее вспомнить дикую, но такую понятную каждому (каждой) фразу Цветаевой: «Женщина с рабочим не пойдут». Только здесь не «рабочий» — что по нынешним временам в нем худого, чужого? — а «обалдевший от своих „успехов в труде“... слепоглухонемой советский человек». Не с гнусными какими-то намерениями, а в искреннем восхищении предлагающий героине (все той же Ольге) если не руку, то сердце, — поскольку она, согласно выразительным средствам его лексикона,

«сплав самого высокого духовно-интеллектуального, нравственно-морального и привлекательно-женского» (выделено адресаткой компли-мента).

От соблазна, поясняет наша рассказчица,

«меня спасла чуждая лексика... даже допустить мысль о реальности сползания коварных планов в жизнь было невозможно. Слова в данном случае выражали так много. Они, как наливное яблочко по серебряному блюдечку, проясняли, что за кабинеты и коридоры, совещания и пленумы, игры доброй воли и нечистой силы за ними стоят».

Да, многое многим тут внятно — даже если ты не из «нищего контрреволюционного подполья», как в другом месте аттестует себя героиня-эссеистка.

И вот еще особенность. Эти записи — прямо какая-то кардиограмма, энцефалограмма проживаемой жизни, словно они не реализуются в отведенное для того «писательское» время, а сами собой снимаются с невидимых датчиков. «Живешь дурак дураком, но иногда в голову лезут превосходные мысли», — так открывает свой цикл Абрам Терц. И заканчивает его: «Мысли кончаются и больше не приходят, как только начинаешь их собирать и обдумывать». Так вот, в голову Шамборант мысли не «приходят» и не «уходят» из нее, а, можно сказать, непрерывно пульсируют в ней «по ходу жизни». Это не мысли о жизни, а сама жизнь, источающая неотделимые от ее протекания секреты, «как печень желчь». Жизнь, мимолетно захватываемая враспloch.

Шамборант и сама отлично это сознает, отзываясь о себе как об особе, «которая что-то там корябала по ходу своей жизнедеятельности», и иронически противопоставляя эту особу «настоящим» писателям, «мужчинам», у которых жизнь отдельно, а профессия отдельно:

«...даже и простой, обыденный литератор, пусть потом его никто читать не будет, как потом вообще никого не будут, но сегодня, сейчас он должен облечь прозу свою небольшую мысль, нарастить мясо бытописания

или, на худой конец, жирок исповеди на рахитичный скелет своего замысла... Я уж не касаюсь тех случаев, когда литератор способен сюжет закрутить.

...Связывают себя бременем аванса, договора, срока сдачи — и пошла писать губерния. Тут уж просто по необходимости напишешь, долг чести и прочие долги обязывают. И все тут. Ну, потом, конечно, как опростаяешься, в нормальном состоянии ничего не пишешь, дела делаешь...»

Шамборант может остановиться, отказаться от пестования слов и занесения их на бумагу. Но она никогда не сможет «опростаться», пожить «дурак дураком», ибо ей дано и вменено — как бы ни жила, в какую бы юдоль ни забрела — непрестанно отслеживать эти самые «признаки жизни».

...И счастлив тот, кто среди волненья
Их обретать и ведать мог.

Насчет «счастлив» — не знаю, но в пушкинских строках меня всегда поражало: «ведать» — «среди волненья». В художественных душах определенного склада есть эта неподвижная точка, этот не зыблемый волнами жизни, волнением сердца, недреманный пункт ведовства, где куются формулы мимотекущего — тогда даже, «когда не думает никто». Если не ошибаюсь, Кьеркегор называл это свойство «демоническим эстетизмом» (оно вполне к лицу пушкинскому Председателю, слагающему гимн Чуме).

Я забрела не слишком далеко в сторону. Ниточку от Кьеркегора протянуть нетрудно. Название книжки Шамборант на свой лад переводит французско-экзистенциалистское знаменитое «condition humaine». «Признаки жизни» — легковзвучней, нежели философски-солидные «условия человеческого существования» или моралистически подсвеченный «удел человеческий», — но, в сущности, этот прелестный каламбур несет тот же смысл, что и переводимая тем и другим образом пара французских слов. (Второе значение «признаков» — намек на полуобмершее-полу-мертвое прозябание; но об этом ниже.)

Итак, «демонический эстетизм» экзистенциального персонажа писательнице не чужд — даром что в женской версии встречается нечасто. (Впрочем, некоторыми заголовками: «Попытка зависти», «Попытка нравственности» — она соотносит себя с Цветаевой, которая в этой стихии знала толк.)

«Истинное утешение — это гениальная формулировка печали. Все остальное — подмена».

«Мы все инвалиды, все, как один».

Мировая скорбь, понятно, открывает обширные возможности эстетического самоутверждения — от нежнейших «формулировок печали» до саркастической усмешки над мироустройством, утрачивающим «признаки жизни», от плача над людскими немощами до претендующего на особый шик в женских устах (крутая, дескать) непристойного анекдота. Но вот беда: мировая скорбь равняется мировой же безответственности — «никто нам не поможет, и не надо помогать». А тут как назло другие, ближние и дальние, которым кто-то или что-то — совесть? — велит помочь, утешить не одними только «формулировками». И этический маятник книги все раскачивается и раскачивается между скептической горечью, в каком-то — для меня лично очень болезненных — точках граничащей с очернительством, опрощенческой игрой на понижение — и апологией любви и жертвы, во свидетели призывающей апостола Павла: «любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует...»

Это основная коллизия книги, которую сам автор вряд ли замечает и не пытается сделать продуктивной. Поэтому, хотя внутри каждой записи, каждого фрагмента упрятана своя жемчужина или по крайней мере изюминка, читая все подряд, носишься на качелях согласия — несогласия, восхищения — досады и в перемещениях этих не находишь взыскуемой логики.

«Что можно сказать в конце концов? — Что — так уж человек устроен. Больше все равно не узнать. Это синтез всем анализам. Ложь — его удел. Стыд — его предел. Безответственность — его страсть и идеал. Нравственная форма безответственности — религия. Безнравственная — государство. Доб-

рый — это кто не знает, хоть выколи глаза, что он злой; или правда не злой? Злой... это еще и умный, который знает, что он недобрый? А потому — печальный. ...Хочется ведь человеку себя суметь исхитриться уважать. Кто в детстве не мечтал вынести кого-нибудь поинтереснее из горящего здания. Тут и до поджога недалеко. Не то чтобы, но недалеко. Если уж наблюдается порыв, особенно экстренный, — дело нечисто. ...Что же такое, в сущности, порыв? Это прорыв в бытие без принуждения, без самопринуждения, это безумная мечта о слиянии собственного интереса с потребностью в тебе. В последнем откровении — это дезертирство оттого, что некому, кроме тебя, делать» («Похвала самоотверженности»).

Где мы похожее читали? Да вот оно:

- Ближним охотно служу, но — увы! — имею к ним склонность.
- Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?
- Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье
- И с отвращеньем в душе делаю, что требует долг.

Такой эпиграммой Шиллер отозвался на «категорический императив» Канта, обрезающий крылья непроизвольному порыву к Добру как Красоте («дело нечисто»).

«Делать нужно только одно и самое главное — жертвовать. Сделано вообще ровно столько, сколько пожертвовано. Чем, скажете вы? Чем, чем — жизнью: временем, силами, сном, «своими интересами», безмятежностью, страстями, пороками, принципами, привычками, идеалами, вкусами, «возможностью побыть наедине со своими мыслями» — короче, любым балдежом. Разве что вы балдеете от исполненного долга. ...Эгоисты все, как один, вот только одним для утешения нужен комфорт, а другим подавай чистую совесть. Этим горе-эгоистам хорошо известно, сколь недостижимо это самое чувство исполненного долга. Разве можно сделать достаточно для тех, кто от тебя зависит? Все будет и мало, и не совсем то, и не совсем так. ...Не знает, что делать (якобы не знает), тот, кто внутренне не согласен на жертву, а кто «всегда готов» — глядишь, уже пашет в новой осложненной обстановке» («Что делать»).

Прекрасно сказано, но заметили ли вы, как рассуждение-поучение, даже с поправкой на иронию, то и дело соскальзывает в достопамятный «разумный эгоизм»? «Жертва — салоги всмятку», но мне, эгоисту-умнику, подавай выгоду наилучшего образца, то бишь «чистую совесть». (Читали у Чернышевского.) «Люди — всегда люди», — как сказано в другом месте. И к жертвоприношению, каковым, по Шамборант, отчасти является и творчество, всегда примешивается «некоторая надежда просунуть наилучшую версию самого себя». Так-то оно так, однако...

Есть две этико-аналитические процедуры, грань между которыми опасно зыбка. Первая — снятие позолоты с бросовых жизнепродуктов: «позолота-то сотрется, свиная кожа остается». Вторая — соскребание золота с золотых слитков: занятие тщетное, в котором Честертон, кажется, винул Бернарда Шоу.

В операциях первого рода Ольге Шамборант трудно сыскать равных. Именно потому, что она никакой не сатирик, не «юморист», а просто смотрит на мир «разутыми глазами», и взгляд у нее — как скальпель: «когда видишь — видишь все». А язык, унаследованный, по ее словам, от бабушки, —

«язык-то остер, словцо-то... Знаю свой грех... всю жизнь одним про других рассказываю, и словцо красное оттачиваю, и, рассказывая, сама для себя осознаю, и формулирую, и хохочу, хоть и горькие дела. Предаю огласке, предаю, предаю. Всех, на каждом шагу. ...Как умеем, извещаем мир о вас, клиенты дорогие!»

Да, от ее портретирования дрожь пробирает, но — признаемся себе — дрожь сладкого, и даже злорадного, опознания:

«Явный „отсидент“ с ужасными отеками вокруг глаз, но с шевелюрой поклонника театра, маленький, слабовыраженный всеобщий любимец».

Или такое:

«По телевизору выступает Н. Из-под прикрытых Господом Богом век как бы выглядывает такое-сякое понимание уже многого. Он сначала что-то врет,

давно опровергнутое свидетелями, о своих благородных сношениях с Классиком, то есть вешает свой номерочек на крючок. Потом он говорит, что сейчас надо писать стихи про нитраты, забывая, что сейчас можно писать стихи про нитраты. Он привык это подменять еще где-то до коры головного мозга» («Поднимите мне веки»).

Веки у Шамборант всегда подняты, прищуриться, взглянуть сквозь ресничный флер она ни себе, ни нам не даст. Вот чужой муж почувствовал к одинокой женщине «светлое и мощное, похоже, очень даже духовное тяготение». Ребенок ее, выясняется, тут не помеха:

«...эти шкеты обожают дружить с дядями, не отобьешься, а если культурный человек, то и сам очень по-своему привяжешься на время».

И далее в том же роде. Я не стала навязывать свои курсивы там, где и так все выделено превосходно организованной интонацией: «как бы», «такое-сякое», «уже многого», «очень по-своему» и «на время». Это фраза, сделанная средствами, может быть, Жванецкого, может быть, Петрушевской, но не масочная, не сказовая, а одушевленно-личная, произнесенная ломким, вибрирующим голосом моралистки, настаивающей нас своею зречностью:

«Способ установления моральной ценности поступка состоит в снижении, в приземлении его смысла».

Способ этот иногда срабатывает, иногда — нет, и грань между тем и другим случаем, как я уже сказала, опасна — но зато и поучительна.

«...читая переписку Трубецкого с дорогим другом в юбке (эпоха войн и революций), опубликованную под названием „Наша любовь нужна России“, причем это цитата из письма, — я понимаю, что все эти духовничающие во время хронической чумы, просто или не просто — похитрее приспособились к жизни, имели возможности, связи, первоначальный капитал образования, воспитания и т. д. Это спасение в буквальном смысле, это занятие верхних этажей (бельэтаж поближе к небу, чем подвал) очень близко к приобретению богатства на земле. Они, духовные, тоже бросили, обманули и обворовали».

И вот еще — чтобы видели, что предыдущий пассаж не случайность:

«Идея их перестройки — по сусекам поскрести, замызгать все ранее брошенное, а потому как бы сохраненное — ресурсы, энергию по новой обманулых, забытые источники силы — и обобрат по десятому разу».

Тут же повыползали и символы этой горбачевской духовности — Лихачев, Аверинцев и менее постно-известные, но не менее желающие, чтобы до них очередь дошла. Новые духовные отцы охотно влезли в иконостас, и пошла духовничать губерния».

Если я начну втолковывать, что князь Евгений Трубецкой (чья любовная переписка с Маргаритой Морозовой длилась и вовсе не в чумные для России годы), чудом и отвагой избежав клещей ЧК, бежал в Добровольческую армию (искупая не преимущества образованности, а участие в оскандалившейся Партии народной свободы) и там погиб от тифа; что Лихачев заслужил свое право нас чему-то учить не только в академическом кабинете, но и в Соловецком «бельэтаже»; что Аверинцев в оны годы, не изменяя себе, выносил такое давление, какое, должно быть, не снилось нашей обличительнице, — то я тем самым обнаружу свое нежелание заодно напоминать о предполагаемых (кем-то) достоинствах и предполагаемых жертвах поэта N и буду уличена в грехе лицеприятия. Лучше обобщу поверх личностей.

«Бельэтаж» быть не должно. Вот к чему все сводится. То, что там располагается и творится, — всегда ложь. Бытие не иерархично, оно низинно. Лишь низы и окраины бытия кажут истинное, неприпудренное лицо жизни. Такая ориентировка на местности ведет по одной тропке к толстовству (почему бы не помянуть Толстого, когда Кьеркегора, Канта и Чернышевского мы уже припрягли?), а по другой — к тем, лишь отчасти искренним, аргументам, которыми Иван Карамазов улавливал в свои сети Алешу: к притязанию быть сострадательней самого Всевышнего, предъявляя, в подкрепление мировой скорби, язвы забытых Богом

страдальцев, обитателей «подвала». Здесь правда так тонко переплетается с уклоном на ложный путь, что у меня опускаются руки.

В том, что пишет Шамборант, существен, а порой неустрашим социальный коэффициент. «При нашем строе...» А потом — при «рынке», вызывающем у нее, как у всех разочарованных интеллигентов, не туда вложивших свои духовные сбережения, злую брезгливость. И что касаемо «нашего строя», то мне не хватает слов благодарности за ее памятозлюбное, не смазанное новейшими «ужасами рынка» неприятие и отвращение к вчерашнему Красноуродску и его окрестностям. Но, хотя «занимательной социологией» охвачена половина эссе, да и в другой, давшей название книге, этой самой «социологии» хватает, все же многообразные задворки существования («Природа сэконд хэнд», «Вторая смерть», «Крушение животного мира» — заглавия красноречивы) несут чисто экзистенциальный запал и, как оно всегда представлено у метафизических революционеров, безответно вопиют к небу о неискупимой своей погранности.

Это, может быть, самые талантливые страницы и строки Ольги Шамборант, выведенные трепещущим сердцем и недрогнувшей рукой, умеющей пронзать и мучить не только формулами, но и живописанием.

«Сию перед кабинетом врача. Линолеум — основное впечатление. Голые стены, поверхности. Стульчики с людьми, как реквизит театра теней. ...Все видны. Все принесли сюда из дома свои ботинки, сапоги, нелепые костюмы, свою потертость или относительное свое благополучие. А главное, свою печать своей жизни на своем облике. Вот, что это? Неужто вся жизнь до сего дня — сорок, пятьдесят, шестьдесят лет — шла для того, так долго долбила, вымывала, выдувала, чтобы сейчас так сложились складки, такой приобрелся наклон, такая выросла борода, образовалась лысина, седина, близорукость, кривобокость? Неужели нас лепило, жало, мяло? И мы несем это как документ? Разрешите представиться! — вот что со мной жизнь сделала! И только это, собственно, она и сделала. Со мной».

«Вторая смерть»:

«Что я могу? Еще раз написать, что жизнь ушла, что действительность умирает? Что даже пейзаж только благодаря тому, что имеет другие меры Времени, еще как бы есть. Но это конец. ...Ведь и сейчас красиво, а я воспользуюсь, что еще красиво, что еще есть кто-то, кому хочется умирающей красоты, и украду для него этот заборчик. ...Ведь безумна еще красота сплетенья трав, шизофренически простые узоры кружев отцветшей сурепки. Она светла, а клевер грозно темен, богат листом и только что зацвел. А сныть — уж эта только не проста. Она сложна, и невесома, и высока, как пена над землей. Куда ни кинь. ...На животах лежат дома-улитки, раковины-дома. Тут запустение доступно. ...Разве не видно, что умрет природа? Вот бревна. Как долго они жили после жизни дерева, а теперь ясно, что они — умерли второй смертью. Вот драмка. Она была жива, как лоснящаяся шерсть холеного домашнего зверька. И умерла — труха. ...Еще служат ностальгии органические остатки русского духа, еще минеральное царство не настало совсем. Что будет потом?..

Когда мы умрем, мы тоже умрем второй смертью».

Без комментариев напомним, откуда взялись эти слова — «вторая смерть»: «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 8). Слова проклятия.

Поедем дальше — на поезде.

«Фонарь, киоск, скамейка. Бедные люди, ужасные сочетания цветов в одежде... И этот русский асфальт, покрытый археологическим слоем запустения, сортир — ожидаемый и случающийся шок. ...Заплеванная площадь, гористые боковые улочки, гнусный дом власти, стеклянный универмаг с одинокими товарами из кожзаменителя и искусственного шелка. До или после города — горушка с оградками и крестами, до или после города — садовые участки, очень сильно смаживающие на те оградки, только с домиками-скворечниками вместо крестов и в низине, а не на горе».

Можно еще сесть на электричку и доехать до Красноуродска.

«Сам Красноуродск будет устроен типово: старые двухэтажные деревянные дома с коммуналками, в прошлом с печками, где дерево и теперь, в новую эру газа и электричества, старое дерево стен, перил — пахнет керосином-коридором... Среди этих ветхих сорняков поднялись и глушат их бетонные ба-раки новой эпохи, может где-нибудь на отшибе „встать“ какой-нибудь инва-лидно-короткий проспект, поблескивая стеклами универсама. ...Как всегда у нас — все эти элементы города не связаны, разделены пустырями, свалками, местами для распития, кустами для изнасилования, стадионами для избие-ния».

Тут же и местный автобус довезет до некоего ЦМИС:

«Автобус остановится — с одной стороны щепотка домов, с другой — бес-крайний, каким-то чудом некрасивый простор».

Минуя «пересеченную местность сталинской Москвы» и декорации Москвы постперестроечной:

«...тут такой супчик сварен на крови с серым, как чекистская шинель, гранитом, колоннами, бутиками, — и новая супница прозрачным пузом тор-чит из-под земли на Манежной площади», —

заглянем еще в парочку мест скорби.

«...ночные ветстанции, где по кафельному бункеру ада ходят неприкаян-ные добряки, держа в объятьях больных — поникших, смиренных, из которых не все выживут; где стоят на рентген, к хирургу, трепещут, надеются, остро живут настоящим», —

а для нас, для людей:

«Медицина — это кафельный пол, клеенки в пятнах и клистирные труб-ки, с адски обыденной скукой встречающие вас и обещающие если не по-мочь, то побыстрее продвинуть по линии жизни. Это грохот колесницы за дверью палаты. Ужин везут. Врачи улетели.

Это пестрые казенные и стеганые домашние халатики абортниц на круг-лой вешалке перед страшной дверью, их вывозят грубо-озабоченно на катал-ке, как разломанных кукол. (Столько жизни было в волнении до и столько безжизненности — после.)

Это потеря стыдливости, как в поезде, потому что болезнь — тоже уско-ренный путь».

И вот, «ускоренным путем» пронесаясь вдоль всех этих «признаков жизни», что мы видим?

«...мы видим лишь, что нет живого места ни в душе, ни на улице, ни на земле».

«НЕ ОСТАЛОСЬ ЖИВОГО МЕСТА».

Но тогда самое ли главное — жертвовать? Кому? Тем, кто мертв? Тому, что мертво? «Всяческим реставрациям разрушенного навсегда»? Не лучше ли «добрать-ся до дома, до родного разгрома — и рухнуть»? А мертвецам предоставить хоро-нить своих мертвецов. Тем более, что Запад этого за нас не сделает. «Западу слабо создать нам всесоюзный хоспис, чтобы мы ушли, не чувствуя боли»...

Однако, вопреки самым густым теням и низким нотам книги, даже вопреки ее преобладающей художественной логике, рвется она одолеть «скорбное бесчув-ствие», «все сделать для других», «выкопать из-под обломков своих родных и близ-ких: свою любовь, свою бесстрашную жалость, свою безоружность и готовность простить, чтобы распятие оказалось распростертыми объятиями...».

Ведь припасены же такие слова. Потому что по ходу всех своих успешных опе-раций раздевания и соскребания — в глубине души — автор догадывается: послед-няя матрешечка таки сплошная. Солнце правды. Слиток чистого золота.

ИРОНИЯ, ВЕРНЕЙШИЙ ДРУГ ДУШИ

Татьяна Толстая, Наталия Толстая. Сестры. М., Издательский дом «Подкова», 1998, 395 стр.

Книга внучек Алексея Николаевича Толстого Татьяны и Наталии Толстых так и называется — «Сестры», неизбежно отсылая к первой части самого известного дедушкиного романа «Хождение по мукам». Не отрещиваясь ни от какого родства (ни со знаменитым дедом, ни тем более друг с другом) — что было бы нелепо, — авторы, слегка иронизируя, как бы разводят руками: а что прикажете делать?

Татьяна Толстая представлена здесь статьями, очерками и эссе, Наталия — рассказами. Надо признать, что издатели сделали не просто ловкий коммерческий ход, объединив под одной обложкой двух пишущих дам, волею судеб связанных кровным родством, но следовали логике редкого художественного единства лежавших перед ними текстов. Обе Толстые умницы, начитанные до безобразия, аристократичные, остроумные, блестящие, слог отточенный, ироничный, взгляд на мир ясный, прямой, не убийственный, но и не сентиментальный (другого-то мира все равно не дано, а умный человек готов принимать вещи такими, как они есть, облегчая себе отсутствие иллюзий самоиронией и надеждой, что разочарования ему не грозят).

Однако сказать, что сестры Толстые пишут одинаково, было бы не только невежливо, но и несправедливо. Разница все-таки есть. Особенно она заметна при столь близком сопоставлении.

Наталия пишет суше, четче, фраза коротка и бьет наповал, точно снайперский выстрел. Она отстранена от всякой ситуации, которую берется описывать, хотя очевидно, что основной тип героини (рассказы Наталии Толстой всегда строятся вокруг женского образа) — это тип, к которому принадлежит и сама Наталия Толстая, что пишет она прежде всего «с себя» — себя, впрочем, при этом далеко не исчерпывая.

Татьяна несколько хаотичнее, чуть небрежнее к слову, зато более эмоциональна, и сфера интересов, если позволительно так выразиться, шире — масштабнее и художественные задачи. Не случайность, что она выступает здесь в ипостаси эссеиста и публициста. Некоторые вещи ей необходимо проговорить «до конца», до полной ясности, что в художественном тексте делать не следует, и она жертвует «литературой» в пользу актуальности, предлагая взамен чистой образности систему порой весьма смешных, но оттого еще более убедительных доказательств.

Если определять главное объединяющее начало мировосприятия сестер Толстых, то формула должна выглядеть приблизительно так: бытие культурного человека в чужеродной среде, то есть в современном мире, глубоко этому человеку враждебном. Всякий культурный человек в сегодняшней ситуации — все равно что одинокий аристократ среди плебеев. Торжествующая пошлость, рядящаяся ли в модные одежды ультрасовременных течений, донашивающая ли ветхие лохмотья сходящих со сцены, но живучих предрассудков, всякое неживое, нетворческое, не облагоустроенное работой души и оттого формализованное движение глубоко ранят эту тонкую натуру. Для общения с миром такому существу необходим надежный панцирь, иначе сойдешь с ума. Панцирь этот и создается беспощадной иронией и заведомым скепсисом, вооружившись которыми носитель культурного бремени, точно искусный фехтовальщик шпагой, встречает ежесекундные удары толстокожих противников.

Интеллигентная женщина в исполнении Наталии Толстой — род солдата, ведущего затяжную окопную войну без надежды на победу, но и не желающего сдаваться без боя. Почти всякое проявление внешнего мира есть агрессия, направленная лично против нее, поскольку это проявление будет скудоумным, бестактным, некрасивым (а оно, смею заверить, именно таким и будет). В метро ее подстерегает реклама какого-нибудь репейного масла, в телевизоре — глупейшая передача, на

рабочем месте — тупая инструкция, в поликлинике — стихотворный шедевр о пользе гигиены, а уж в непосредственном общении с людьми — целый букет вынимающих душу перлов.

И притом, заметим, она не жалуется, нет — то есть ни единой истеричной нотки, капризной голосовой модуляции, скорбной, но прощающей улыбки. В любых обстоятельствах внешне спокойная и хладнокровная, она отразит все до единого эти сюрпризы жизни. Придаст им в своем сознании столь беспощадно недвусмысленную форму, что сразу восстановится нарушившийся было баланс — безобразное во внешнем мире, пройдя обработку в камере блестящего интеллекта, преобразится в свою противоположность в мире внутреннем и глубоко персональном. Так гениальный теннисист нежданно примет и вернет сопернику, казалось бы, гиблый мяч.

Для ответного удара нужно, как выяснилось, немного — всего-то с максимальной точностью воспроизвести портрет: записать на бумаге то, что было, что видели глаза, что слышали уши, и тогда, повинувшись изумительному закону художественного преображения, глупость и пошлость начнут уничтожать самое себя, громогласно возвещая о бесконечном своем безобразии.

Женщины и мужчины из советских парткомов, обладающие прерогативой решать, достоин ли человек, много лет занимающийся языком и литературой такой-то страны, посетить наконец эту страну, — эти волкодавы и мамонты вдруг скукожатся под пристальным и саркастичным взглядом прошедшей экзекуции, но все равно не отпущенной в зарубежный вояж университетской преподавательницы и окажутся напыщенными мнимостями вроде тех, что сто лет назад низвела из королевского сана Алиса, разжаловав в жалкую колоду карт. Так же легко, одним перечислением предвыборных лозунгов, будут определены на соответствующее им место нынешние депутаты. Современная драматургесса, продуцирующая напыщенный бред, тоже получит слово — и собственным же словом будет припечатана. Любой, посягнувший на красоту и гармонию мира, оскорбляющий их одним своим видом, речью, помыслом и поступком, получит тут по заслугам. И поделом, ой поделом...

Не пошадит Наталия Толстая ни родины, ни заграницы. Посланец туманного Альбиона, снявший квартиру у обнищавшей — но отнюдь не духом — петербуржанки, который выдает словесные шедевры весьма хамского свойства на изучаемом русском языке; норвежка с замашками активиста Армии Спасения, желающая передать в качестве гуманитарной помощи нашей стране две тысячи бумажных носовых платков — со строжайшей инструкцией следить, «чтобы ничего не попало к аппаратчикам и номенклатуре»; безмянные авторы шведских учебников русского языка с текстами, рассчитанными на сознание дебила; спесивые и самодовольные высокопоставленные зарубежные гости, посещающие Эрмитаж, которые на самом деле могут похвастать лишь высшей степенью хамства, невежества, дурного вкуса, — все они получают что заслужили.

То, что сестра в этом сборнике делает в пространстве художественного текста, Татьяна Толстая выводит на поле публицистики.

В интервью, предваряющем подборку, Татьяна Толстая признается: «Для меня единственный способ совладать с унынием любой действительности — опозитизировать ее... А поэтизировать бодрую, конструктивную пошлость мне не с руки. Мне ближе... то, что называется „поэзией умирающих усадеб“». Чтоб было все слегка кривое и поросшее лопухом... Как не привнести лирику в мусор!»

У Татьяны Толстой показаны обе стороны медали — и милое, но ушедшее, представленное чудом уцелевшими осколками, и нынешнее, торжествующее и оттого еще более отвратительное. Первое характерно для ее рассказов, в книге не представленных, хотя и здесь есть прелестная поэтическая реконструкция старой дачи («Белые стены»), где слой за слоем сдираемые во время ремонта обои и обнаруживающиеся под ними старые газеты — сначала с «народ требует казни кровавых зиновьевско-бухаринских собак», затем с траурной очередью к Ильичу, затем с фотографиями «бравых господ офицеров», а затем уже с совсем нереальным — «все высшее общество Америки употребляет только чай Кокю букет ландыша» — символически восстанавливают прошлое. Невосстановимое прошлое: едва показавшись на глаза, газеты тут же обращаются в драные клоки бумаги и немедленно следуют в печь...

Татьяна Толстая несколько наговаривает на себя, утверждая, что прошлое интересует ее лишь в образе «старых усадеб». История чудом спасшейся Анастасии (по версии Толстой выходит, что это была и вправду великая княжна), история «Титаника», даже образ Бродского последних лет жизни — что это, если не попытка пробиться сквозь огрубевшую шкуру устоявшихся стереотипов к живой плоти человеческих существ, в мире сем непосредственному контакту уже не доступных? Прошлое для нее — это, конечно, люди, а антураж, усадебный ли, русский ли даже или любой другой — это выгодный фон, на котором заметнее выявляются типажи.

При таких взаимоотношениях с историей (а прошлое и есть история) Татьяна Толстая была почти что обязана отреагировать на советский вариант исторических фальсификаций. Надо отметить, сделала она это до того остроумно и тонко, что апологетам бывшего режима (если таковые найдутся) лучше вовсе не раскрывать рта (во всяком случае, по этому вопросу). В эссе «Неугодные лица» прослеживаются этапы последовательного (по мере арестов и расстрелов) исчезновения с официальных фотографий неудобных для официальной же истории фигур — и странного их возвращения (далеко не всех, и не всегда ясен принцип отбора) в более либеральные времена. «Неугодные лица» — это язвительная отповедь наглým «хозяевам» прошлого, бездарным манипуляторам, не способным даже как следует замести следы — внимательный взгляд легко находит на этих снимках приметы фальши: воротник вклеенного (взамен упраздненного) на трибуну Мавзолея члена ЦК зияет девственной чернотой, тогда как все остальное обильно припорошено снегом... Исчезают один за другим наблюдатели шахматной партии Ленина с Богдановым (год 1908-й, визит Ленина к Горькому на Капри), пока в 1939-м шахматисты не остаются один на один («вместо расслабленного отдыха на солнышке перед нами битва интеллектов: кто победит? Наверное, Ильич!»), но чуткий глаз Татьяны Толстой и здесь выискивает пищу для размышлений: по свидетельству Горького, партия-то была не его, что можно подметить и по положению фигур на доске. «Будь я цензором в 1939 году, — язвительно роняет Толстая, — я бы, наверное, Ильичу пририсовала много-много фигур, да все ферзи, все ферзи, а Богданову — одну пешку, и то маленькую».

День сегодняшний, то есть «бодрая, конструктивная пошлость», приводит Татьяну Толстую в не менее ядовитое расположение духа. Особенно ярко это заметно в невероятно смешном и желчном эссе «Политическая корректность», посвященном, как нетрудно догадаться, модным западным штучкам — борьбе за равные права ущемленных социальных групп. Не просто нелепость, но вопиющая бездарность и агрессивная тупость современного авангарда прогрессивного человечества в лице феминисток, цветных, зеленых и голубых, а также защитников прав животных и инвалидов простым «цитированием» доводится Толстой до абсурда, то есть до своего логического конца. Если учесть, что проживает она ныне в том социуме, где даже тень сомнения в правильности курса на «политическую корректность» расценивается как отказ от равнения на звездно-полосатое знамя и знак крайнего мракобесия, то надо признать за ней определенное мужество. Впрочем, положение обязывает. Нельзя, уже продемонстрировав признаки острого зрения, вдруг притвориться слепым.

«Интеллигентность, — пишет Татьяна Толстая (эссе „Интеллигент“), — это просвещенность души, это альтруизм, это нравственный императив — и совесть, и грызущее чувство ответственности — за страну, за будущее, за свой и не свой народ...» И заканчивает так: «Ах, Господь, пошли же мне силы!»

Мария РЕМИЗОВА.

*

ТРОГАТЕЛЬНАЯ КНИГА, ИЛИ О ВРЕДЕ ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКИ

Игорь Меламед. В черном раю. Стихотворения, переводы, статьи о русской поэзии. М., «Книжный сад», 1998, 240 стр.

Книга Игоря Меламеда представляет собою не только мини-избранное за 1982 — 1998 годы, но и своего рода поэтический манифест, в котором сти-

хотворения, переводы и следующие за ними критические статьи (числом две) должны друг друга поощрять, оправдывать и иллюстрировать.

Книга, кажется, призвана являть «традиционалистское» (если такое есть) направление в отечественной поэзии, как О. Павлов, В. Отрошенко и А. Варламов демонстрируют преодоление постмодернизма и продолжение реалистических традиций в прозе. Реализм и верность традиции в сознании этих авторов, а также их главного апологета Павла Басинского означают также и теплоту, и доброту, и сострадательность (о гуманизме говорить остережемся — термин, что называется, о двух концах, многие понимают гуманизм как атеизм). В противовес «холодному» постмодернизму и «бесчеловечному», «деструктивному», «механистичному» авангардизму творчество новых традиционалистов насыщено теплом и любовью, в чем позволительно подчас усомниться, особенно как взглянешь, с какою яростью традиционалисты любых мастей отстаивают свои позиции. Павел Басинский снабдил своим послесловием и книгу Меламеда; в этом послесловии он в своей манере мазнул дегтем Вознесенского и Евтушенко (как «поэтов исключительной глухоты»), а также поддержал и договорил до полной определенности (за что ему отдельное спасибо) наиболее сомнительные теоретические положения автора книги. Будемте, однако, книжку читать.

Стихи Игоря Меламеда — хорошие традиционные стихи, чувства, которые автора волнуют, суть «чувства добрые» и достойные всяческого поощрения. С моралью и человеческой порядочностью тут все до такой степени как надо, что ни одна мать не запретит дочери держать эту книгу под подушкой. Стихи не блещут точностью и изобразительностью, а также оригинальностью и отвагой мысли; в них нет густоты деталей и меткости взгляда; нет особенного разнообразия; даже на уровне лексики они весьма монотонны на всем протяжении книги (и, следовательно, творческого пути): душа, теплый, влажный, слабый, бедный, милый, бабочка (мотылек), снег, музыка, черный, звезда, ангел, окно, чай (любимый напиток лирического героя), зеркало, мякоть, тьма, сердце, отчизна. Беру наиболее частотные меламедовские слова, из перечня которых вполне ясно, что перед нами — поэт теплый и трогательный, в самом хорошем смысле слова, и сентиментальный временами; он несколько тяготеет к абстракциям, зато, когда в его стихи попадает вдруг точная деталь, реалия быта (что, увы, случается редко), они, стихи, тут же становятся полновзвучнее и прорываются от общих мест к некоему новому смыслу.

Вышло так, что и переводы и статьи придают оригинальным стихам Меламеда не вполне выгодное освещение. Когда он берется за тихие, камерные, сентиментальные и очень рациональные стихи Вордсворта, получается именно то, что требуется. Но, переводя «Улялюм» или «Аннабел Ли» Эдгара По, он наглядно демонстрирует то, что считает, видимо, своей силой — и что на поверку оказывается главной слабостью. Мятые и готически-страшные стихи Эдгара По, чей ритм призван никак не убаюкивать, а скорее уж зачаровывать и напоминать о тайне, выглядят у него трогательно-уютными, напевно-однотонными и бестревожно-водянистыми, как и его собственные. Каким-то удивительным образом здесь изменяет ему даже простой слух:

Было сердце подобно вулкану,
Извергающему рекой, —

простите меня, но я решительно отказываюсь вообразить себе это геологическое чудо. А чего стоит «в могиле, где волны на берег легли» (в «Аннабел Ли»), — весьма неловкая конструкция... Не говорю уж о том, что Меламед произвольно сгладил, «разровнял» столь важные для По ритмические сбои, и оттого стихи из мучительных и отчаянных превратились в приторно-ностальгические.

Лучшие из оригинальных стихов Меламеда — те, что посвящены памяти отца. Но здесь мы вступаем в ту область, где требуется особая деликатность и чуткость. Разбирать стихи, посвященные памяти отца, на мой взгляд, вообще не следовало бы, поскольку речь идет о личной трагедии, а как она себя выражает — не важно. Но коль скоро образ отца — один из главных, если не главный в книге, коль скоро стихи эти, да еще в таком количестве, вынесены на читательский и критический суд, автор сам вынуждает читателя подвергать анализу интимнейшие пережи-

вания. Стихи эти прекрасны не за счет своей «теплоты», а исключительно за счет того, что в них прорывается наконец живая жизнь, не прокламированное, а пережитое чувство. И жаль, что лишь такой ценой стихи обретают наконец настоящее дыхание. Здесь чувство не названо, а дано, и главным образом благодаря все той же детали:

Я сегодня в слезах проснулся.
 Был глухой предрассветный час.
 Мне приснилось, что ты вернулся
 и поставил чайник на газ.

.....
 Все с тобою, как прежде, было:
 взял ты бритву и помазок,
 и, как прежде, капало мыло
 на пижаму твою со щек.

Не бросай нас! Останься с нами!
 Вот очки твои, вот кровать.
 Каково будет мне и маме
 во второй раз тебя терять?

Тут запечатлена пронзительная — как во сне только бывает — тоска, тут любовь не книжная, не абстрактная, но живая и кровная, и эти-то стихи и делают Меламеда одним из привлекательнейших современных московских поэтов. Такими же деталями оживлены и другие стихи об отце — например, еще об одном сне, в котором он является герою и пытается отогреть своим дыханием неподдающийся замок сарая — но дыхание уже утратило тепло. Правда, на многих стихах книги отпечаток слишком сильного впечатления, которое произвели на автора (видимо, в юности) стихи об отце Давида Самойлова: появляется тут и «я маленький», и ангина, которую как будто уже не очень и прилично упоминать в стихах о себе маленьком и об отце — после знаменитого стихотворения, известного даже школьникам.

Но в большинстве своем стихи Меламеда об отце — настоящие, и именно в них заявлена наиболее важная для него коллизия: невозможность выбрать (и в конечном итоге отказ выбирать) между «тем светом», в самом буквальном смысле, то есть между совершенством и просветлением, — и земным теплым, по-своему уютным мраком, бытом, «теплом несвежим», как очень удачно сформулировал сам Меламед. Это коллизия характерная, не новая, особенно актуальная для еврейской поэзии и прозы (Меламед не стесняется своих корней). Либо мир загробной, нечеловеческой гармонии — либо человеческая теплота, беспомощность, нежность и все протекающие отсюда несовершенства. Не случайно ангел у Меламеда — почти всегда темный, чуждый человеческому страданию и состраданию «безучастный отрок с беспощадным своим мечом», и когда этот ангел к нему наконец слетает — лирический герой его деликатно выпроваживает, потому что ему и так хорошо.

Во всяком случае, свой подчеркнuto скромный выбор поэт делает с большим достоинством, отсюда же и его отказ от вызывающе громких фраз и каких-либо новаций. Правда, у Кушнера или у Чухонцева был явлен и трагизм такой негероической, нарочито обыденной позиции; Меламед трагичен лишь в очень немногих своих стихах — или, хоть я и не люблю все умножающихся ссылок на этот источник, слишком часто тепл, никогда не холоден и очень редко горяч. Басинский в послесловии вообще очень облегчил задачу разбираемого автора: «Стихи Игоря изначально не рассчитаны на читателя недоверчивого». Простите-с, но это уж задача автора — пробудить или обмануть доверие. Меламед далеко не всегда заставляет читателя почувствовать, что и в буднях, и в быте его героев — Алфимова, Доры, соседа в мятой соломенной шляпе — есть подлинное величие и подлинный трагизм. Когда это удастся, стихи становятся поэзией. Слава Богу, у позднего Меламеда так происходит все чаще: ранний литературен, вторичен и источники его вдохновения проследить нетрудно. В самой интонации (которая зависит и от любимых размеров) вдруг засквозит то Заболоцкий (чей «Ангел, дней моих хранишь...» перепет тут многожды), то Арсений Тарковский, то не любимый поздним Меламедом поэт, чье влияние до того торчит из длинного стихотворения «Бессонница», что впору назвать его «Большая элегия Иосифу Бродскому».

Но из статей — и в особенности из «Совершенства и самовыражения» — впопугу выписывать огромные куски без комментария, настолько Меламед здесь, сляясь самооправдаться, саморазоблачается. Поэт, не отмеченный (кроме немногочисленных удач) «лица необщим выраженьем», взялся всерьез, со списком литературы, доказывать, что таковое необщее выражение только вредит! Доказывается, что слабые стороны поэта (как-то: отсутствие у него своего почерка, гладкопись, многословие) есть как раз сильнейшие его стороны и — более того — знак почившей на нем благодати! Главным аргументом становится благодать, а с благодатью не поспоришь. Создается ощущение, что Меламед изобрел некий прибор для измерения благодатности текста (он может, конечно, возразить, что в качестве такого прибора ему служит собственная душа, адресат почти всей его лирики, — но, базируясь на таком субъективном критерии, надо и дальше стихи писать, а всякие претензии на научность оставить). Научности Меламед, впрочем, не признает: «...акмеистические теории подспудно готовили почву для той чудовишной науки о поэзии, которую начали разрабатывать опоязовцы и в частности Тынянов. (Откуда к Опоязу прилетело второе „п“? — видимо, от оппортунистов? — Д. Б.). Тынянов с энтузиазмом крота рыл филологические норы, валя в одну кучу золото и шлак, в своей слепоте не догадываясь о существовании солнца. Его наука была вульгаризацией акмеизма... Он был убежден, что поэзия возникает путем селекции жанров и тем, стилей и приемов»...

Оставим в стороне эту беспримерную вульгаризацию формального метода. Казалось бы, не нравится тебе «Проблема стихотворного языка» — не читай, я сам больше люблю «Восковую персону». Но если любые попытки строгой науки разобраться в самом феномене стиха вызывают у автора такую злобу — это неспроста. Тут чувствуется явное желание выбить почву из-под ног у четкого филологического анализа и перевести дискуссию в те эмпирии, где ни одно слово ничего не весит, а единственным критерием объявляется недоказуемая «благодатность». Естественно, в неблагоприятные попадают у Меламеда ранний Пастернак, значительная часть цветаевского наследия, Маяковский, Бродский, ранний Гумилев, почти весь «воронежский» Мандельштам. Благодатными объявляются Державин (за оду «Бог», с которой «началась благодатная русская поэзия»), Пушкин, Лермонтов, поздний Пастернак, поздний Георгий Иванов, чьи традиции тшится продолжать наш автор.

Благодатность (если вчитаться в текст и отбросить отвлекающие многословные формулировки) понимается Меламедом как простота, ясность, музыкальность и отсутствие индивидуальности, поскольку индивидуальность мешает поэту транслировать звуки небес. Он это утверждает с радующей откровенностью: «Ходасевич распознается не столь безошибочно, как Цветаева, — для него требуется более тонкий слух... (И что, он поэтому лучше? — Д. Б.) Самовыражение, создающее собственный стиль, легче всего узнаваемо... Навязчивый стиль соблазняет дурных филологов». Манера, лексика, интонация как будто говорят вам: «Я — Хлебников», «Я — Цветаева», «Я — Бродский».

Ну знаете, господа! — такой апологии безликости я еще не встречал. Правда, Меламед тут же оговаривается: «Индивидуальный стиль поэта не обезличивается благодатью, а преображается». Но благодать и преображение — столь тонкие и, главное, трудноопределимые материи, что мы от их толкования воздержимся. Изложим концепцию Меламеда без этих духовных терминов: поэт, заботящийся о собственном почерке, делает это в ущерб мировой гармонии, которая должна проникать в его стихи как бы без посредника. Поэт, работающий над стихами, обвиняется Меламедом в сальеризме, поскольку стихи должны либо осенять (диктоваться), либо не приходиться вовсе. Хорошо только продиктованное, а все остальное — от себя, лукавого.

Я не шучу. Прочитайте эту статью — и вы увидите, как третируются Меламедом литераторы, обладавшие индивидуальной интонацией (Хлебников, Цветаева, Мандельштам, Бродский, даже Левитанский), и как приветствуются осененные благодатью (поздний Пастернак, поздний Заболоцкий, Фет, Ходасевич, Ахматова). Стихи должны осенять поэта, как гармония осеняет Моцарта: бамс! — и побежал писать. Типа Пушкин в фильме «Поэт и царь».

Нелепо возражать Меламеду. Нелепо демонстрировать ему пушкинские черновики, доказывая, что мучительные поиски точного слова знавало и солнце нашей поэзии. Еще нелепее внушать человеку, так упоенному собственным открытием, что петь, когда не подсказывают, писать, когда не диктуют, есть подвиг поэта, а не преступление его. Вспомним хоть Цветаевское: «Петь не могу. — Это воспой!» И уж совсем смешно в конце двадцатого века доказывать, что гармония стихотворения «Выхожу один я на дорогу...» — не единственная возможная гармония, кого-то благодать осеняет и по прочтении стихов Одена или Элиота, напоминать, что Пушкин совсем не прост и не ясен, что Блок не только и не всегда музыкален, а главное — что каждый сколько-нибудь значительный талант приносит с собой свою неповторимую интонацию, авторскую метку.

У Меламеда получается, что где-то в горних высях есть одна универсальная гармония, к сосцам которой, как к некоему общему вымени, присасываются достигшие благодати. И транслирует себя это совершенно через разных счастливых, которые сами из собственных текстов благополучно устраняются. О прелестях такого самоустранения предоставляем судить П. Басинскому, тем более что он в своем послесловии припечатал вовсе уж откровенно: «Поэт не имеет права на „свой“ голос и является „проводником“ иных голосов». Это автор пересказывает свою давнюю, литинститутских времен, статью. Студенту простительно. Но Басинский радуется, увидев совпадение своих и Меламедовых мыслей! Позволим себе возразить: поэт не имеет права ни на что, кроме своего голоса. Очень симптоматично, что и Меламед, и Басинский обошли вниманием традиционнейшего Некрасова, который и народные жалобы, и газетные склоки транслировал абсолютно своим голосом.

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что собственная интонация не есть еще новаторство. Более того: Меламед глубоко прав, говоря, что поэт, озабоченный прежде всего поиском этой интонации, — плохой поэт. Интонация действительно дается. Когда ее выдумывают искусственно, ничего хорошего не получается. Но когда ее вовсе нет — не получается совсем ничего.

Можно понять и простить поэта, который не обладает собственным ярко вырванным голосом. Можно понять даже его запальчивость в отстаивании традиционных ценностей: сколько можно терпеть и слушать несостоявшихся и безапелляционных литераторов, которые подходят к литературе по принципу «сам не ам и другим не дам», то есть славят все мертвое и ненавидят все живое! Но как понять поэта, который по причине невыраженности у него индивидуального начала обрывается на более талантливых предшественников, упрекая их ни много ни мало в безблагодатности! А уж в отношении Бродского наблюдается просто эдипов комплекс: так ругать поэта имеет право кто угодно, но не тот, кто столь явно ему подражает в собственной «Сонате для бессилия» или начинает стихотворение строчкой «Всю ночь, всю ночь ты снилась мне с другим». Это как-то уже и неблагоприятно.

В общем, права старая истина: виноватым кажется тот, кто начинает оправдываться. Стихи Меламеда без статей их автора выглядели бы куда выигрышнее. Самое же страшное, что ценности «традиционализма» (безликость, ровность, гладкость, консервативно-охранительный пафос) в наших нынешних условиях имеют шанс утвердиться. Это будет, конечно, в первую очередь реакцией на самовлюбленность и бездарность тех, кто выдавал себя за представителей новой литературы, всех этих котельных гениев и наркотически зависимых существ общего пола. Но ударит в первую очередь по тем, кто ни в чем не виноват. Когда критики начинают апеллировать к благодати (а телеведущие — к добру, а политики — к соборности, спорту и здоровью нации), кончается это общим счастьем образца тридцатых годов. Когда большинство поэтов друг от друга отличались только фамилиями.

И потому обидно, что книга Игоря Меламеда хорошо издана. Так нескромно, так триумфально, в такой твердой обложке. За что ее уже похвалил в «Литературной газете» другой образцово-гладкий версификатор — Е. Блажеевский. Правда, от него ускользнул тот факт, что у Меламеда в статьях встречаются досадные пунктуационные ошибки, — но человека, занятого непосредственно трансляцией благодати, подобные мелочи смущать не должны.

Дмитрий БЫКОВ.



ЯЗЫК ТОТАЛИТАРИЗМА

В. Мокиенко, Т. Никитина. Толковый словарь языка Совдепии.
СПб., «Фолно-Пресс», 1998, 704 стр.

Виктор Клемперер. ЛТД. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога.
Перевод с немецкого А. Григорьева. М., «Прогресс-Традиция», 1998, 384 стр.

В разгар политико-экономического кризиса, разразившегося в стране осенью прошлого года и угрожающего воскресить, казалось, навсегда канувшие в небытие постылые слова: «достал!», «дают!», «выбросили!», — в продаже появилась любопытная книжная новинка — «Толковый словарь языка Совдепии». В нем как раз и приводятся слова и понятия вроде тех, что упомянуты выше.

В предисловии к этому объемистому тому авторы пишут, что их работа как бы замыкает собой семидесятилетний период бытования «советизмов», включающих в себя как новые слова и словосочетания, так и аббревиатуры и представляющих ныне уже чисто исторический интерес, «поскольку потенциально вся советская лексика относится к разряду устаревшей». Реальная жизнь показала, однако, что полностью списывать в архив советский новояз тоталитарного периода еще рано...

При всем том появление такого словаря — крайне полезная и необходимая вещь. Авторы, воспроизводя множество слов и понятий, в большинстве своем отошедших в прошлое, как бы воссоздают перед нами и сам тот мир, в котором они жили, звучали, имели какой-то свой, часто крайне актуальный и важный смысл.

Правда, задаешься невольным вопросом: кому, собственно, адресован этот словарь? Людям среднего и старшего поколения многие слова из этого обширного компендиума, вроде таких, как «ежовщина», «вредительство», «безродный космополит» и т. д., памяты по их собственному жизненному опыту. Молодых же читателей все эти понятия могут и не заинтересовать. Впрочем, такие «Толковые словари» составляются обычно с большим временным допуском, образно говоря, с прицелом на внуков.

И еще одна деталь. Справочник назван «Словарем языка Совдепии», а не, к примеру, «Словарем языка советской эпохи», что на первый взгляд представлялось бы более логичным. Ведь слово «Совдепия» не получило распространения в Советской России. В первую очередь, видимо, по чисто идеологическим соображениям. Это понятие было в ходу в эмигрантской печати, а если в 20 — 30-е годы и упоминалось у нас, то, как правило, с неким осуждающе-негодующим эпитетом.

Думаю, что авторы сознательно избрали это слово, вынося его в заглавие: оно содержит определенную эмоциональную окраску, некий уничижительный привкус. Да и само понятие «Совдепия» воспринимается ныне как уже нечто архаичное, не поддающееся реанимации.

Авторы словаря выражают в предисловии уверенность, что «путешествие по Совдепии с предлагаемым „путеводителем“ ни для кого не будет утомительным или удручающим». И в самом деле. Перелистывая словарь, не заскучаешь. До сих пор изумляет то, какой мощный вал новых слов хлынул в письменную и устную речь в годы революции!

Появление новых слов в обиходе, в печати, в служебной переписке в ту пору — отчасти, конечно, объективный процесс, вызванный кардинальной ломкой прежнего государственного механизма. Возникновение десятков и сотен новых структур и учреждений породило уйму аббревиатур и всякого рода других непривычных слов, смысл которых часто был непонятен и темен.

Помню, как в детстве меня в полное недоумение привело слово «кадры», которое я узрел под портретом Сталина. Изображение вождя сопровождалось его высказыванием: «Кадры решают все!» Загадочные «кадры» никак не ассоциировались в моем сознании с понятием «люди», так что вся соль лозунга была как бы мимо цели. Только значительно позже я понял, что слово «кадры» предназначалось для посвященных — для партийного аппарата, к которому и адресовался вождь. Оно в этом контексте обрело особый смысл: «кадрам» как бы подавался сигнал, что

именно они — опора генсека, те самые «винтики», которых он прославлял на пленумах и съездах. Они никак не соответствовали прежнему понятию «люди», ибо Сталину требовались послушные исполнители — орудие его направляющей силы, почему он и употребил такое непривычное поначалу слово.

Х. Арендт, автор фундаментального труда «Истоки тоталитаризма», справедливо заметила: «Тоталитаризм стремится не к деспотическому господству над людьми, а к установлению такой системы, в которой люди совершенно не нужны. Тотальной власти можно достичь и затем сохранять ее только в мире условных рефлексов, в мире марионеток, лишенных слабейшего признака самопроизвольности». Именно поэтому слово «кадры» оказалось вполне на месте.

В советской литературе 20-х годов можно встретить немало ярких примеров того, как разного рода языковые новации воспринимались непросвещенными «низами». Порой даже самая невинная надпись на дверях городской лавки повергала людей в оцепенение или вызывала гнев. Вот классический пример такой «непонятной» надписи, приводимой в романе Б. Пильняка «Голый год», надпись, усиливающей у простого человека острое чувство отчуждения в разворошенном революцией мире:

«В Москве на Мясницкой стоит человек и читает вывеску магазина: „Коммутаторы, аккумуляторы”.

— Ком-му... таторы, а... кк-ому... лядоры... — и говорит: — Вишь, и тут омманывают простой народ!..»

Многие невразумительные аббревиатуры и прочие почти непроизносимые наименования изобретались в сановных кабинетах высокими партийными и государственными чиновниками, поэтому носили почти директивный характер и подлежали исполнению. Подчас за такого рода аббревиатурами стремились скрыть смысл и назначение того или иного неологизма, взятого на вооружение исключительно из прагматических требований момента. В этой связи авторы «Словаря» в предисловии указывают на некий «словесный камуфляж», когда ряд распоряжений и постановлений советской власти подавался через посредство новояза и тем самым нарочито смазывался антигуманный, а то и откровенно противоправный характер таких спущенных сверху указаний.

К примеру, в 20 — 30-е годы в нашей печати то и дело мелькало слово «перековка», которое применялось крайне широко — публицисты любили писать о том, как вчерашние беспризорные и несовершеннолетние правонарушители в исправительно-трудовых колониях «перековывались» в сознательных строителей нового общества, а бывшие «контрики» на сооружении Беломорканала становились полноценными советскими гражданами.

Это была, так сказать, фасадная сторона модного в ту пору слова. За ним скрывалась иная, подлинная, трагическая и страшная гулаговская его сущность, о которой говорить и писать строжайше запрещалось.

А поскольку с самого начала (октябрь 1917-го) весь большевистский режим был построен на насилии, лжи, грубом попрании прав личности, то постепенно им была разработана изощренная система эвфемизмов и своего рода «закодированных» аббревиатур, затемнявших потаенную правду.

Лубянской ведомство добилось по этой части подлинного совершенства. Чего стоила знаменитая формулировка, фигурировавшая в официальных извещениях НКВД в годы Большого террора: такой-то «осужден по 58 ст. на 10 лет лишения свободы в дальних лагерях б. п. п.». Пресловутые «б. п. п.» означали: «без права переписки», что служило синонимом слова «расстрел». В результате жены и дети репрессированных напрасно годами ждали весточки о давно погибшем кормильце. До такого садистского наказания родственников жертвы с помощью заведомой лжи не додумалось до большевиков ни одно правительство, ни одна тайная полиция.

При всем том советская власть стремилась выгладеть в глазах своих сограждан, а за рубежом тем более, возможно respectfullyнее. Поэтому октябрьский переворот официальные наши историки вскоре нарекли «Великой Октябрьской социалистической революцией», много рассуждали о ее «всемирно-исторической роли».

Постепенно в моду стал входить риторический стиль. Прямые четкие формулировки, которыми большевики не гнушались называть свои деяния в годы Гражданской войны: «отправить в расход!», «поставить к стенке!», сменились камуфля-

жи. Расстрел стал именоваться «высшей мерой социальной защиты». Маловразумительно, но импозантно. Впрочем, тюремно-лагерный жаргон это туманное словосочетание переиначил в «вышку».

Словом, в 20 — 30-е годы русский язык засорился обильным вторжением в него «советизмов». И эта тенденция явно поощрялась властями. Вспомним восторги вождей по поводу того, что слово «советский» прочно вошло в иностранные языки. Или выступления газеты «Правда» (в рамках борьбы с религией) против старых имен, записанных в святцах, открывшие массовое движение «за новые имена». После этого почина в Стране Советов появились мужчины и женщины, нареченные Авангардами, Электрификациями, Альянсами, Баррикадами и т. п.

Правда, время от времени представители партийной верхушки делали публичные заявления о засорении языка аббревиатурами, уродливыми сокращениями и т. д., но настоящей борьбы с этим бедствием не велось.

Уместно напомнить тут известное высказывание Ленина: «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности...» Между тем Ленин сам обильно уснащал статьи и речи иностранными словами и всякого рода составными предложениями вроде таких, как «Коминтерн», «совбуры», «Рабкрин» и т. д. То есть активно вовлекался в тот процесс, который К. Чуковский в своей книге о русском языке — «Живой как жизнь» — назвал «эпидемической тягой к сращению слов».

Короче, в послеоктябрьскую пору в сфере языка отнюдь не наблюдалось того, что так благостно описывал в своей известной книге «Путь слова» Л. Боровой. Он, в частности, утверждал: «У нас до революции... реакция настойчиво выдвигала плохие значения слов в качестве единственно правильных... После Октября начинается великое исправление языка. Отбиваются у противника и восстанавливаются во всем своем новом великолепии все хорошие, то есть плодотворные, слова». Конечно, автор этого капитального труда едва ли представлял себе процессы, происходившие в живой стихии русского языка, столь упрощенно однозначно. Это, видимо, была просто неизбежная дань, реверанс в сторону власть предержащих ради выхода книги в свет...

Авторы словаря в уже цитированном предисловии подчеркивают еще один важный аспект новояза: газетные штампы в отлаженном механизме тоталитарного государства выполняли строго определенную задачу — использовались властью как «средство подавления духовности, индивидуальности, свободы мысли».

Как не вспомнить тут газетный стереотип, часто употреблявшийся в отчетах о съездах, пленумах и прочих публичных собраниях: «Мысли и чувства всех собравшихся выразил имярек, который заявил...» Такая фраза — очевидный нонсенс. Почему мысли всех собравшихся на митинг призван выразить один человек? Если все мыслят одинаково, то им не стоило и собираться.

Еще одна особенность, на которую невольно обращаешь внимание, знакомясь со словарем, — необыкновенная бедность и убогость представленной в нем лексики. Сразу видно, что перед нами — искусственный язык, своего рода партийно-советское эсперанто, никак не соприкасавшееся со стихией живой разговорной речи. Это было кабинетное, унылое словотворчество наших идеологов и их подручных — цехистских чиновников и референтов, которые «озвучивали» для печати очередные решения, директивы и указания кремлевских мечтателей. Некий набор словесных блоков, расставленных в разном сочетании и порядке, годился на все случаи жизни.

Естественной реакцией молодого поколения на весь этот выхолощенный, мертвый язык было отторжение. Такая реакция выразилась, в частности, в том, что авторы словаря называют «двойной жизнью» «советизмов». Молодежь употребляет ныне некоторые из них в новом — ироническом, «шутейном» — звучании. Так, марксистская догма «Бытие определяет сознание» свежо зазвучала в новой редакции: «битье определяет сознание».

И еще одна существенная особенность совдеповской лексики: язык тоталитарного общества умел ставить тавро на все, что обрекалось на репрессивные меры. Важно было только найти словечко похлеще, чтобы сразить человека, а то и целый социальный слой наповал (вроде запущенного в оборот в «год великого перелома» лозунга «Ликвидация кулачества как класса»). Стоило на собрании или митинге в годы Большого террора назвать кого-либо «врагом народа» или «вредителем», как

под таким несчастным как бы внезапно разверзлась земля, он терял все — семью, близких, саму жизнь, словно приговоренный к «расстрельной» статье¹.

Запас подобных слов-убийц в совдеповском словарном наборе неизменно пополнялся и обновлялся. Жаль, далеко не все они учтены авторами рецензируемого словаря: ведь это одна из характерных черт, определяющих сущность сталинского новояза, всегда изготовленного на то, чтобы взять на мушку новую жертву...

Агрессивный характер языка тоталитарного государства — отличительная черта не только советского общества. Любопытно, что одновременно с объемистым томом «Языка Совдепии» у нас в переводе с немецкого впервые издан интереснейший труд о языке другого тоталитарного режима — Третьего рейха. Я имею в виду книгу Виктора Клемперера «ЛТИ», уже ставшую классикой, с 1947 года опубликованную во многих европейских странах, но только теперь появившуюся в русском переводе.

В. Клемперер (1881 — 1960) — крупный немецкий литературовед и лингвист, еврей по происхождению, в годы нацизма подвергшийся преследованиям и репрессиям: его отлучили от литературы, от преподавательской деятельности, в принудительном порядке отправили разнорабочим на фабрику, переселили из благоустроенной квартиры с уникальной научной библиотекой, без которой он оказался как без рук, в так называемый «еврейский дом», своего рода «общагу», где он жил с такими же, как он, бедолагами с желтой звездой на груди. От верной смерти Клемперера спасло лишь то, что он был женат на немке. «Арийская жена» обеспечивала ему ряд поблажек, это же обстоятельство позволило ученому чудом уцелеть. В тот самый день, 13 февраля 1945 года, когда их с женой гестапо вознамерилось отправить с последней партией дрезденских евреев на расстрел, союзная авиация совершила массированный налет на город, который практически был уничтожен. В обстановке полного хаоса и паники супружеской чете удалось незамеченными покинуть Дрезден. До финальных дней войны Клемпереры скитались по дорогам Германии, скрываясь у случайных знакомых в деревнях, местечках, небольших городках, где легче было укрыться от гестаповского всевидящего ока.

Все эти годы тяжелых испытаний, преследований, гонений Клемперер работал над одной темой, с которой его столкнула сама судьба, судьба гонимого в гитлеровском государстве, — над описанием специфического нацистского языка, господствовавшего в Третьем рейхе.

Сначала Клемперер отстраненно и пассивно наблюдал за вторжением этого варварского волапока в родную речь. Вскоре в нем проснулся интерес исследователя, уловившего за всем этим важную проблему. Ученый понял, что напал на «золотую жилу» и что он должен выполнить эту работу, так как ее никто другой не выполнит. Даже если за это придется поплатиться жизнью. Ведь достаточно было гестаповцам обнаружить записи и заметки Клемперера относительно языка нацистов, как его тотчас уничтожили бы. «Кураторы» ученого с ним не церемонились. Клемпереру запрещалось брать в руки даже сочинения фашистских идеологов. Во время очередного обыска один из гестаповцев, по кличке Харкун, принялся колотить Клемперера по голове увесистым «Мифом XX века» Розенберга, приговаривая, что грязному еврею «не положено» читать подобную литературу.

Клемперер сравнивает себя в самом начале книги с канатоходцем, у которого в руках балансир, помогающий удержаться на канате. Таким «балансиром», что помог ему выжить и продолжать ежедневные научные наблюдения, автор называет собственную записную книжку, род карманного дневничка, без которого, как он признается, «я сто раз мог бы рухнуть вниз».

Язык Третьего рейха Клемперер рассматривает широко. Для него это — все, что связано с новым, нацистским стилем жизни: «Если вполне принято говорить о лице той или иной эпохи, той или иной страны, то можно говорить и о его выражении, и это выражение лица той или иной эпохи передается в ее речи. С ужаса-

¹ Уместно напомнить здесь, что первым, кто употребил в российской печати еще в 1917 году выражение «враг народа», был В. И. Ленин, позаимствовавший его из якобинских анналов периода Французской революции.

ющим однообразием говорит Третий рейх во всех его жизненных проявлениях: его голос слышится в безудержном бахвальстве парадных зданий и их руин, в армейских и эсэсовских типах... То и дело цитируют афоризм Талейрана: язык нужен для того, чтобы скрывать мысли дипломатов (и вообще хитрых и сомнительных личностей). Но справедливо как раз обратное. Пусть кто-то намеренно стремится скрыть — только лишь от других или от себя самого — то, что он бессознательно носит в себе, — язык выдаст все».

В отличие от «Толкового словаря» Макиенко и Никитиной, выдержанного в строгой манере научного издания, работа Клемперера свободна от академических канонов. Трудно четко определить, к какому разряду книг следует ее отнести: то ли это мемуары ученого, то ли все же научная монография, анализирующая уникальное лингвистическое явление. Книга Клемперера оказывается как бы на перекрестке разных жанров. Не случайно сам автор снабдил ее подзаголовком «Записная книжка филолога». Перед нами действительно «собрание пестрых глав», где исповедальное, мемуарное начало перебивается отступлениями научного характера, в которых преобладают размышления лингвиста. Книгу с интересом прочтут и люди, далекие от восприятия чисто языковых тонкостей. А филологически более подготовленные читатели откроют для себя в этой работе тоже немало нового.

Дневниково-воспоминательный характер книги придает ей живость и увлекательность. Автор-филолог умеет по-писательски запечатлеть отдельные наиболее драматичные эпизоды своей скитальческой жизни, скрашивая их юмором, который не покидает рассказчика в самые горькие минуты. При этом наблюдения Клемперера сосредоточены на проблемах живой немецкой речи. Каждый из случайных спутников и знакомых для него — объект новых наблюдений. Можно сказать, что автор «ЛТ» воспринимает окружающих как бы через призму их языка. По аналогии вспоминается, как И. Стравинский в «Диалогах» со своим секретарем Робертом Крафтом, рассказывая о далеком петербургском детстве, словно бы воспроизводит звуковой образ Северной Пальмиры — глухой перестук по торцовой мостовой лошадиных копыт и шум экипажей, проносившихся мимо их дома. Если композитор улавливает в окружающей действительности музыкальные ритмы, то филолог — звуки и модуляции человеческой речи...

Впрочем, русскому читателю наблюдения и выводы Клемперера о языке Третьего рейха могут показаться интересными еще и потому, что многие отличительные черты нацистского новояза схожи с приметами и особенностями «языка Совдепии». Ведь природа тоталитарной системы повсюду одина, и некоторые национальные особенности и нюансы не меняют саму суть ее. Так, неизменна тяга языка тоталитаризма к гигантомании. «Мир слушает фюрера...», «Сталин — вождь угнетенных народов всего мира». Или увлечение военной терминологией. «Ударные операции» — это первые «подвиги» нацистских штурмовых отрядов. «Ангрифф» («Атака») — название газеты Геббельса. У нас «бойцами идеологического фронта» вожди обожали называть писателей, а еще в большем ходу были газетные заголовки типа «Битва за урожай» и т. п.

Клемперер указывает на поразительную бедность и скудость официального фашистского языка, который (как и наш совдеповский) никак не отражал многообразия современной немецкой речи. Но гитлеровцы, свидетельствует автор, с неизменным упорством продолжали через прессу и радио вдалбливать изо дня в день этот убогий набор фраз и понятий широким массам, так что накануне краха Третьего рейха (это автор обнаружил во время своих скитаний при встречах с самыми разными людьми) произошла полная стандартизация письменной и разговорной речи. «Все — и сторонники, и противники, и попутчики, извлекающие пользу, и жертвы — безвольно руководствовались одними и теми же клише».

Сходные процессы наблюдались и в советскую эпоху. Не случайно великолепная книга В. Клемперера, раскрывающая всю духовную убогость фашизма, у нас тем не менее не переводилась более пятидесяти лет! Слишком уж много нежелательных ассоциаций могло возникнуть у читателей, появившись эта книга на русском языке.

Собственно, некоторые попытки проанализировать новояз советского периода предпринимались в Советском Союзе еще в 20-е годы. К примеру, известный уче-

ный-лингвист, профессор А. Селищев, выпустил в свет в 1928 году книгу «Язык революционной эпохи». В этой работе масса интереснейших наблюдений над тем, что в предисловии автор называет «языковыми переживаниями последних лет». Надо отметить, что Селищев, в отличие от Клемперера, не стоял в оппозиции к существующему строю. В своем анализе языка он лишь походя заметил, что некоторые большевистские лидеры, проведя годы в эмиграции, оторвались от родной почвы и в своих статьях, публичных выступлениях механически внедряют ныне в современный язык немецкие, французские, польские обороты и выражения. В частности, он оговорил и то обстоятельство, что в среде революционных деятелей оказалось немало лиц, «связанных по своему происхождению с Юго-Западным краем прежней России», поэтому на их русском языке «отражались некоторые черты речи тех местностей».

Этот достаточно невинный пассаж, видимо, крайне раздражил сановных горелингов. Селищева обвинили в принадлежности к инспирированному НКВД, абсолютно дутому «делу славистов». Ученый был приговорен к пяти годам лагерей. А после отбытия срока, по существу, лишился возможности заниматься любимой наукой в избранном им направлении. Дело в том, что уже во время пребывания Селищева в лагере в «Правде» появилась разгромная статья К. Алавердова, в которой книга «Язык революционной эпохи» характеризовалась как «гнусная клевета на партию, на наших вождей, на комсомол, на революцию». Автор объявлялся «классовым врагом», «черносотенцем», «махровым антисемитом». Книга была изъята из библиотек, на нее запрещалось делать ссылки. Селищев умер в конце 1942 года от рака: пребывание в лагере и последующие гонения сделали свое дело².

Таким образом, судьба Селищева оказалась в чем-то сходной с судьбой его немецкого коллеги Клемперера. Оба они — жертвы тоталитаризма, изучением языка которого занимались. А это, как видим, занятие крайне небезопасное...

Остается повторить, что совдеповский новояз рановато полностью списывать в архив. Кстати, нынешние наши руководители не сумели полностью освободиться от «советизмов» недавнего прошлого. В частности, у них по-прежнему сильна тяга к эвфемизмам, чем так грешили коммунистические лидеры.

Вспомним, что прошлогоднему осеннему кризису предшествовала мини-дискуссия языкового характера. Тогдашний премьер С. Кириенко предложил ряд спешных экономических решений, которые огласил перед Госдумой в качестве антикризисной программы правительства. Президент программу одобрил, но, как бы спохватившись, предложил эти начинания назвать стабилизационными мерами, поскольку, как было заявлено, никакого кризиса в стране нет. Премьеру пришлось затем специально уточнять формулировку, после чего и разразился тот самый кризис, которого якобы не было, но который привел к отставке как самого премьер-министра, так и его кабинет.

Слова подчас обладают своего рода магической силой: публично опровергаемые, они, подобно бумерангу, способны поразить того, кто их произнес.

Сергей ЛАРИН.

*

О ПОПЫТКАХ «ЗАВЕРШИТЬ» ФРАНЦУЗСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

Франсуа Фюре. Постигание Французской революции. Перевод с французского Д. В. Соловьева. СПб., «ИНАПРЕСС», 1998, 224 стр.

Книга историка Франсуа Фюре, изданная во Франции в 1978 году, посвящена пересмотру традиционных концепций Французской революции и поиску новых категорий для ее исторического осмысления. Изложение идет в порядке, обратном ходу работы над книгой: первая часть, где автор раскрывает проблему, написана на семь лет позже второй, концептуальной части, которая возникла в результате полемики с марксистскими историками Французской революции.

² Подробнее о судьбе А. Селищева см.: Ашнина Ф. и Алпатов В. «Дело славистов»: 30-е годы. М., «Наследие», 1994, стр. 149 — 164.

По-настоящему беспристрастная, «непартийная» история Французской революции, как считает Фюре, еще не написана, хотя существует достаточно специальных исследований, способных поколебать расхожие представления о ней. Не написана даже в самой Франции. Причина такого положения дел, по мнению исследователя, кроется в необычайной актуальности, которую обрело это событие в переломные моменты французской истории.

Постоянный интерес к Великой Революции, пишет Фюре, вполне закономерен. Во-первых, потому, что революция сделала французское общество таким, каким мы его знаем, то есть стала своего рода «нулевой» точкой отсчета для социального и политического развития Франции на протяжении последних двух столетий, дальше которой не простираются исторические воспоминания населяющих ее людей. Современная политическая культура этой страны зародилась во времена революции, именно тогда стали оформляться представления французов о том, каким должно быть участие граждан в политической жизни, в чем состоит политическая борьба и какими должны быть ее цели. Во-вторых, потому, что эта трансформация французского общества не совершилась в одночасье, а длилась очень долгое время.

В XX веке прибавился еще один фактор, ставящий изучение Великой французской революции в зависимость от перипетий текущей политической борьбы, — фактор внешний. Речь идет об Октябрьской революции 1917 года. Тогда, после окончания Первой мировой войны, события в России непосредственно сказывались на обстановке внутри Франции. В условиях падения уровня жизни и роста леворадикальных настроений дорогостоящая интервенция против большевистской России вызывала недовольство. В 1919 году она стала причиной антиправительственных выступлений, в которых приняли участие крупнейшие историки Французской революции Олар и Матьез. Год спустя при обсуждении условий вступления в Коммунистический интернационал во Французской социалистической партии произошел раскол. Те ее члены, которые сочли их приемлемыми, провозгласили себя Коммунистической партией Франции. Условия эти состояли в том, что принимаемая в Коминтерн партия обязуется реорганизоваться на основе принципа «демократического централизма» и бороться за установление диктатуры пролетариата в собственной стране. В те же годы Матьез фактически отождествил два исторических явления: якобинскую диктатуру и большевистскую диктатуру пролетариата. С тех пор исторические дискуссии шли рука об руку с дискуссиями политическими. Отныне в зависимости от партийной принадлежности историку подобало защищать или обличать якобинцев. Или, наоборот, защищать большевиков, как это делал Матьез, ссылавшийся на то, что сейчас террор им столь же необходим, как в свое время был нужен якобинцам, для того чтобы спасти революцию.

В 30-е годы Французская революция в общественном сознании стала символом демократии, над которой нависла угроза фашизма. Самое яркое проявление этой тенденции — праздник взятия Бастилии в 1935 году. Левые партии выбрали этот день для совместного выступления и провели крупнейшую за всю историю Франции антифашистскую демонстрацию. В свою очередь французские фашисты, как и их собратья за Пиренеями, строили свою идеологию на традиционалистской основе, провозглашая возврат к дореволюционным ценностям. Так что еще в 40-е годы француз должен был решать, за кого он — за Революцию или за Старый порядок. Когда же Вторая мировая война завершилась и Франция вновь обрела свою национальную независимость, это событие было ознаменовано актом утверждения новой конституции. Символично, что текст французской конституции 1791 года вошел в нее практически без изменений.

Фюре исходит из того, что до недавних времен принадлежность к одному из этих лагерей (сторонников принципов 1789 года или традиционалистов) была для каждого француза вопросом самоидентификации, и доказывает, что на конкретные исследования Французской революции это влияло непосредственным образом. Вся историография Великой французской революции, по утверждению Фюре, была в основном левой. Немудрено, что апологеты якобинизма пользовались марксистской методологией, то есть отстаивали примерно такие тезисы:

— Французская революция была революцией буржуазной;

— революционной буржуазии противостоял мобилизованный классовый враг;
— одной из непосредственных причин революции был кризис аграрных отношений в деревне, усугубленный феодальной реакцией.

Франсуа Фюре считает своей задачей развенчание этих фикций, ставших общими местами в исторической науке. Таких общих мест накопилось немало, в особенности у советских историков Французской революции. Переведенные в советское время работы французских историков, конечно, тоже были подобраны по принципу соответствия марксистским канонам. На основе ряда специальных исследований Фюре конструирует иную картину. Так, почти все русские историки от Кареева до Манфреда, а также некоторые французские историки, например Альбер Собуль, обыкновенно не упускают случая перечислить наиболее экзотические и абсурдные повинности, которые делали невыносимой жизнь французского крестьянина накануне революции. Право охоты, налог на соль, поборы при помолу. Картина мрачная и безотрадная, но более апеллирующая к чувствам, чем к разуму. При этом, как правило, говорится об «аристократической реакции», выразившейся в росте сеньориальной ренты, то есть ренты поземельной. Однако на деле, как показывает Фюре, это справедливо лишь для некоторых районов Франции. Более того, выясняется, что рост сеньориальных поборов происходил там, где дворяне-землевладельцы были наиболее восприимчивы к новым веяниям и под влиянием новейших теорий принимались перестраивать свое хозяйство на буржуазный лад. Таким образом, крестьянское движение было антибуржуазным с самого начала революции. Где уж переварить такое марксистам, считавшим, что главной причиной и целью Французской революции был переход от феодализма к капитализму.

Фюре доказывает, что XVIII столетие было более благополучным для Франции, чем принято думать. Зависимость крестьян от землевладельцев — не такой уж сильной. Грубо говоря, революция произошла не потому, что жили плохо, а потому, что стали жить лучше: население Франции выросло и в деревне появилось множество людей, для которых не нашлось социальной ниши в традиционной системе аграрных отношений.

По Фюре, не было и не могло быть «классовых битв» между французскими «феодалами» и тогдашней буржуазией Франции. И те и другие читали одних и тех же философов и писателей, посещали одни и те же спектакли. Враждующие лагеря, в особенности в начале революции, формировались не по классовому признаку, а по идейному.

Собственную концепцию Фюре создает, модернизируя идеи двух историков Французской революции — Алексиса де Токвиля и Огюстена Кошена. Первый стал одним из предтеч современной социологии, второй находился под влиянием социологии Э. Дюркгейма.

Из наследия Токвиля Фюре берет идею преемственности. Революционное правительство унаследовало от французской монархии задачу построения бюрократического государства. Из этого Фюре вслед за Токвилем делает вывод, что традиционное общество (Старый порядок, или феодализм в марксистском понимании) стало гибнуть и разрушаться задолго до революции. Его могильщиком стала сама французская монархия, которая рядом со средневековыми социальными структурами возводила бюрократическое государство, впоследствии достроенное руками революционеров и контрреволюционеров.

Другая находка Токвиля, используемая Фюре, — это теория «революционного сознания». Именно оно стало определять представления французов о сути политической борьбы. Описывая этот феномен, Фюре выделяет несколько его главных признаков. На смену идее монарха, олицетворяющего собой государственность, приходит идея нации, народа, становящегося субъектом всех прав. Этот сдвиг оказывает весомое влияние на последующее политическое мышление, лексикон, эмблематику.

В первую очередь это проявляется в новой политической риторике. Отныне каждая общественная группа, притязающая на власть, заявляет о том, что ее цель — осуществить волю народа, разоблачить и уничтожить его врагов. Наличие врагов, внешних или внутренних, в момент зарождения нового политического со-

знания было решающим фактором, сплотившим нацию. Борьба за власть в этих условиях требовала новых и новых, зачастую вымышленных врагов. Всякое событие осмыслялось при этом как результат борьбы сил добра и зла, перенесенных с небес и из преисподней в сферу текущей политики. Принципиальным Фюре считает здесь то, что, с точки зрения носителя такого сознания, у несчастья, выпавших на долю отечества, не может быть объективных причин вроде плохой экономической конъюнктуры или, например, неурожая, но во всем, везде и всегда виноваты конкретные люди или группы.

Таким образом, Фюре показывает, что уже современники Великой французской революции испытывали настоятельную потребность в мифологизации того, что совершалось у них на глазах.

Любопытны и, к сожалению, слишком актуальны для нас рассуждения Фюре о том, что происходит со страной, где общество, лишенное политического представительства, создает усилиями философов и литераторов новый способ политического общения, параллельный существующему. Здесь Фюре опирается на концепцию якобинства, принадлежащую Огюстену Кошену. Последний считал интеллектуальные сообщества, складывавшиеся в эпоху Просвещения во Франции, порождением особого типа социализации, возникающим вследствие распада прежних социальных связей. Вместо утраченных связей такие сообщества сплачивает идея. Верность идее становится главным и единственным условием принадлежности к любому из них. Такие революционные ценности, как равенство и братство, были в этих сообществах воплощены в жизнь еще до революции. Люди, входящие в них, становились равны друг другу независимо от происхождения, как «братья по идее». Жизнедеятельность такого сообщества заключается в борьбе за идею, до поры ведущуюся средствами литературной полемики. Обретя реальную политическую власть, литераторы, по характеристике Фюре занимавшиеся политикой дотолем лишь абстрактно-теоретически, отдавали предпочтение «закону перед фактом, принципам перед балансом интересов». Не удивительно, в особенности если принять во внимание черты «революционного сознания», что вчерашние утописты, пришедшие к власти в 1793 году, не слишком дорожили закрепленным в конституции 1791 года принципом разделения властей, который по сравнению с вечными вопросами рисовался делом явно второстепенным. Свобода индивида оказалась ничем не защищенной. Политическая власть, рассредоточенная после 1789 года, снова попала в распоряжение одного, пускай коллективного, субъекта, который издавал декреты, принимал законы и вершил суд.

Социологичность мышления, присущая историкам, чьи идеи суммирует и модернизирует Фюре, для замысла его книги принципиальна. От «исторического материализма» социологию отличает установка на сбор фактов и выведение закономерностей из их совокупности, или, если пользоваться известными словами Дюркгейма, изучение того, что есть, а не того, что должно быть. Категории, рожденные в недрах эмпирической дисциплины, по крайней мере не столь сильно деформируют картину исторического события, как умозрительная схема, призванная охватить всю историю человечества.

Таким образом, характеризуя книгу Фюре в целом, можно сказать, что ее автор если и не написал беспристрастной истории Французской революции сам, то заметно облегчил задачу тем, кто за это возьмется.

В. К.

АФНАСИЙ МАМЕДОВ. На круги Хазра. Повесть. — «Дружба народов», 1998, № 10.

Агамалиев — герой повести А. Мамедова — уже знаком читателю по предыдущей публикации в «Дружбе народов»

(1996, № 5). Тогда это был рассказ «Хазарский ветер», донесший дыхание подлинной и незнакомой жизни. Привлекало, что писатель не шел на поводу у реальности, не устранился — постмодернистски — из повествования, но властно заявлял о себе жесткой, пре-

дельно лаконичной формой. Он, можно сказать, не уносился вместе с потоком, но преодолевал его, перепрыгивая с валуна на валун. Именно такое ощущение вызывали короткие главы, подающие события, разделенные годами. Именно это движение «поперек» потока и давало ощущение неукротимой ярости летящего времени.

Фактура рассказа (скорее маленькой повести) та же, что и в последней публикации, — события в Баку накануне распада СССР. Материал сам по себе достаточно эмоционально заряженный, чтобы идти по пути педалирования. Писатель понимает, что есть мера в восприятии подобных вещей. На раздражительные раздражители сознание, спасая себя, не реагирует. Но содержание прозы А. Мамедова — не только эти трагические и сами по себе значительные события. Проблема эстетически ориентированной, рефлексивной личности на переломе времен органично вырастает из текста и становится тем внутренним содержанием, которого так часто не хватает бытописателям.

Если рассказ расставляет вехи в жизни героя — от детства до дня сегодняшнего, — то повесть заполняет одну из лакун между ними. Повесть менее прерывиста, отмечена единством времени и места, но в ней также присутствует постоянное «владение» потоком. Это чувствуется и в цепкости глаза к деталям быта, и в скрупулезной — иногда до пародийности — фиксации ощущений. Герой отмечен плотским и духовным гурманством, несколько нарочитым, призванным подчеркнуть его независимость от реальности, становящейся все более угрожающей. Афик принимает ванну, посещает туалет, готовит себе «яичницу» из бараньих яиц, смакует вино, «вкушает пищу», курит, тщательно одевается, встречается с женщинами — все это наполнено для него смыслом и радостью существования, все он делает мастерски, словно постоянно любясь своим умением комфортно располагаться в реальности. Только одна трещинка в его таком удобном и уютном мире — Джамиля, давняя, еще школьная любовь, оставшаяся в нем как заноза. Не потому ли, что она замужем за прямым антиподом гурмана и эстета Агамалиева — за Таиром? Есть в нем то, чего нет и не будет у интеллигентного Афика, — звери-

ная цепкость и цельность грубой натуры. Их противостояние началось еще со школы. Для Агамалиева круг свободы очерчен изнутри, врожденной тонкостью и приобретенной, пусть несколько и снобистской, культурой. Для Таира, как и для подобных ему, свобода ограничена реальной внешней силой. Когда эта сила исчезает, прежде всего сила власти, государства, уже ничто не способно удержать его. Поэтому обещание убить бывшего школьного товарища — отнюдь не пустая угроза. На одной земле — в это время (время, когда общество избавляется от излишков отрицательной энергии) — нет им места. В какой-то мере и Афик, и Таир — натуры ущербные. Тот мужчина, которого любит Джамиля, отчасти и Таир и Афик. Но «ретро втроем» в Баку исключено, хотя и наркотики, и однополая любовь — девичья — присутствуют в быте персонажей.

Афик покидает Баку прежде всего потому, что его эстетически оскорбляет та действительность, в которую волей-неволей приходится окунаться. Атмосфера страха, взаимной ненависти, брутальности — то, что несет полная свобода (ведь у каждого она своя, как и у Таира с Афиком), — рождает устойчивый дискомфорт. Жизнь разбивает скорлупу привычно-уютного, «со своими заботами» мира. Если раньше у него была скромная обжитая ниша, такая полянка между высоковольтными линиями власти, к которым — он знал (по опыту деда, репрессированного в 1937-м) — приближаться опасно, то теперь опасность непредсказуема. И — в Москву, в Москву, под крылышко пока еще более крепкой власти, к незнакомой Лене с четырехкомнатной квартирой на «Соколе» и дачей в Петрово-Дальнем (в рассказе Агамалиев возвращается в Баку с Леной, чтобы забрать ребенка, которого родила Джамиля).

Бороться? На стороне тех или этих? Такой вопрос у Афика не возникает. «Ниагара возрастающей энтропии», затопляя мир, лишает для него борьбу смысла и оправдания. Джамиля — символ оскверненной и растоптанной красоты.

Окончательное ощущение, что уже никуда не спрятаться, пришло с гибелью одноклассницы, Майи Бабаджанян. Она никуда не хотела уезжать: «Это мой город!» Она, как и многие женщины из

повести Мамедова, — из тех, кто сопротивляется существующему положению вещей. Не только открытой политической борьбой, но и тем, что выполняет свои извечные женские обязанности — милосердия и любви, рождения и воспитания. Бывают времена, когда исполнение этих обязанностей требует героизма. Но — времена уходят, дети остаются.

Герой А. Мамедова достаточно типичен: поколения советских людей успешно отлучались и отучались от политики и в итоге оказались беззащитными перед резко изменившейся реальностью. У них только один опыт — пассивной адаптации, которую и демонстрируют сейчас те, кто исчерпывает приспособительные резервы, — меняют реальность: Баку — на Москву, Москву — на Нью-Йорк или Париж. Вот уж действительно как в анекдоте: не пугайте страусов, пол бетонный.

Валерий ЛИПНЕВИЧ.

*

ИГОРЬ КЛЕХ. Инцидент с классиком. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 255 стр. (Библиотека журнала «Соло».)

Игорь Клех — писатель известный и хороший, а вот книжка у него только первая вышла. Многочисленные публикации в литературной периодике от «Родника» до «Нового мира» зафиксировали появление нового автора. И только. Стилистическая вязь небольших и в жанровом отношении странных текстов (рассказы? эссе? мысли вслух?), оттеняющая в журналах более традиционные произведения, смотрится диковиной, редакторской причудой. Несмотря на некоторое внимание и, к примеру, выдвижение на «Букера», критики так и не решили, что с ним делать, по какому ведомству числить. Эстет? Эзотерик? Пм? Ориенталист западно-украинский? Вот проза Клеха и осталась какой-то беспризорной. Беспризорной.

Общая неразумительность нынешнего мейнстрима в каждом непонятном (неудобоваримом) случае заставляет прозревать писательскую ущербность. Опираясь на сугубо поверхностные

проявления, Клеха чаще всего обвиняют во вторичности (притом упоминание Борхеса просто-таки обязательно), книжности. Только нынче, прочитав тексты Клеха в букете авторского сборника, можно продвинуться к пониманию авторской сверхзадачи. А она все-таки есть: из разрозненных впечатлений и обрывков (по первой своей профессии Игорь Клех — реставратор и витражист) составить, соорудить систему, постепенно проявляющееся и обнаруживающее единство целое. Дом.

Здесь могла бы быть аналогия с лирическим сборником. Но проза иначе устроена: отдельные ее куски менее независимы и автономны, чем стихи. Зато в наличии такая же сложная, дробная композиция: тексты-главы здесь скомпонованы в шесть частей. Блоки эти можно менять местами, каждый может прорыть в сборнике сугубо свой маршрут. Лично я начинал читать «Инцидент» с предпоследней части, где Клех выясняет отношения с родиной. Львовщина как край, действительно окраина вселенной, обреченный на «нищету материи», на исчезновение в душной и вязкой, сгущающейся вокруг отсутствующего центра пустоте.

...Любит ли Клех свою родину? Есть ли она у него, и вообще для любого *сочинителя* понятие *родина* — насколько оно актуально? Может быть, прав был Мамардашвили, в «Лекциях о Прусте» сказавший: «Обо всех русских писателях россияне стали говорить одну и ту же традиционную, стандартную фразу: он любил Россию. Но дело в том, что они не любили Россию — они пытались ее из себя породить».

Книга Клеха кажется мне островом из коллекции спорных, хотя и не северных территорий — холемым, обихоженным островом. Собрание текстов в книгу как сбирание отдельных земель в независимое от соседей государство, королевство Клехское.

Не каждый писатель является *автором*. Но лишь тот, кому довелось создать собственную территорию венаходимости. Писание для *автора* — единственная возможность проявления своих земель. Такая лишенная какой бы то ни было мистики раздача слонов и материализация призраков. Клех ныне — один из первых наших *авторов*: приятно, что проза его, долго копившаяся

подобно воде в колоде, не устарела. Секрет непреходящей свежести такой прозы прост: она про конкретную жизнь и шита ровно по ее лекалам; индивидуальная чья-то судьба не может состариться, обветшать или, там, выйти из моды.

...Но самое главное здесь — синтаксис. Он заменяет сюжет, задает тексту ощущение физиологичности, как если писание — акт не то чтобы жизненно необходимый, но жизнь задающий, дающий. Петельки и стежки, балет каждой фразы, медленное разворачивание нарративных метафор застилают мельтешением белых, как бумага, слов все видимое пространство. Потoki кружащих, подвешенных в воздухе фраз образуют коридоры, ведущие куда-то внутрь. Как если вдруг можно вынырнуть с какой-то иной, изнаночной стороны действительности, куда-то вбок. Вбок. Движение по-прежнему — все, а цели как не было, так и нет.

Проза Клеха психоделична. Вечное похмелье и оскомины обостряют восприятие мира — равнодушная природа повседневности цветет символами и знаками. Клеху важно формулировать и, таким образом, присваивать фрагменты реальности, обживать их, надевая бессмыслицу домашним каким-то уютом. Точность формулирования как формирование мира — но это все равно как улицу отапливать. И виньетки прозаические у него — точные (точены) и бесполезные. Надо лишь приноровиться к этой одышливой поначалу избыточности, преодолеть рефлекс скольжения поверх строк. Впрягайся в повозку стиля, чтобы чувствовать каждую кочку, каждый бугорок, и ты выйдешь из этого путешествия обогащенный Новым.

На второе место после синтаксиса я бы поставил точность сравнений и метафор, правоту некоторых авторских интенций. Именно они, наблюдения и уподобления, определяют объем и содержание периодов — каждый текст длится ровно столько, чтобы избыть то или иное впечатление, ощущение, догадку. Такое естественное дыхание мысли. Литература, ухоженная, как английский газон. И культурная как раз именно из-за этой своей сделанности, а не из-за обилия всяких там имен и реминисценций. «Жить здесь красиво и жутко, как внутри слова АЗИЯ». «Фаллос

флагштока на клумбе в центре все растет, как температура...» Или вот едва ли не на первой странице попавшиеся «рыхлые медузы снов», оставленные «на песке и простынях». Проза, заряженная на узнавание и, значит, поиск единомышленника. Токи совпадений соединяют автора и читателя в единую энергосистему.

Что было и что будет. Записки сорокалетнего. Прощание с родиной. Метафизика похмелья. Колбаса и сало. Пассьянс и алфавит. И в моем индивидуальном аду радио тоже будет включено во весь голос. Клех коллекционирует слова и поступки, которые знают все. Мгновения, переживаемые каждым. Но и в типическом этом нетипическое: не извивом судьбы взять, но особицей зрения, пластическим даром видеть *так*, а не иначе. И с деталями обращаться поцарски, рассыпая их на страницы горницы горстями.

Не Борхес хотя бы потому, что имеем дело не с мертвыми камнями культуры, но реальными, еще не законченными процессами — вторая скобка пока не закрыта. Оттуда, как из мартовской фортки, сочится весна.

Медленное чтение (еще говорят — *скудное*) как симптом вхождения в Другое Другого. Я люблю трудные и медленные книги — они помогают мне преодолеть земное притяжение своего собственного солипсизма; дают увидеть дальше собственного носа, натренировать органы чувств на запах чужой жизни. Я же не книгу читаю, но с Клехом знакомлюсь, общаюсь. Да, я теперь его знаю достаточно неплохо. Но мысленно возвращаясь каждый раз в *эту* сторону, я снова и снова буду усилием бокового зрения ловить облако этого лилового струящегося марева переваренных образов и слов. Подобно торговцу воздушными шарами, настоящий читатель обречен таскать вслед за собой связки разноцветных облаков.

Мне бы не хотелось, чтобы путем Клеха пошла вся наша словесность. Но это ей сегодня и не грозит совершенно. Клех практически в одиночку воюет с агрессией тоталитарного сюжетосложения. Проект его обречен на неудачу, на отсутствие сочувствия и адекватного соглядатайства. Но этого ему, кажется, и не надо: он уже давно там, на тихом острове посреди тихого моря.

...И все, что вокруг исполнено смысла. И потому виденное или происходящее — очередной повод к письму. К записке на полях бесконечного тома. Печаль светла и промыта дождиком. Один из текстов заканчивается вздохом усталости уже все про себя знающего человека. «Было без одной минуты шесть. Начиная прокашливаться радиоточка, чтобы грянуть через минуту государственным гимном».

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ.

Челябинск.

*

АБРАМ ТЕРЦ. Кошкин дом. Роман дальнего следования. — «Знамя», 1998, № 5.

Андрей Синявский умер, как подобает христианину, — поисповедовавшись и причастившись Св. Христовых Тайн. А через полтора года мы, читатели, получили последний роман его «темного двойника» Абрама Терца. Почти как весть оттуда, предсмертное сочинение. Роман-притча, роман-детектив, роман-оборотень «Кошкин дом».

Колдун (он же творческий дух) вселяется в героев «Кошкиного дома», заполняя невыразительную оболочку и изгоняя человека в небытие. «Одним своим агрессивным творческим духом он выдавливает душу человека, как сок из лимона, натягивает на себя чужую благополучную кожуру, покойфует в ней и линяет дальше. А что остается человеку? Только тело? Голая оболочка без души? Зомби? Подобного бедствия Бог на землю еще не насылал».

Человек от этого колдовского прикосновения исчезает, превращаясь в орудие писательского манипулирования проклятого оборотня, насылающего на землю миражи и фантазмы и погружающего ее в бред визионерства. Писательство оказывается, таким образом, русской национальной болезнью, заражающей своим литературными миазмами все общество и подкапывающей устои государства. Барин и лагерник Проферансов; лагерный замполит Новиков, который после вселения в него Колдуна «теленка продал, стал задумываться, шустрал какими-то бумагами, иногда смотрел на облака... уволился и удалился восвосяси» и «давай листать за-

нюханного Парацельса из дешевой библиотечной серии „Жизнь замечательных людей”»; «средней руки писатель» Валерий Иноземцев, «на мгновение воспаривший, а потом покинутый, брошенный этим бесом, колдуном, душегубом», этаким «благополучный Антиной с мягкой расплывшейся ряшкой»; честнейший человек Саша Суриков, Супер, — вот далеко не полный перечень жертв оборотнической роковой страсти к творчеству. В этом же списке и Синявский: «Синявский и сам весьма подозрителен, и доверять ему не след». «Мне уже доказывали, что я не сидел в тюрьме (самое драгоценное время моей жизни). Мало ли что про меня говорили. Говорили, что меня вообще не было... А тут, сбоку, говорят о тебе, например, что ты колдун (потому что еще не умер), и всем скопом, толпою идут убивать». На заметке оказывается даже полководец Суворов: «Для подъема духа в полках норовил прослыть колдуном».

Розыском Колдуна занимается бывший учитель словесности и в то же время следователь на пенсии, положительный советский человек Бальзанов. Он вселяется в заброшенный Кошкин дом, последнее пристанище Колдуна, где и проводит свое расследование, подбирая обрывки брошенных здесь впопыхах рукописей и писем и восстанавливая по ним преступную деятельность этого «душегуба». «Гиблый Кошкин дом, насквозь пронизанный испарениями вредоносных вымыслов. А чем еще прикажете ее считать, всю эту русскую литературу, с ее научениями, что делать и как жить не по лжи?» Старый отставник обнаруживает, что весь корень злится в ней, в словесности. Безответственные фантазии. Чистое искусство. Разнузданное воображение. «И в результате Россия — воображаемая страна. А все оттого, что слишком много читаем. Какая еще страна так зависела от изящной словесности?.. Писательский демон творчества вовсе не прекрасен. Все несчастья, все бедствия страны — от него. Он — этот демон — начало разложения, распада под видом созидания».

В конце концов Колдун гибнет вместе с несчастным Сашей Суриковым, чистейшим человеком, не пожелавшим отпустить зловредного духа, дабы спасти Россию от его дальнейших «подселе-

ний» и эманаций. Кошкин дом воспламеняется путем самовозгорания, и бульдозеры выравнивают зыбкую землю, на которой он когда-то стоял. В мире побеждает Бальзанов — здравомыслящий охотник на ведьм, вернувший себе наконец чувство уверенности. Словесность уничтожена, роковое зло творчества повержено, призраки рассеяны и России более ничего не грозит.

Абрам Терц преподнес нам очередную мистификацию вроде его «Крошки Цорес». Там ведь тоже шла речь о том, как уродец-писатель невольно посылает на смерть своих благополучных братьев. Виновником роковых потрясений и кровопролитий оказывается именно он, всегда желающий лишь добра и вечно творящий зло, в силу своей метафизической причастности к нему. Абрам Терц устраивает братьям очную ставку, на которой каждый из них — живехонький — признается, что это он убил крошку Цореса по фамилии Синявский: «Такое же дерьмо... Слабак... От него все неприятности... Искусство, видите ли... Художник от слова „худо“... Собака... Врага народа... И правильно его удавили, и правильно... Иуда... В тюрьму его... Выродок...»

Братья крошки Цореса — той же масти, что и простой советский человек Бальзанов, ведущий свою неусыпную охоту на Терца. По Бальзанову, кто, как не Терц, и есть этот самый Колдун, «темный двойник» («Спокойной ночи»), «терпкий злодей, кривляка, шут, проходимец по писательскому базару», сбивший с панталыку «честного интеллигента, склонного к компромиссам и к уединенной, созерцательной жизни», скромного, благородного, светлого человека Синявского.

Таким образом, последняя притча Абрама Терца сама оказывается перевертышем — антипритчей, а роман «ни о чем» оборачивается романом о добре и зле, жизни и смерти, творчестве и культуре, любви и ненависти, человеке и художнике, наконец, о России и о той «исторической зоне, в которую мы угодили». Ибо мы живем после побоища, и над нами «носятся ветром души поверженных и продолжают палить и рубиться еще ожесточеннее, вслепую, толком не сознавая, что происходит, кто прав, кто виноват, где друг, где недруг, в порыве мести и ненависти свившись в

один мохнатый, как облако, клубок... Мы живем на развалинах, на закате великих преступлений... и преступное прошлое еще стучится в наши двери». Роман «дальнего следования» — о нашей судьбе в истории и в вечности.

А может быть, сам Андрей Синявский, стоя уже на пороге лучшего мира, хотел сквитаться с Абрамом Терцем, этим «налетчиком, картежником, сукиным сыном», из-за которого он и угодил в лагерь, был заподозрен в колдовстве и подвергнут сомнению в собственном своем бытии? Но именно Терц и помог выжить в лагере хрупкому интеллигенту, склонному к компромиссам. Он-то и «подсказал тогда, что все идет правильно, как надо, по замысленному сюжету, нуждающемуся в реализации, как случилось в литературе не раз, — в доведении до конца, до правды всех этих сравнений, метафор, за которые автору, естественно, подобает платить головой», но которые и преобразили для него тюремный ад в «самое драгоценное время моей жизни». Или, быть может, в конце концов Синявский все же предпочел ему Бальзанова, этого трезвого, добродетельного и бдительно-го словесника? Но ведь именно Бальзанов выследил, уличил и упрятал в лагерь общественно опасного Синявского, требуя для него «вышки».

Да и победил ли Бальзанов Колдуна? Колдун, если верить Бальзанову, умер. Кошкин дом уничтожен. Можно начать новую жизнь. Однако мальчик Андрюша, племянник Супера, утащившего за собою в небытие Колдуна, признается Бальзанову: «Я буду историком. А повезет — писателем». И не случайно здесь это проплывающее над ними на большой высоте в осеннем солнечном небе мохнатое облако, ставшее вдруг золотым. Это то самое золотое облако, в которое творческим мановением преобразается всякая брань, и всякое братоубийство, и всякое безумие, и всякая подлость, и низость, и месть. Синявский любил повторять, что цель творчества — преобразование.

...Среди бумаг, найденных в Кошкином доме, особенно поразил Бальзанова отрывок из старого французского учебника: «— У вас ли мой прекрасный башмак? — Да, он у меня. — У вас ли мой золотой шнурок? — Нет, у меня его нет. — У вас ли мой гусь? — Нет, у

меня свой петух. — Какой шнурок у вас? — У меня золотой шнурок. — Видите ли вы эти прекрасные похороны? — Да, я их прекрасно вижу. — Кого вы видите там в цепях? — Я вижу в цепях убийцу нашего хорошего соседа, бедного кузнеца. — Что у вас дурного? — У меня дурной конь моего доброго приятеля. — Что у вас прекрасного? — У меня прекрасный суконный плащ. — Ищешь ли ты ослов? — Я ищу ослов и быков. — Что у этого офицера? — У какого офицера? — У того офицера, которого не любит полковник. — У него кожаные сапоги сапожника. — Зачем этот молодой солдат столько пьет? — Наверное, ему пить хочется. — Отчего у этого молодого человека такой надменный вид? — Он почитает себя великим художником, он, который только весьма посредственно играет на фортепьяно. — Зачем не пишете вы как должно? — Я не могу писать лучше. — Стреляйте же, теперь ваша очередь! — Спасибо, я только что выстрелил. — Какую женщину видит

этот юноша? — Он видит молодую и прекрасную женщину в черном платье. — Где он ее видит? — Он ее видит в церкви. — Что драгоценнее красоты? — Добродетель. — Но у кого золотые шнурки? — Ни у кого золотых шнурков не было и нет».

Бальзанов не без оснований принял его за некий пратекст, установочный документ литературы, материнское лоно словесности. И в какие бы розыски далее ни пустился Бальзанов, ни ему, ни Абраму Терцу, ни Андрею Синявскому и никому из нас уже не выпутаться из ее золотых шнурков, никуда не деться от ее онтологического синтаксиса, всех этих его сложноподчиненных предложений, прямой и косвенной речи, дополнений, уточнений, промыслительных обстоятельств времени, места, образа действия, причины, цели, условия и уступки, равно как и от ее знаков препинания — стремительных запятых, блаженных и мучительных многоточий, тянущихся по пространству тире.

Олеся НИКОЛАЕВА.

Редакция журнала «Новый мир» выдвинула Олеся Николаеву на соискание Государственной Пушкинской премии 1999 года.



ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

А МОГЛО БЫ БЫТЬ ИНАЧЕ?

Virtual History: Alternatives and Counterfactuals. Ed. by N. Ferguson. 2-d ed. London, «Papermac», 1998, 548 p.¹

Виртуальная история: альтернативы и противофакты.

В очередной раз группа историков, в основном английских, попыталась представить, что было бы, если бы то или иное известное событие не состоялось или состоялось бы на его месте нечто совершенно другое. Попытки такого рода тем сложнее, но и тем интереснее, чем крупнее, значительнее «отмененное» событие. Например (возьму для сравнения две темы, затронутые в настоящем сборнике), представить, что было бы, если бы не был убит Кеннеди, по крайней мере на следующие несколько лет, под силу, наверное, даже компьютеру. А вот что было бы, если бы не совершилась американская революция? (Оказывается, вполне можно допустить и такое; конечно, с течением времени Америка неизбежно отделилась бы от Англии, только скорее мирным путем.) Но если представить, как делает автор соответствующей статьи, что в этом случае не было бы и Французской революции, то здесь мы столкнемся с таким объемом последствий, охватить который ну никак не сможем. И останется просто «отключить» воображение.

На данном примере видно, что слишком далеко уходить от того, что реально произошло, не имеет смысла. В прошлом веке французский философ Ш. Ренувье попробовал вообразить, что было бы, если бы христианство проникло в Европу на целую тысячу лет позже. Результат оказался обратно пропорционален замаху: получилась книга, построенная на иронической *jeu d'esprit* (игре ума), мало что дающей для понимания европейской истории.

А вообще-то зачем она нужна — виртуальная история?

На память приходят строки Георгия Иванова:

В шуме ветра, в детском плаче,
В тишине, в словах прощанья
«А могло бы быть иначе»
Слышу я как обеща́нье.

Разрядка моя. Хотя, наверное, и без моей помощи каждый обратит внимание на не совсем ожидаемое в таком контексте слово. Положим, это — в мире интимно-личностном, таинственно простирающемся за пределы видимого. В мире истории обращает на себя внимание временное, конечное; явления самых титанических масштабов, оглушающие современников громовыми раскатами, по skonчании своем лишь усиливают впечатление, что все есть «суета и тление». Но и в истории конечное каким-то неведомым для нас образом открывается в бесконечное. И время «объято» (о. Сергей Булгаков) вечностью.

Будем, однако, говорить о временном. Виртуальные конструкции помогают лучше понять прошлое. Плоские люди, убежденные, что история сослагательного наклонения не имеет, лишены способности воспринимать событие прошлого как живое, «совершающее на глазах». Не помню, кто из русских историков писал, что, допустим, о Куликовской битве или о восстании Пугачева надо рассказывать так, как если бы вы не знали, чем они кончатся. В любой точке истории существует больший или меньший пучок возможностей, поэтому виртуальное естественным образом дополняет реальное: надо учитывать, что люди в тот или иной момент «искали», а не только то, что они «нашли».

Знание о возможном в прошедшем времени нередко имеет и практическое значение. История представляет собою сложное плетение различных «линий развития»; случается, что некоторые из них поворачивают вспять, к когда-то уже

¹ Первое издание: «Picador», 1997.

пройденной точке, чтобы выбрать на сей раз иное направление движения. Несбывшееся однажды может сбыться на какой-нибудь неожиданный лад — в иных условиях и для других поколений.

«Виртуальная история» состоит из девяти статей, из которых три посвящены русской, точнее, советской истории: М. Бёрли, «Нацистская Европа: что, если бы нацистская Германия нанесла поражение Советскому Союзу?»; Дж. Хэслэм, «Война или мир Сталина: что, если бы удалось избежать холодной войны?»; М. Олмонд, «1989 без Горбачева: что, если бы не рухнул коммунизм?»

Военные историки утверждают, что уже в 1941 году Гитлер допустил ряд серьезных ошибок на Восточном фронте. Отсюда можно сделать вывод, что, если бы этих ошибок не было, немцы не скажу — поставили бы на колени Советский Союз, но достигли бы больших успехов: взяли бы Москву, продвинулись до Волги и даже еще дальше, до самого Урала. Что происходило бы на оккупированной территории, а это, собственно, тот вопрос, который интересует английского автора, представить не так уж трудно: в Берлине были готовы подробно разработанные планы, каков должен быть «новый порядок» в Европе вообще, на восточных территориях в особенности. От Советского Союза были бы отрезаны национальные окраины, а на оставшейся части русским был уготован статус, прецеденты которого инициаторы «нового порядка» усматривали в положении илотов в Спарте и туземцев в Британской Индии; на деле же это был бы режим, беспрецедентный в истории по своей бесчеловечности. Что такие планы сладострастно вынашивали выбившиеся из грязи в князи нацистские вожаки, не удивительно; удивительно другое: что господа немецкие генералы, в подавляющем большинстве люди все-таки иной культуры, им молча или повиновались, или активно сочувствовали.

Но сумели бы немецкие танки перевалить за Уральские горы? Бёрли исключает такую возможность, и с ним можно только согласиться; а значит, слово «поражение», употребленное им в заглавии статьи, неточно. Советский Союз продолжил бы сопротивление, опираясь на ресурсы Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии (к которым надо было бы добавить эвакуированные заводы и миллионы, если не десятки миллионов людей), а также на помощь союзников. С другой стороны, японцы, увязшие в Китае и Юго-Восточной Азии, вряд ли осмелились бы на какие-то действия против нас. А на европейской территории фашисты получили бы жестокую партизанскую войну, которая отвлекла бы на себя массу их сил и средств. И конечный результат войны был бы таким же, каким он был в действительности, с тем отличием, что Советский Союз вышел бы из нее еще более истощенным, а западным союзникам пришлось бы приложить большие усилия для достижения победы; и как следствие соотношение сил в послевоенной Европе было бы несколько иным.

Теоретически, правда, можно допустить другой вариант развития событий. Бёрли его не рассматривает, лишь вскользь упоминая, что в германских правительственных структурах были реалистически мыслящие эксперты, предлагавшие повести наступление на Восток под девизом «Не завоевание, но освобождение». Если бы их совет был услышан, тогда результат войны мог бы быть для России совсем другим. Ведь даже «звериный оскал» фашизма не помешал тому, что уже в первые месяцы войны около миллиона соотечественников, способных носить оружие, перешли на сторону противника (правда, не всегда добровольно). А если бы звериного оскала не было и противник на занятой им территории предоставил бы русским самим решать свои внутренние дела? И, конечно, доверил бы им оружие? В этом случае тот же Власов мог бы призвать под свои знамена миллионы солдат, и уж тогда советский режим не удержался бы даже в Сибири. Ценою определенных жертв и некоторых унижений возникло бы русское национальное государство, хотя каким был бы его внутренний строй, можно только гадать.

Такой оборот дела, безусловно, был бы выгоден самой Германии: добившись того, что Россия была бы выведена из войны и стала бы для нее источником стратегических ресурсов, она смогла бы перебросить большую часть своих войск на запад, а также в Африку и на Ближний Восток. Хотя таким образом она лишь оттянула бы свое поражение: превосходство англосаксонского мира все равно дало бы о себе знать. В конце концов американцы забросали бы Германию атомными

бомбами. И тогда, наверное, Россия денонсировала бы навязанные ей соглашения и вернула все, чем вынуждена была пожертвовать. То есть повторилась бы история с Брестским миром. Генерал Власов в этом случае стал бы национальным героем.

Но чтобы история пошла по этому пути, нужно было, чтобы Гитлер не был Гитлером. И вся кучка одержимых, стоявшая во главе Германии, перестала бы быть собою. Так что приходится признать данный вариант нереализуемым.

Холодная война. Статья Хэслэма лишней раз убеждает, что ее не могло не быть. Даже в том случае (рассмотренном выше), если бы Советский Союз вышел из войны еще более ослабленным. Ну, передохнул бы немного товарищ Сталин, накопил бы свежих сил — и все равно принялся бы точить ножи на своих вчерашних союзников. «Железный занавес» опустился бы в любом случае — если не на Эльбе, то, скажем, на Висле или даже на Немане.

Хэслэм считает, что основной причиной холодной войны была идеология мировой революции, взятая на вооружение Кремлем. Я бы сформулировал ее несколько иначе. На мой взгляд, холодную войну сделала неизбежной психология советской правящей элиты, в плане внешней политики представлявшая собою гремучую смесь из обрывков идеологии и некоторых архаических интуиций. Возможно, известную роль сыграл тут и момент страха, но это был страх не перед военной силой (Хэслэм правильно пишет, что Сталин не боялся, что на СССР могут напасть, и даже слегка презирал американцев за неспособность «должным образом» распорядиться своими громадными возможностями), а просто перед непонятным «чужим», не принимающим советский образ жизни и, значит, отрицающим его универсальную ценность².

Тезис следующей статьи: не будь Горбачева с его командой, советская система продолжала бы более или менее успешно функционировать. Соответственно продолжалась бы холодная война и советский ВПК выдавал бы на-гора все новые танки и ракеты типа «Сатана» или что-то похуже; правда, технологическое отставание СССР усиливалось бы, но многое из недостающего можно было покупать на Западе. Более всего Олмонда занимает вопрос о западной притерпелости к такому партнеру, как СССР. Притерпелость была разносторонняя; даже холодная война стала для Запада настолько привычным делом, что уже трудно было помыслить, как ее может не быть. Притом основная часть западной интеллигенции была настроена на сотрудничество с Москвой и только уже в ходе «перестройки» вынуждена была согласиться с той оценкой «реального социализма», какую ему давали правые. И «если бы, — продолжает Олмонд, — Стена (берлинская. — Ю. К.) не пала, большая часть западной элиты по-прежнему смотрела бы сквозь пальцы на пороки коммунизма, как моральные, так и материальные, по меньшей мере на протяжении жизни еще одного поколения».

Здесь ничто не вызывает возражения, удивляет только, что автор нигде не ставит вопрос: сколько могла еще виться эта веревочка? «Еще одно поколение» («по меньшей мере») могла терпеть советский режим западная элита. А «советский народ»? Очень трудно представить, чтобы его терпения хватило больше чем на десять — пятнадцать лет: уж теперь-то мы знаем, какие разрушительные энергии скопились под внешней гладью «Союза нерушимого». Знаем и другое: экономика страны вплотную приблизилась к порогу, за которым должен был наступить провал. Следовательно, Горбачев своей «перестройкой», желая усовершенствовать в принципе не поддающееся совершенствованию, лишь ускорил крах режима, который так или иначе — скоком ли, боком — совершился бы и без нее.

Все три статьи лишней раз подтверждают, что никакой реальной альтернативы тому, что происходило в действительности, быть не могло (поэтому и за-

² Отнюдь не в ура-патриотических, но вполне научных по типу изданиях за последнее время стала явно преобладать точка зрения, что в возникновении холодной войны повинны обе стороны или даже Соединенные Штаты повинны в большей степени, чем Советский Союз. Подобные утверждения находятся в вопиющем противоречии с идеалами научного сообщества, для которого «истина дороже». Мало того, они еще и стопроцентно антипатриотичны по своей сути, ибо свидетельствуют о нежелании видеть причины тяжелейшего недуга, ныне поразившего Россию (гиперболический милитаризм является одной из них), а значит, и неспособности отыскать пути ее выздоровления.

головки их, на мой взгляд, неточны). Это значит не то, что советский путь был безальтернативным, а то, что лишь на изначальном распутье можно было сделать иной выбор, но дальше — ловушка захлопнулась. И поиски альтернатив на всем протяжении пути оказываются малопродуктивными.

Вот примеры продуктивных вопросов: что было бы, если бы Николай II не отрекся от престола? если бы Ленина и Троцкого летом 1917 года посадили в тюрьму и не выпускали их оттуда? если бы Деникин в 1919 году взял Москву?

Семнадцатый год — это гигантский выброс горячей лавы, которая совсем не обязательно должна была устремиться туда, куда она устремилась. Многое зависело от действующих на «театре истории» лиц, а порою и от различных случайностей. Создатель и руководитель Красной Армии Троцкий признавал, что в период Гражданской войны судьба советской власти несколько раз висела буквально на волоске; случалось, что положение спасал в последний момент какой-нибудь верный полк или даже один-единственный энергичный комиссар. Но с победой красных дальнейший путь был предопределен — и на много десятилетий вперед. Два жестко сцепившихся фактора обусловили его траекторию: возникновение новой элиты, с самого низа выброшенной на самый верх (и, естественно, к роли элиты совершенно не готовой), и коммунистическая идеология, которой новая элита обязана была своим возвышением и потому приняла ее, хотя с течением времени успешно ее выхолащивала.

Крылатая Свобода поникла главою, тихие слезы лия: ушло «ее» время — разреженное, нервно-подвижное, отзывчивое, лепкое. Пришло — ригидное, плотно слежавшееся, непроницаемо-твердое на ощупь. Но ведь не само пришло, а при е е активном участии.

«Наставший порядок обступит нас с привычностью леса на горизонте или облаков над головой. Он окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого...» Меня удивляет, как точно Пастернак, знавший совсем иные времена, выразил в этих словах (задним числом вложенных в уста Юрия Живаго и поданных как пророчество) мировосприятие «советского человека». Ощущение замкнутого в себе и как бы остановленного эона. Тем сильнее оно у писателей позднейших поколений, ничего другого не видевших (об этом, кстати, писал Андрей Немзер в статье «Несбывшееся» — «Новый мир», 1993, № 4). Возьмите самую, пожалуй, интересную, самую талантливую попытку представить и н о е — «Остров Крым» В. Аксенова. Более полувека продержался белогвардейский «остров», чтобы в итоге уступить нашему и стать «тем же самым», что и все остальное. А впрочем... такова чисто внешняя канва событий. Роман создавался в годы, когда уже «все прогнило», и сама идея альтернативного пути, возможно, была подсказана смутным чувством, что эон все-таки приблизился к своему концу.

Листая как-то парижские «Современные записки», я наткнулся (№ LX за 1936 год) на статью неизвестного мне С. Ивановича «Пути русской свободы». Автор приходит к горькому для себя и своих читателей журналу выводу, что советский строй обладает большим запасом прочности и все попытки сокрушить его в обозримом будущем безнадежны. «Режим, — пишет он, — должен остыть, сложиться, стать „пожилым“, потерять блеск великих событий (хотя бы это были и великие преступления, и великие мерзости), чтобы в отношениях к нему страдающих народных масс могла проявиться свобода оценки и в психике народа могли бы накопиться элементы объективной ориентации в своем собственном положении. Нужно, чтобы исчезли всякие надежды и иллюзии насчет существующего режима, нужно, чтобы на нем осели густые слои пыли...» Лучшие русские умы в расцвете все же надеялись на счастливый поворот событий, который позволит белой эмиграции победно вернуться на родину, а Иванович угадал правду: не будет счастливого поворота. То есть будет, конечно, но очень-очень нескоро. «Когда нас не станет»...

Все-таки благодарное время мы сейчас переживаем: опять все возможно.

Юрий КАГРАМАНОВ.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«...У ВАС ЕСТЬ ЧИТАТЕЛЬ!..»

Уважаемый Виктор Петрович <Астафьев>!

Ваш «Веселый солдат» (1998, № 5 — 6), на мой взгляд, явление примечательное во всей нашей литературе о Великой Отечественной войне. Во всяком случае, он не может оставить равнодушным читателя, как оставляют горы написанного о ней, особенно воспоминания полководцев и руководителей государства, ответственных за так и не подсчитанные миллионы погибших и еще большие миллионы сирот и вдов.

В русской литературе описаны «лишние люди» — Онегин, Печорин. Это были люди с хорошими задатками, но общество их испортило, и они стали лишними. Так, по крайней мере, мы учили в школе, и таково наше представление о них.

Ваш Веселый солдат не стал лишним человеком. Он вместе со своей неунывающей женой борется за свое существование не рассуждая и не унывая, «принимает все как есть», что-то вроде энергичного Платона Каратаева. Может быть, в нем разгадка загадочной русской души?

Впрочем, я высоко хватил и хочу ограничить себя войной, армией и своими сверстниками. На их примере я пытаюсь проследить, как этих хороших, наверное, многих талантливых юношей развращала и корежила наша гнусная советская действительность. Она корежила всех и не дала возможности проявиться многим Ломоносовым и Есениным. Но на нас с Вами наибольший отпечаток оставила война и армия. Этот короткий по сравнению со всей жизнью отрезок определил для многих из нас всю последующую жизнь, сформировал характер.

Когда мы с Вами начали осознавать мир, мы узнали, что «Буденный наш братишка... и сумеем кровь пролить за СССР», а также «...пусть гром гремит, пускай пожар кругом, мы беззаветные герои все, и вся-то наша жизнь есть борьба, борьба».

Когда в 1942 году моего товарища, учителя начальной сельской школы со зрением -13, не брали в армию, он говорил: «Я не могу ходить по деревне». Он настоял, чтобы его взяли, и в августе 1943-го погиб под Дорогобужем.

Мальчиков нашего класса призвали в декабре 1942-го, было жутковато и интересно, но мысли избежать этой участи не было. «Если не я, то кто же кроме меня?»

Попав на «передок» и выглядывая утром из одиночного окопа, отрытого ночью, я говорил сам себе: ничего интересного и тем более геройского здесь нет и, если буду жив, никогда ничего про войну ни читать, ни смотреть не буду. Изловчившись, пригнув голову, мощной тогда еще струей пописал из окопа (потом научился, как справить и большую нужду в окопе), получил перекинутую из соседнего окопа на окропленную мною землю «буханку на троих» и банку с ключиком американских консервов — какие уж тут героизма.

Когда окопы соединили траншеями, вызвал какой-то капитан, отвел от передовой куда-то в рожь, огляделся, присел и предложил мне помогать ему выявлять шпионов. Спрашиваю: «Как?» — «Будешь сообщать, о чем говорят солдаты. Например: „У немцев лучше кормят“. Пиши: „От Воробья Скворцу“».

При подготовке к прорыву обороны собирали отдельно офицеров и сержантов и нам, сержантам, приказали: если во время атаки твой солдат струсит и побежит назад, стреляй. Если ты не восстановишь порядок, тебя — под трибунал. А у меня в отделении мои одноклассники, с которыми мы мечтали «о доблести, о подвигах, о славе». Кроме того, всех предупредили, что сзади у нас заградотряд, так что пути назад у нас нет.

Это была не какая-нибудь «шарага» или штрафная рота, а прославленная 1-я Московская гвардейская стрелковая дивизия (говорили — бывшая Пролетарская или Кремлевская), а мы все — недоучившиеся курсанты, первыми надевшие кур-сантские погоны.

Старый, уже трижды раненный солдат — москвич Поликанов — говорил нам, глядя на немецкую колючую проволоку: «Вот там все и останемся». Недавно посмотрел «Книгу памяти москвичей». Там несколько Поликановых, но один из них «пропал без вести в августе 1943-го». Без вести пропал там же и мой одноклассник Селиверстов.

Может быть, в атаке жестокость и оправдана. Но: 5 минут отсутствия без разрешения — самовольная отлучка, 20 минут — дезертирство. А приказ № 227, а БУП-42 — «не разрешается оставлять поле боя для сопровождения раненых».

А еще ранее, в училище, рота курсантов отказалась принимать пищу: мала порция, повара воруют. Потребовали начальника училища. «Отец солдатам» приехал и пообещал вызвать на нас пулеметную роту.

Сейчас, слушая выступления некоторых наших с Вами сверстников («Сталин и Жуков выиграли войну»), я задаюсь вопросом: где она, народная мудрость? Неужели нам нужно ждать, когда вымрет поколение, для которого наибольшая ценность колбаса по 2.20? Ведь оно же, это поколение, и выиграло войну. Недавно на деньги, сбереженные под подушкой и не доверенные государству, проехал на туристском автобусе по Европе. Я представил себе сытых и благополучных европейцев на месте Вашей неунывающей жены, с которой Вы вместе, победив, маялись по Сибири. Я спрашивал у местного экскурсовода в Брюсселе, как мы видимся с их стороны. Ответ таков: «Это ужасно. Как можно собрать у населения деньги и не отдать? Как вы это терпите?»

Недавно услышал по телевизору, как французские первоклашки отвечают на вопрос, что они знают о России. «Это очень большая и очень бедная страна».

Я задаю себе вопрос: почему моя Родина такая несчастная, почему в ней все так нелепо? Почему так позорно ведет себя Дума? Неужели в России не найдутся люди, которые, получив доступ к общенародному пирогу, будут продолжать жить в скромной квартире, ходить на работу, как ходят их избиратели, получать в среднем, как их избиратели, и честно трудиться над деланием разумных законов. Как распознать их, этих честных людей, почему мы сами посылаем туда людей, у которых на лице не видно признаков мысли, чести, совести? Где наши Столыпины, Сперанские, Витте? Почему президент Клинтон пожимает руки вернувшимся из плена летчикам, а наших отправляли в лагеря? Знаете ли Вы, что главной заботой наших пленных, по крайней мере в 1944 году, было не как пережить плен, а как тебя встретят дома? Почему испанцы требуют судить Пиночета за то, что в Чили погиб их граждан, а мы не запрещаем партию, которая загубила десятки миллионов наших граждан?

И еще о Победе и победителях.

Когда в 1945-м, после плена (я и там «погостил»), я, осчастливленный смершевцем, попал под Берлин и смотрел на увешанных медалями победителей, я вдруг обнаружил, что все эти победители ущербны, бесправны перед властями: почти все они были в оккупации, имели раскулаченных родителей, побывали в плену или их родители были в оккупации или в плену или «отдыхали» в окружении в 1941 году. То есть победитель-то кто-то другой, а народ, почти весь народ, в чем-то виноват перед властью.

Суметь так одурачить народ!

А может быть, мы, Россия, так еще младенчески наивны или даже глупы, что терпим все это?

После войны прочитал я и о своей трагедии — окружении и плене 27 апреля 1944 года. В сводке Информбюро — «бои местного значения, существенных изменений не произошло». В воспоминаниях Рокоссовского, у которого были разногласия с соседним командующим фронтом: «Тут как раз в пользу нашего предложения сработал случай... произошла неприятность — противник нанес удар и овладел Ковелем». А мы-то метались в окружении и ждали подмоги, а это, оказывается, была «неприятность», которая работала в «пользу нашего предложения».

Как охраняли нам немцы, в плен было взято 15 тысяч, и примерно столько же мы, под охраной немцев, закопали на территории окружения.

И вот прочитал Вашего «Веселого солдата». Спасибо Вам, впервые описано так, как это было. Дал почитать дочери-медику. Спрашивает: неужели так было?

Рассказываю, как нас, эшелон раненых, везли из-под Брянска в Орел в «телячих» вагонах из-под снарядов, с двумя санитарками, и те же самые успокоительные «черви очищают рану», и как в Орле нас никто не встречал, и как раненые, кто мог, шли и ползли, растянувшись по всему городу, на другой конец города, где был госпиталь, — есть-то хочется, хотя и раненый, — все это Вам знакомо.

Зачем я это Вам пишу? Да еще так сбивчиво — начал с «лишних людей» и с Платона Каратаева, а кончаю червивыми ранами.

Пишу под впечатлением прочитанной и еще раз перечитанной Вашей повести, которая заставляет задумываться о судьбах нашей Родины.

Кроме того, думаю, что Вам, наверное, пишут многие и упрекают: «Вы принимаете нашу Победу», — и мое письмо будет противовесом им.

Надеюсь читать Вас еще, живите подольше. Будьте здоровы и пишите больше, большой дар у Вас от Всевышнего, используйте его, не тратьте время на пустяки.

НИКОЛАЕВ Юрий Тимофеевич.

Дорогие новоирицы!

Заставила себя откликнуться на ваш зов, преодолевая чудовищную неприязнь к писанине, апатию и лень. Но и не сделать это крайне невежливо: вы мои кормилицы и за духовную пищу также надо говорить «спасибо».

Итак, спасибо и во здравие всем авторам, которые не благодаря, а вопреки взбаламученному и взбесившемуся вконец времени продолжают (и еще отраднее — начинают) служить русской словесности, единственной и великой нашей надежде и опоре.

Поразительно, как уживаются друг с другом (вот уж где явлены единство и борьба противоположностей!) стениания по «концу» литературы и такой мощный выброс творческих потенций пишущей братии. В количественном, а может, и качественном отношении этот мощный поток превосходит все «золотые» и «серебряные» периоды расцвета культуры (правда, нельзя не заметить потери «бойца» — многоликого читателя). Усложнились способ мышления, язык, степень обобщения художественно-исторических процессов, их ассоциативные взаимосвязи, немислимые еще в эпоху большого стиля.

По моему глубочайшему убеждению, в самого мощного и глубокого художника выпестовался Вл. Маканин (его и поставить рядом не с кем)...

А как сильны (каждый по-своему) Б. Екимов и А. Волос, старым дедовским способом достигающие заветной цели традиционной литературы — рассказать историю, слепить живых людей, достучавшись до сердца, вызвать сопереживание, сочувствие, обозначить явление, наконец. (Мучение возрастное либо специфически постмодернистское: трудно подчас вспомнить, о чем же читал. А рассказы Екимова и Волоса запоминаются сразу и надолго.)

Прекрасны и «Прохождение тени», и «Разновразие». И вообще «бабий десант» на страницах «Нового мира» впечатляет: Улицкая, Щербакова, Полянская, Поволоцкая, Петрушевская и многие еще, которых сейчас пофамильно не вспомню, мощно задвинули почитаемых в недавнем прошлом авторов (Паустовского, например, с его одномерностью, однослойностью). С большим пиететом отношусь к А. Азольскому и М. Кураеву — талантливые люди, крупные литературные имена.

«Чернушечная» волна, кажется, к счастью, спадает (даже у той же Л. Петрушевской). Против этой лавины выстоять уже было не по человеческим силам (может, просвещенный читатель потому и «слинял»?).

Можете смеяться, но единственным противоядием для меня стал единственный наивный, но эффективный довод: ну вот вы, демиурги и убийцы, сами-то живы и как бы даже здоровы, коль скоро отписались, опубликовались, но подвергнув своих персонажей всем мыслимым и немислимым казням, утопив в грязи и беспросвете. Для себя-то нашли исход? А свои творения и нас с ними не пощадили. Иной раз лишь такой «довод» ведет к мало-мальским надежде и утешению.

По-видимому, любая мысль изреченная не есть лишь ложь (да и то лишь на краткий миг ее проговора), но она и проект, который как бы подается в некие

высшие инстанции «на утверждение» и спустя энное количество лет (везде, как водится, бюрократия) спускается к исполнению, со всеми присущими вертикали искажениями и деформациями. Слово имеет мистическую силу и власть над людьми. Мы, народ, внушаемы, и, сказавши многожды «халва», во рту становится слаще. А тиражируемое злодейство оборачивается исполнением его. Уж сколько говорено по этому поводу, но лучше С. Аверинцева протест против «текстов» подобного рода не выразил никто: «...но если мы в антиавторитарном задоре отменяем сам по себе императив воспитания, мы должны чувствовать, что крушим позвончик культуры — ту вертикаль неравноправных ценностей, которою культура держится в состоянии прямохождения». (И далее по Мандельштаму: и приходит — п'ся крив, всетерпимость.)

Огромный пласт публикаций, приватизированных религиозной тематикой, мне представляется излишеством, и зачастую глуповатым (в отличие от поэзии). Такое впечатление, что чем выше область духа, на которую тщится взобраться церковь, тем неадекватнее, примитивнее способ выражения веры, да еще и с неистребимым излучением векового фарисейства... Бряцание любовью к Б-гу — однокорневое с недавней обязательной молитвой единственно верному учению, что выглядит вопиющей эстетической безвкусицей, а значит, противоречит истине.

Выписывала «Новый мир» с незапамятных времен, читаю и теперь, но библиотечный. Ваш журнал, как и ряд других, близких по духу, — это и Библия, и наркотик, и средство общения, и окно в Россию, съезживающееся, как шагреновая кожа.

Возраст: 59, образование высшее гуманитарное, нынешняя специальность — читатель. (Пока живу, у Вас есть читатель, И. Роднянская!)

Зинаида ПОДОЛЬСКАЯ.

Ташкент.

Р. С. С наслаждением читаю А. Гениса (в комплекте с П. Вайлем и в розницу). Спасибо за «Довлатова и его окрестности».

Когда речь заходит о «Новом мире», мне приятно сознавать, что я могу себя отнести к той немногочисленной группе рядовых читателей, которые выписывали журнал с 1948 года, то есть в течение 50 лет (полувека!). За это время журнал возглавляли такие видные наши писатели, личности, как Твардовский, Симонов, Наровчатов, Залыгин. Каждый из них внес, естественно, что-то свое, новое, но дух «Нового мира», его смелость в борьбе за литературу высокой правды, честности, его требовательность к художественному уровню произведения сохранялись всегда. Скольких писателей я узнал именно благодаря «Новому миру», всю нашу классику — Пастернак, Солженицын, Каверин, Катаев, Яшин, В. Некрасов, Трифонов, Айтматов, Гранин, Адамович, Быков, Битов и другие, поэты-фронтовики и шестидесятники — всех не перечислить. И новые открытия и потрясения — лагерная проза, эмигрантская литература, запрещенная в свое время, непечатавшиеся авторы. Современная проза, не лишенная, конечно, интереса, менее притягательна, читаешь больше «по обязанности», с усилием (даже последнюю повесть Искандера). Всегда привлекал и привлекает отдел публицистики своей острой нацеленностью на существенные проблемы нашей жизни, разностью точек зрения на один и тот же вопрос. До сих пор помнятся давние уже теперь очерки Е. Дороша, статьи Черниченко, Н. Шмелева, Селюнина, замечательные выступления Д. С. Лихачева и, конечно, С. П. Залыгина по вопросам экологии. Всегда интересна мемуаристика, а в последние годы ценнейшие материалы, связанные с русской философской, общественной, духовной жизнью начала XX века, вообще с культурой. И критика — незабываемый И. Дедков, «исконно» новмирские авторы М. Чудакова, А. Марченко... Огромный интерес представляет сравнительно недавно заведенный в журнале отдел «Библиография» («Книжная полка» и «Периодика») — ему цены нет! И, конечно, «Русская книга за рубежом» и «Зарубежная книга о России». Любыми способами продолжайте эти разделы — это для читателя окно в мир.

Много лет я проработал преподавателем литературы в музыкальных школе, училище и институте им. Гнесиных — толстые журналы оказывали мне неоценимую помощь в моей профессии. В частности, в 50-е годы я организовал своего рода литературный семинар, призванный знакомить учащихся с литературной жизнью, с произведениями, выходящими в журналах. «Новый мир» и здесь стоял на первом месте. Занятия пользовались большой популярностью, слушателей на них собиралось всегда много. Кстати, в подготовке к занятиям мне оказывал большую помощь народный университет литературы при Союзе писателей, в котором я прослушал полный курс лекций дважды (в разные годы). Именно там мне довелось слушать многих наших известных писателей и критиков, в том числе авторов и редакторов «Нового мира».

Еще недавно в нашем доме выписывался не один журнал. Но «Новый мир» был всегда любимым и «главным». А теперь, когда приходится отказываться и от газет, и от журналов, «Новый мир» остался единственным. Но, кажется, пришла пора и с ним расстаться (на 51-м году). Причина понятная: я пенсионер и хоть и участник Великой Отечественной войны (и стал инвалидом II группы), пенсия моя скромная. Подписка, к великому огорчению, становится непосильной.

А. ДОРОНИН,
ветеран ВОВ и труда,
заслуженный работник культуры.

Пишет Вам Балясникова Людмила Александровна. Не знаю, как Вам «глянется» мое письмо, Вам все больше доценты с кандидатами пишут, а я просто домохозяйка, как и большинство женщин моего возраста в России.

В советское время мы были подписчиками журнала «Новый мир», а сейчас берем его в библиотеке, и не все номера удается прочитать. У меня есть предложение: если у вас в редакции остаются нереализованные номера, можно лотерею организовать для постоянных читателей, можно предложить годовую подписку по льготной цене или со скидкой. Как уж вы там придумаете. И ничего плохого в этом нет. Лишь бы журнал дошел до ваших читателей.

Я думаю, надо общаться с провинцией. Ведь мы тут в глубинке брошены всеми на произвол судьбы. Ни кинолент хороших, ни спектаклей. Экран телевизора хочется вообще черной тряпочкой закрыть. На книги денег нет.

Но мы все-таки как-то ухитряемся и почитываем, журнал-то жив еще, слава богу.

Одно время, когда хлынул весь этот поток «черной литературы», мы настолько начитались, что потом года два не читали ничего. Но со временем решили: нет, надо возвращаться к своему родному чтиву и к журналу «Новый мир» в частности. Перечитали все старые номера. А в этом году следим за номерами. Правда, плохо в библиотеке: то одного номера нет, то другого, и если что-то идет с продолжением, то не всегда удастся взять журнал...

Что мы любим в журнале: все, кроме переписки. Ничего не могу с собой сделать, не могу читать чужие письма, какие бы знаменитые люди их ни писали.

Нравится Фазиль Искандер, А. Мелихов, А. Найман и публицистика, да все хорошо. С удовольствием читаю деревенские рассказы. В этом году прочитали «Армию любовников» Г. Щербаковой. Написано с таким хорошим юмором. Хоть немного душой отдохнули, посмеялись.

Большая к вам просьба: не пускайте в журнал современных политиков, ни левых, ни правых. Иначе журнал потеряет себя сразу. Все интеллигентное лицо журнала будет испачкано дерьмом (прошу прощения).

Что бы хотелось прочитать:

Не знаю, может, покажется странным, но чем глубже кризис на Кавказе, тем больше хочется читать, но только о культуре, о самобытности народов, о реальной их жизни, а не о борьбе кого-то с кем-то. Я помню, в начале 70-х годов нам выпало судьбой жить и работать на Мангышлаке, а что можно было узнать о казахах из литературы, разве что «Путь Абая» Ауэзова.

И когда мы познакомились с реальным жизненным укладом этого народа, то мы поняли: мы зря сюда пришли, нас тут никто не ждал. Не нужны мы тут со своей разрушительной цивилизацией. У них свой путь, своя ментальность, как теперь говорят, своя культура.

Побывать у них в гостях, на их празднике жизни, — это одно, а вторгаться со своим уставом да в чужой дом — извините, опасно.

Чечня тому назидание. Уж хоть бы накануне Павлу Грачеву с Борисом Ельциным дали почитать «Кавказского пленника». Ведь <мы> теперь с чеченцами враги навсегда, и так большими друзьями не были, а тут эта ужасающая война. Что теперь делать. Столько горя. Как его пережить?

Помоги нам Господи. Дай разум нашим политикам. Отверни их от несправедного. Вразуми любить людей, которые им хлеб дают, и не только.

Я с большим уважением отношусь ко всем национальностям.

Печатайте побольше о простом народе любой национальности, об их жизни, о национальном укладе, о культуре, обо всем. Ведь оттуда, из глубин народных, и течет жизнь. И чем образованнее и культурнее будет народ любой национальности, тем лучше будет жизнь на земле.

Дай вам Бог удачи во всех делах и начинаниях.

Храни вас Бог.

Л. А. БАЛЯСНИКОВА.

Углич.

Р. С. Немного о себе:

Наш крестьянский род был перемолот колесом истории этого жестокого века, как и многие другие семьи России.

Мой прадед имел хутор с пасекой. Старшему своему сыну поставил мельницу на реке, а моей бабушке досталась пасека в приданое.

В 30-х годах все это отобрали.

Дядя, брат бабушки, сидел в лагере, а бабушку с семьей детьми и стариками родителями выслали на север Вятской губернии, на лесоповал. Там она потеряла старшую дочь. Единственного сына из детей отняла война в 1942 году. У всех маминых сестер мужей убило на войне, одна из сестер пережила блокаду Ленинграда. Моему отцу сразу после войны дали 25 лет лагерей за антисоветскую деятельность. Матери дали 10 лет, мне в ту пору было 9 месяцев. Еще одна мать сестра тоже сидела 10 лет. Когда пришла похоронка на ее мужа, она в слезах сказала: «Сталин, будь ты проклят».

Далее постепенно всех реабилитировали.

Но несмотря ни на что все, кто выжил, работают, имеют детей. У всех квартиры, дачи, машины или свои дома. Никто не стал ни жуликом, ни пьяницей.

Все мы дети России.

Спешу ответить на приглашение высказаться о «Новом мире».

«Новый мир» читаю со студенческих лет. С начала 50-х (война и военная служба исключала «контакт» с журналом). Подписником журнала состоял около тридцати лет. Последние пять лет по финансовым мотивам от подписки отказался. Но регулярно читаю журнал, пользуясь услугами библиотек.

«Новый мир» для меня явился и продолжает оставаться одним из немногих оазисов высокой духовной культуры. Сегодня еще в большей мере, поскольку «Новый мир» — одна из тех немногих ценностей, которые образуют элитарную культуру и выступают вдохновляющей антитезой безудержному разгулу массовой культуры и всеобщей культурной деформации.

«Новый мир» был очень важен для становления моего мировидения, особенно в 60-е годы, когда он был камертоном передовой общественной мысли, и, конечно, в последнее десятилетие. Немало материалов журнала были значимы для формирования моих лекционных курсов и особенно спецкурса по российской истории

XIX — XX веков и в исследовательских разработках. Некоторые фрагменты журнальных публикаций вошли в фактическую ткань моих научных работ.

В силу профессиональной принадлежности для меня наибольший интерес в журнале представляли историко-художественный и публицистический разделы журнала. Среди публикаций прошедшего года я бы отметил работы А. Солженицына, Ю. Каграманова, М. Фейгина, П. Перцова, Е. Крашенинниковой (эюд о М. Юдиной), В. Шенталинского, дневники И. Дедкова.

Превосходен в журнале раздел рецензий, думается, он наилучший среди других «толстых» изданий. Новомировские рецензии имеют высокую самостоятельность. Но еще важнее для нас, читателей, то, что они позволяют в первом приближении познать книги, недоступные из-за цен, а в библиотеках ближнего зарубежья они могут вообще не появиться, в лучшем случае — с немалым запозданием.

Уникальна в журнале аннотированная библиография текущей периодики (иногда и книг). Она дает ориентир в калейдоскопе журнальных и даже (!) газетных публикаций и позволяет «держаться руку» на пульсе современной литературной и в некоторой степени общественно-политической жизни России.

Почти всегда интересна редакционная почта — как по своему тематическому ракурсу, так и содержательностью.

Что касается литературно-художественного багажа журнала последних лет, то он, к сожалению, не очень выразителен. Этот итог вовсе не следует вменять журналу, он лежит за пределами его влияния, причины его в какой-то мере трансцендентны. Можно сказать о том, что отталкивает дурновкусие многих постмодернистских опусов (удачи есть — но редки), излишнее педалирование пресловутой чернухи и перебор реминисценций тоталитарного прошлого. Последняя тема, полагаю, в значительной мере себя исчерпала. Можно парировать: откуда черпать литературный материал, как не из семидесятилетней тоталитарной истории? Но драматургия постперестроечной жизни разве не дает коллизии, не уступающие «тоталитарной фактуре»? Дело здесь, видимо, в таланте.

Однако выделю повесть Ирины Полянской «Прохождение тени» (1997, № 1, 2), которую сразу же по прочтении отнес к кандидатам на «Букера». Надеюсь, что «Новый мир» еще явит нам истинные литературные премьеры.

Теперь о пожеланиях. Полагаю, что внимание журнала к текущей политике должно сохраниться. Социальные метаморфозы последнего десятилетия в России взорвали политическое сознание нашего общества. И это не только следствие последних десяти лет. Россияне и по своей ментальности, и благодаря особенностям общественного развития страны в течение последних двух столетий достаточно «политизировались», и это то, что отличает нас от Запада. Впрочем, значительная часть нашего общества еще остается во власти посттоталитарных иллюзий, в сущности — политического сна.

Было бы более современным практиковать в журнале такую форму литературного творчества, как краткие, но емкие эссе. В частности, хотелось бы видеть на страницах журнала произведения западной философской, социологической мысли (типа эссе Р. Фукиямы «Конец истории»).

Хотел бы пожелать журналу более тонкого интеллектуального шарма, какой заметен в петербургских журналах «Звезда» и «Нева». Этот шарм — в частности, в деталях. И новомировцы могут его найти.

Полиграфию журнала, мне кажется, не следует менять. Здесь постоянство работает на связь времен, на традицию.

С лучшими пожеланиями

В. Л. ХАРИТОНОВ,
профессор, доктор исторических наук, 74 года.

Харьков.

Р. С. И еще одно. Для нас, русских на Украине, «Новый мир», как и другие именитые журналы, имеет особое значение. Это наш замечательный, родной русский язык, к тому же самого высокого качества. Это голос родины, судьбу которой мы здесь горячо переживаем...

«НЕСКОЛЬКО ЛИЧНЫХ ПРИМЕЧАНИЙ...»

Я оказался в свое время вовлеченным в те события, которые были связаны с публикацией «Ракового корпуса» А. И. Солженицына. Буду благодарен вам за опубликование некоторых корректив к их солженицынской версии («Угодило зёрнышко...» — «Новый мир», 1998, № 11).

Я бы не стал спорить с А. И. по поводу оценок событий, людей, движущих ими мотивов, по поводу стилистического яда, источаемого в адрес человеческого «клубка», в который он включает и меня. «Каждый пишет, как он слышит...» Но два момента, затрагивающих честь и достоинство конкретных людей, оставить без ответа не могу.

Первый — это я, Александр Дольберг, по определению А. И., «темноватый для меня эмигрант из СССР, отпущенный, когда не отпускали еще никого». Инсинуация, что, дескать, не с поручением ли от ГБ, очевидна здесь для любого советского человека. Я действительно покинул СССР, когда еще не отпускали никого. Но только отпущен не был, а ушел самоходом: в августе 1956 года во время туристской поездки в ГДР перешел в Западный Берлин (рискуя поимкой и сроком) и попросил там политического убежища. В конце года приговорен заочно Московским городским судом к 15-ти годам ИТЛ по хорошо известной А. И. статье 58.1 еще сталинского УК. В новой России реабилитирован. В свое время эта скромная история довольно широко освещалась в эмигрантской и западной печати, так что «просветиться» по ней было совсем нетрудно. А недавно о ней абсолютно независимо от меня по архивным материалам написало «Новое литературное обозрение» (№ 24 за 1997 год. Дмитрий Зубарев, «Из жизни филологов»).

Второй момент удручает меня куда глубже первого. Мне приходится вступаться за человека, которого уже нет в живых, — моего покойного друга Павла Личко. Этот словацкий журналист сыграл решающую роль в публикации «Ракового корпуса», привезя из СССР рукопись романа и, главное, заверив уважаемых издателей, что А. И. ничего не имеет против опубликования, без чего книгу бы ни в одном приличном месте не взяли. А. И. ныне утверждает, что последнее было сделано против его воли. И опять же не стал бы я теперь с ним спорить, противопоставляя его словам то, что говорил нам — и очень убедительно — 30 лет тому назад Личко — ведь не докажешь, — если бы не утверждения о гэбэшной заданности роли последнего. А вот против этого есть уже прямые и давно известные общественному мнению факты. А. И. пишет, что после 1968 года он «дальнейшей развязки» о Личко не знает. Так вот, в 1970 году того арестовали и в органах подвергли жестокому прессу — требовали компромата на Солженицына. Но он ничего не выдал и получил срок, по нашим меркам, небольшой — 18 месяцев. Но все это время его, человека с больными легкими, держали на сортировке сухого лука. Едкая пыль была для него пыткой, от которой он стал полным инвалидом — астматиком. Нормально жить и работать он никогда уже больше физически не мог. Умер, года не дожив до падения коммунизма. Трагическая эта история в свое время освещалась среди прочих в лондонском «Таймсе», разумеется, без упоминания Солженицына, а после посмертной реабилитации Личко стала сюжетом, в частности, большой программы на словацком телевидении.

Так что для А. И. вполне можно было узнать «развязку о Личко», за него, по сути, погибшем.

С уважением

Александр ДОЛЬБЕРГ.

Англия.
3 декабря 1998.

Прочитав (с опозданием) в «Новом мире» (1998, № 11) продолжение мемуаров Александра Исаевича Солженицына, я решила попросить вас опубликовать несколько коротких личных примечаний, касающихся английского издания романа «Раковый корпус».

Мне совсем непонятно, почему Александр Солженицын обрушивается как на злейших врагов именно на людей, старавшихся с самого начала приблизить его

необыкновенное творчество к читателям за рубежом бывшего Советского Союза, именно на переводчиков «Ракового корпуса» — Николаса Бетелла и Александра Дольберга и на моего мужа, словацкого журналиста и переводчика Павла Личко, которого А. Солженицын ругательно называет «коммунистом-партизаном». Коммунистом он стал во время войны, когда воевал против фашизма, и ушел из коммунистической партии в сентябре 1968 года, после оккупации Чехословакии. Я должна признаться, что для меня грубые, унижающие оскорбления Александра Солженицына были травмой, и мне не хочется разбирать их.

Теперь конкретно к обвинениям в мемуарах Александра Солженицына. Павел Личко никогда **не продавал** рукопись романа «Раковый корпус». Он был очень доволен, когда удалось опубликовать его в Лондоне в серьезном издательстве. Гонорар был богатый: Павел Личко получил 18 месяцев тюрьмы, и 18 дальнейших лет продолжалась перзекция (преследование. — *Ред.*) — до ноября 1988, когда он умер, точно за год до падения коммунизма в ЧССР. Павел Личко **никогда и никоим образом не был связан с КГБ**. Наоборот, он стал его жертвой. В 1990 году он был полностью реабилитирован.

Почему он так старался, чтобы с произведениями Александра Солженицына как можно раньше могли ознакомиться и нерусские читатели? Во-первых, Павел Личко, отличавшийся глубоким художественным чутьем, считал Александра Солженицына самым великим современным русским писателем, разоблачающее творчество которого выходит уже за рамки художества и может повлиять на развитие общества вообще.

Во-вторых, Александр Солженицын был для него символом величайших моральных качеств, и он смотрел с опасением на его дальнейшую судьбу. Павел Личко был уверен, что чем известнее будет автор и его произведения за границей, тем менее опасностей угрожает ему дома. Это убеждение показалось (оказалось? — *Ред.*) верным. Позже, когда советская власть бесстыдно сослала Александра Солженицына в ссылку, мир встретил его как уже всемирно известного писателя — частично также благодаря замечательному переводу Николаса Бетелла и Александра Дольберга. Итак, спрашивается: в чем их грех?

Александр Солженицын, по его собственным словам, не знает «разгадку» о Павле Личко. По-моему, он эту разгадку сам нашел, хотя только в скобках. «Вообразить его моим самым преданным другом, который лучше меня о моих книгах хлопочет? — с чего бы?» («Новый мир», 1998, № 11, стр. 97). Потому что такая правда, бывают и такие люди. Нравится ли это кому-нибудь или не нравится.

С уважением

Марта ЛИЧКОВА.

Братислава, Словакия.

12 февраля 1999.

В редакцию журнала «Новый мир»

ОТВЕТ

Как А. Дольберг, так и Марта Личкова в своих возражениях обходят **главное**: Павел Личко в личных встречах с моим близким другом писателем Борисом Можаяевым (при целевых приездах Личко в Москву) **дважды** получил от меня **категорический запрет** передавать на Запад «Раковый корпус» (данный мною конкретно и только для Словакии). Остаётся необъяснимым: почему он растоптал этот запрет? Почему настойчиво обманывал английское издательство, что моё желание — печатать книгу в Англии? Что вообще даёт моральное право решать за другого (да ещё кто в несвободе и в острой борьбе) и действовать прямо против его воли?

О человеке, который поставил меня под удар КГБ, а затем пережил обсуждаемые события на 20 лет, — диковато прочесть у г-на Дольберга, что он «погиб за меня».

А. СОЛЖЕНИЦЫН.

22 февраля 1999.

П Р Е М И Я

МАКСИМ АМЕЛИН



КРАТКАЯ РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ПОЭЗИИ

У поэзии есть враги, внешние и внутренние. К разряду внешних можно отнести филологов и историков литературы. Прежде всего поэзию стоило бы защитить от воинствующих филологов. Поэзия, как никакое другое искусство, своим существованием доказывает бытие Божие. Филология же, как никакая другая наука, особенно на протяжении последнего столетия, безуспешно, но с особым рвением стремится доказать обратное. Особую опасность представляют формальный и структурный методы, применяемые к поэзии. При всем могуществе разработанного ими аппарата эти методы оказались беспомощны что-либо объяснить и растолковать как поэтам, так и читателям. Если их родоначальники еще и были добродушными патологоанатомами, то уж последователи истинные маньяки-потрошители и расчленители всего и вся. Ничего нового о поэзии они не сказали, хотя и пересчитали все ее кости и ткани. Ибо основные понятия, которыми оперирует современная филология, текст и контекст, — не что иное, как труп и его парадно-похоронный наряд. Но настоящее поэтическое произведение, представляющее собой звуко-смысловое единство, несводимо к этим понятиям, поскольку является особым живым организмом, существующим по своим законам. Отдельной отповеди заслуживают прогрессистские теории. Будто бы поэзия способна развиваться, например, от классицизма к романтизму через сентиментализм или от символизма к соцреализму через футуризм. Это неверно, потому как в поэзии нет и не может быть ни прогресса, ни развития, а смену индивидуальных стилей нельзя рассматривать как движение куда бы то ни было. Здесь начинается область истории литературы. На протяжении целого столетия после Белинского и Чернышевского в России главенствовал грубо социологический подход к поэзии. В середине XX века его начал заменять другой, не менее односторонний подход, а именно — биографический. Первый уже достаточно развенчан. Основная ошибка второго заключается в подмене поэзии биографией поэта. Чтобы ничего не сказать о самих произведениях, нужно подробно осветить все, что касается мелких подробностей, в особенности интимных, жизни автора. Что за удовольствие рыться в том соре, из которого уже выросли стихи? Более того, такой подход породил особый класс литераторов, не имеющих произведений при наличии весьма интересных жизнеописаний. Жизнетворчество — отдельный жанр, но жанр не литературный. Поскольку пользы литературе превращение автора в персонаж и обратно не приносит.

Несмысленные поэты — порча поэзии изнутри. В результате массового притока в литературу малообразованных искателей привилегий у читателей отбит вкус к истинной высокой поэзии. Стремления ко мнимой понятности, призрачные старания не отрываться от народа привели к упрощенчеству. Поэзия свелась к четырехстрочной строфе, равносложным строкам, простым предложениям и тому подобному. Особым достижением считалась прозаизация поэзии, которая, как мне кажется, сродни стиранию граней между городом и деревней, между мужчиной и женщиной.

Выступление поэта Максима Амелина на встрече с читателями «Нового мира» 5 января 1999 года в московской Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева. Поводом для встречи послужило присуждение Максиму Амелину премии «Нового мира» за 1998 год.

Для того, чтобы противостоять всему вышеперечисленному враждебному воинству, нужно предпринять решительные меры. Русский язык, может быть, последний живой из значительных языков Европы. Зачем побираться, когда кладовые полны богатством? Зачем ходить в рубище, когда есть камзол с золотыми пуговицами? Для противостояния хороши все средства: разнообразие рифмы, риторические фигуры, богатая строфика, сложность русского синтаксиса. Поэзия должна и может быть приподнята над обыденностью, только тогда она станет неуязвима, только тогда она исполнит свое высокое предназначение.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «НОВОГО МИРА»!

Наш индекс 70636 в Объединенном каталоге «Подписка-99» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы также можете оформить *льготную* подписку на вторую половину 1999 года непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. *Особые льготы* предусмотрены для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, а также для ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь же можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «МК-Периодика» («Международная книга») через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в ЗАО «МК-Периодика»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67;

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Нову Мир»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Б. Акунин. Азазель. Турецкий гамбит. Первые два романа о сыщике Эрасте Фандорине. М., «Захаров-АСТ», 1998, 431 стр., 10 000 экз.

Б. Акунин. «Левиафан». Смерть Ахиллеса. Новые приключения сыщика Эраста Фандорина. М., «Захаров-АСТ», 1998, 573 стр., 10 000 экз.

Четыре романа, вышедшие в издательской серии АСТ «Стильный детектив», — попытка возродить классический детектив с учетом современных приемов построения авантюрного повествования. Стилизуется повествовательная манера русской прозы конца прошлого века, активно используются приметы стиля и атмосферы тогдашней русской жизни. В качестве героя — молодой москвич Эраст Фандорин, вовлеченный в хитросплетения московской и петербургской, а затем и международной политики. Действие каждого романа привязано к конкретному году: 1876, 1877, 1878, 1882.

Нина Берберова. Бородин. Мыс Бурь. Повелительница. Набоков и его «Лолита». М., Издательство им. Сабашниковых, 1998, 365 стр., 6000 экз.

Иосиф Бродский. Сочинения Иосифа Бродского. 2-е издание. Составление Г. Ф. Комарова. СПб., «Пушкинский фонд», 1998, 3000 экз. Том 1 — 302 стр. Том 2 — 435 стр. Том 3 — 310 стр.

А. Зорин. Дорога ночью. Стихи. М., «Центр информатики», 1998, 207 стр., 1000 экз.

У. Б. Йейтс. Кельтские сумерки. Перевод с английского, статья, комментарии Вадима Михайлина. СПб., «ИНАПРЕСС», 1998, 224 стр.

Впервые выходящая на русском языке ранняя проза Уильяма Батлера Йейтса (1865 — 1939), писавшаяся в самом конце прошлого века и представляющая, по сути, воссоздание ирландского фольклора. Издание содержит перевод трех книг Йейтса: «Кельтские сумерки», «Истории о рыжем Ханрахане», «Сокровенная проза». Этими книгами поэт «совершил тогда некий прорыв. Он сумел в перегруженный, усталый, декадентский на рубеже веков контекст английской прозы и — шире — культуры ввести совершенно новый, неисхоженный пласт — настоящий ирландский фольклор и настоящий, невыдуманный... кельтский миф... В ирландском же масштабе... он действительно стал родоначальником новой национальной — не на английский манер, пусть даже сколь угодно своеобразно скроенной — литературы» (В. Михайлин).

Лирика вагантов. Колесо фортуны. Немецкая народная поэзия. В переводах Л. Гинзбурга. Составитель Н. Р. Малиновская. М., «Зеркало-М», 1998, 189 стр., 10 000 экз.

Виктор Кривулин. Купание в Иордани. СПб., «Пушкинский фонд», 1998, 80 стр., 1000 экз.

Новая книга стихов петербургского поэта, состоящая из четырех частей: «Купание в Иордани. 1995 — 1996», «Музыкальное приношение к ограде Комаровского кладбища. 1997», «Левиафан плывет. 1998», «Реквием».

Б. Ямпольский. Избранные минуты жизни. Проза последних лет. СПб., «Акрополь», 1998, 199 стр., 2500 экз.



М. Ардов (протоиерей). Возвращение на Ордынку. СПб., «ИНАПРЕСС», 1998, 315 стр., 4000 экз.

В книгу вошло переиздание воспоминаний Ардова об Ахматовой, литературоведческие размышления о Гоголе, Зоценко, М. Булгакове и других, а также публицистика (разоблачительная), посвященная современной жизни нашего общества.

Виктор Бердинских. Вятлаг. Киров, Кировская областная типография, 1998, 336 стр., 1000 экз.

История формирования и функционирования Вятского исправительно-трудового лагеря НКВД (МВД) СССР, Вятлага, с 30-х по 60-е годы, написанная вятским историком, привлекающим богатый архивный материал и воспоминания очевидцев и заключенных.

С. Н. Булгаков. Философия Имени. СПб., «Наука», 1998, 447 стр.

Э. Дюркгейм. Самоубийство. Социологический этюд. Перевод с французского А. Н. Ильинского. Издание подготовил профессор Вал. А. Луков. СПб., «Союз», 1998, 496 стр., 5000 экз.

Переиздание классической работы одного из основателей современной социологии Эмиля Дюркгейма (1858 — 1917), впервые вышедшей в Париже в 1897 году и изданной в русском переводе в 1912 году (данный перевод стал основой и нынешнего издания). В этой работе, «отталкиваясь от частной темы, Дюркгейм приходит к концепции общества и разрабатывает механизмы общественного переустройства. Фактически книга закладывала новое понимание возможностей социологии как науки, ее новый образ, который в XX веке станет наиболее привлекательным...» (из послесловия Вал. А. Лукова). Предложенная ученым методология оказала влияние не только на социологию, но и современную историческую науку (школа Анналов), социальную антропологию, лингвистику и т. д.

Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том 1. М., «Языки русской культуры», 1998, 911 стр., 1000 экз.

Г. Иоффе, А. Нестеренко. Волчий камень. (Урановые острова архипелага ГУЛАГ). СПб., «Петербург — XXI век», 1998, 135 стр., 500 экз.

Документальное, с использованием воспоминаний бывших заключенных и архивных документов повествование об истории создания атомного оружия в СССР.

В. В. Калугин. Андрей Курбский и Иван Грозный. Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя. М., «Языки русской культуры», 1998, 415 стр., 1500 экз.

П. Козловски. Общество и государство: неизбежный дуализм. Перевод с немецкого. М., «Республика», 1998, 368 стр.

Конфуций. Уроки мудрости. Сочинения. Составление, вступительная статья, комментарии М. А. Блюменкранца. М., «ЭКСМО-пресс», Харьков, «Фолио», 1998, 958 стр., 11 000 экз.

Летопись жизни и творчества Тургенева. 1871 — 1875. Автор-составитель Н. Н. Мостовская. СПб., «Наука», 1998, 350 стр., 500 экз.

Н. Макиавелли. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998, 573 стр., 10 000 экз.

Юрий Манн. Русская философская эстетика. М., МАЛП, 1998, 382 стр., 3000 экз.

Анатолий Мариенгоф. Бессмертная трилогия. М., «Вагриус», 1998, 512 стр., 5000 экз.

Впервые — полное издание мемуаров Мариенгофа, в которое кроме известного «Романа без вранья» вошли воспоминания более поздних лет (разделы: «Мой век, мои друзья и подруги», «Это вам, потомки!»).

В. Проскурина. Течение Гольфстрема. Михаил Гершензон, его жизнь и миф. СПб., «Алетейя», 1998, 511 стр., 1000 экз.

Р. Г. Пихоя. Советский Союз: история власти. 1945 — 1991. М., Издательство РАГС, 1998, 736 стр., 1000 экз.

Автор книги, профессиональный историк, получивший доступ к закрытым ранее архивам Политбюро ЦК КПСС, КГБ, Верховного Совета РСФСР, различных министерств и прочих госучреждений, предлагает читателю прогуляться по страницам некоторых архивных папок, связанных с историей власти, точнее, борьбы за власть на самых верхних этажах нашего государства. Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Федор Степун. Встречи. Статьи, эссе, рецензии. Составитель С. В. Стахорский. М., «Аграф», 1998, 253 стр., 3500 экз.

Страх. Антология. Составление и философские маргиналии П. С. Гуревича. М., «Алетейя», 1998, 403 стр., 4000 экз.

О феномене страха и его сущности, об осмыслении его в разных культурах. «Жанр этой книги необычен: философское эссе с участием мудрецов и пророков разных времен» — своеобразная хрестоматия, составленная автором философских маргиналий, тексты которой продолжают или иллюстрируют его мысль. Представлены в извлечениях или адаптированных к уровню маргиналий тексты Шпенглера, Юнга, Камю, Паскаля, Кафки, Данте, Толстого, Хайдеггера, Беккета и других. Разделы книги: «Страх — молитва души» (представлены тексты Уэллса, Мёрдок, братьев Гримм, русской народной сказки), «Современный апокалипсис», «От смерти нет исцеления», «Феноменология страха», «Фантазии и узоры страха».

В. Е. Хализев. Теория литературы. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 1999, 398 стр., 8000 экз.

Эрос. Антология. Философские маргиналии П. С. Гуревича. М., «Алетейя», 1998, 355 стр., 4000 экз.

Антология, напоминающая по структуре книгу «Страх» (см. выше). В разделах «Любви старинные туманы», «Силы потайные», «Неодолимые возгласы плоти» представлены извлечения из текстов Лонга, Стендаля, Бердяева, Фуко, маркиза де Сада, Фрейда, Симоны де Бовуар, Цвейга и других.

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Вопросы литературы», «Время MN», «Демократический выбор»,
«День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знамя»,
«Известия», «Иностранная литература», «Искусство кино»,
«Коммерсант-Daily», «Литературная газета», «Москва», «Московские новости»,
«Нева», «Независимая газета», «Новые Известия», «Общая газета», «Октябрь»,
«Постскриптум», «Русская литература / Lettres russes», «Русская мысль», «Труд»,
«Фигуры и лица»

Федор Абрамов. Чистая книга. Незаконченный роман. Вступление, составление и комментарии Л. Крутиковой-Абрамовой. — «Нева», Санкт-Петербург, 1998, № 11.

Первые заметки для этой книги Абрамов сделал в 1958 году, первые главы были написаны начисто в 1983-м. Смерть оборвала работу над *главной* книгой, замысел которой разросся от романа о Гражданской войне на Пинеге до эпопеи, охватывающей события 1905 — 1937 годов.

Ирина Абросимова. Человек с облака. — «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 20, декабрь.

Интервью с Игорем Мальцевым, телеведущим передачи «Облако 9» (ТВ-Центр): «Я считаю, что русское кино противопоказано (видимо, нормальным зрителям. — А. В.), потому что более злого и полного насилия кинематографа нет... Если русское кино умрет, всем будет только хорошо».

Светлана Алексиевич. Чернобыльская молитва. Отрывки. — «Русская литература/Lettres russes». Revue bilingue. Paris, 1998, № 24.

Кроме фрагментов из документальной книги Светланы Алексиевич этот номер *странного* двуязычного парижского журнала включает короткие прозаические произведения Бориса Зайцева, Павла Муратова, Александра Куприна, Игоря Межуева, Любови Румарчук, Сергея Толкачева, а также стихи поэтов-имажинистов Вадима Шершеневича, Анатолия Мариенгофа и других. Сначала идут французские переводы, потом — русские оригиналы. Гонорар авторам и переводчикам не выплачивается.

А. Алтунян. Летел лебедь... — «Вопросы литературы», 1998, № 6 (ноябрь — декабрь).

Фрагмент увлекательной книги о российском политическом дискурсе «От Булгарина до Жириновского». Анализируется статья Александра Лебеда в газете «Известия» (от 14 марта 1997 года). Проблема адресата статьи. Образ автора. Логика рассуждений Лебеда, ее особенности. А также «о некоторых априорных посылах, лежащих в основе рассуждений Лебеда об исторических и политических процессах». См. другие статьи А. Алтуняна в «Вопросах литературы»: «Власть и общество. Спор литератора и министра» (1993, № 1), «Проханов и Янов» (1993, № 5), «О собирателях земли Русской. Жириновский как публицист» (1996, № 2).

Г. Амелин, В. Мордерер. Философия и литература. — «Постскрипtum», Санкт-Петербург, 1998, № 3.

«Канцона» (1931) Осипа Мандельштама — углубленный анализ стихотворения.

Юрий Арабов. Полет Гоголя. — «Искусство кино», 1998, № 11.

Эротический характер интриги «Вия».

Александр Архангельский. Один в поле воин. 80 лет Александру Солженицыну. — «Известия», 1998, № 233, 11 декабря.

Солженицын услышанный и неслышанный. Солженицын как прогност и как утопист. «Если Солженицын что-то и явил собою „городу и миру“, то не образ пророка, непогрешимого в суждениях, а пример *счастливого человека*, прожившего жизнь по своим правилам вопреки обстоятельствам».

В этом же номере «Известий» — статья Максима Соколова «Почвенный Штольц»: «...из чувства инстинктивной боязни не выдержать в интеллектуальном поединке, русское общество не восприняло „Красное Колесо“ — скучно, многотомно, занудно, маловысокохудожественно. На иной взгляд — и не скучно, и русская проза редкостная, а то, что многотомно, так, во-первых, хорошей книги много не бывает, а во-вторых, и здесь Солженицын явил себя изрядным немцем. Согласно анекдоту, русский пишет установочную статью „Россия — родина слонов“, американец — брошюру „Все, что вам нужно знать о слонах“, немец — четырехтомное „Введение в основы слоноведения“. Можно обвинить немца в тяжеловатости — но против увесистого четырехтомника по существу-то ничего не возразишь. „Повествование в отмеренных сроках“ провалилось, ибо после него надо было или менять душу, или сделать вид, что никакого повествования, собственно, и не было. В 70-х годах сходная проблема была у (западных. — *А. В.*) левых с „Архипелагом“. Горе в том, что всей немецкой основательности русского почвенника, жизнь положившего на то, чтобы показать, толковать самым непонятливым, что черно-говеенный архипелаг вырастает из земли не сам по себе, но приходит вслед радостям безоглядного прогрессизма, — оказалось все же недостаточно. Будут юбилейные речи, будут чествования, а декабрьская Москва 1998 года слишком уж похожа на увиденный Солженицыным ноябрьский Петроград 1916 года: все еще на месте, но в то же время неудержимо ползет, а красное колесо еще неспешно — но все быстрее — продолжает раскручиваться».

В статье Михаила Новикова «Проблеме Солженицына — 80 лет» («Коммерсант-Daily», 1998, № 232, 11 декабря) говорится, что «Солженицын создал себя как сложное культурное явление. Не замечать его нельзя — это стыдно. Описывать невозможно — он сам все о себе написал. Может быть, все-таки читать?»

Этот же мотив звучит в интервью с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Александром Яковлевым «Не подступиться!» («Коммерсант-Daily», 1998, № 232, 11 декабря): «Как только услышите, что Дума снова тащит на площадь памятник злодею, — читайте Солженицына».

Соизмерять личности Льва Толстого и Солженицына, с самого момента появления в литературе провозглашенного «новым Толстым», — это «как землю мерить с воздухом или воду с огнем. Это не просто и ные — это взаимоотталкивающиеся творческие стихии», — считает Олег Павлов («Русский человек в XX веке. Александр Солженицын в зазеркалье каратаевщины». — «Дружба народов», 1998, № 12). Толстой — созерцатель, Солженицын — борец. Более того: Солженицын «и есть — русский человек в XX веке, и не один он был таков; тот русский человек, что отыскал в этом веке и правду, и свободу, и веру».

Среди юбилейных публикаций можно отметить следующие: Георгий Владимир, «Список Солженицына» («Московские новости», 1998, № 48, 6 — 13 декабря) — доброжелательно-критическое прочтение солженицынской книги «Россия в обвале»; Сергей Земляной, «Неравный брак писателя с книгой» («Ex libris НГ», 1998, № 48, декабрь) — о Солженицыне-*читателе*; Игорь Золотусский, «Жизнь не по лжи» («Независимая газета», 1998, № 232, 11 декабря); Валентин Распутин, «Жить по правде» («День литера-

туры», 1998, № 12, декабрь); Алла Латынина, «Эпос, лирика и фарс. Юбилейный экран» («Литературная газета», 1998, № 51, 16 декабря).

См. также беседу с Натальей Солженицыной «Назойливая камера» («Литературная газета», 1998, № 51, 16 декабря) — исчерпывающий комментарий к истории с документальным фильмом Олеси Фокиной «Избранник».

См. также исследование Ричарда Темпеста «Геометрия ада: поэтика пространства и времени в повести «Один день Ивана Денисовича» («Звезда», 1998, № 12).

Юрий Афанасьев. Мы так и не вырвались из социализма. — «Московские новости», 1998, № 50, 20 — 27 декабря.

Ректор РГГУ не согласен с мнением, что эпоха либеральных реформ сменяется ныне эпохой коммунистической реставрации: «...на самом деле эпоха социализма заканчивается у нас лишь теперь». Россия в неизменном виде унаследовала от распавшегося Союза социалистическую экономическую географию. «Я не хочу сказать, что я знаю, где выход».

Ахматовский мотив в письмах А. В. Белинкова к Ю. Г. Оксману. Вступительная заметка, публикация и комментарий В. Абросимовой. — «Знамя», 1998, № 10.

Письма А. В. Белинкова к Ю. Г. Оксману 1961 — 1962 годов и комментарии к ним в какой-то мере проясняют, почему у автора книг о Тьяньане и Олеше не получилась задуманная работа об Ахматовой. Фрагменты писем публикуются по автографам из личного фонда Ю. Г. Оксмана в РГАЛИ.

Георгий Бен. «Они посажены при Сталине». Письмо ученому другу С. Н. Семанову. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 12.

Письмо из Лондона в Москву: жесткая полемика с апологетическим сочинением С. Н. Семанова и В. И. Кардашова «Иосиф Сталин: жизнь и наследие».

Харольд Блум. Шекспир как центр канона. Глава из книги «Западный канон». Перевод с английского Т. Казавчинской. — «Иностранная литература», 1998, № 12.

Отчаянная попытка американского литературоведа защитить традиционную иерархию культурных ценностей от торжествующих сторонников «мультикультурализма», «политической корректности» и прочих новомодных идеологий. В качестве предисловия напечатана статья Алексея Цветкова «Огонь на себя», в качестве полемического послесловия — статья Михаила Ямпольского «Литературный канон и теория „сильного“ автора».

Дмитрий Бобышев. Гости двенадцатого удара. О сегодняшнем восприятии поэмы Блока, Кузмина и Ахматовой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 12.

«Двенадцать», «Форель разбивает лед», «Поэма без героя».

Леонид Бородин. Трики, или Хроника злобы дней. Роман. — «Москва», 1998, № 11, 12.

«Москва горела синим пламенем, не вгорая». После исторической повести о Марине Мнишек «Царица Смуты» Бородин написал роман о современности. До перестройки и после. Друзья юности. Столичный омут. Интеллигенция. Диссиденты. КГБ.

Лиля Брик. Любовь и долг. Сценарий. Предисловие, публикация и примечания Валерия Босенко. — «Искусство кино», 1998, № 10.

Сценарий («сатира на заграничную коммерческую кинохалтуру»), рассмотренный и запрещенный Главреперткомом в январе 1929 года.

Иосиф Бродский. Памяти Стивена Спендера. Перевод с английского Дмитрия Чекалова. — «Знамя», 1998, № 12.

Перевод эссе сделан по изданию: Brodsky Joseph. On Grief and Reason. N. Y., 1995.

Петр Вайль. Квартира на площади (Афины — Аристофан, Рим — Петроний). — «Иностранная литература», 1998, № 12.

Этим эссе завершается увлекательная авторская рубрика Петра Вайля «Гений места» (1995, № 2, 4, 12; 1996, № 8, 11, 12; 1997, № 6, 7, 11, 12; 1998, № 2, 4, 6, 8, 10).

В. Влащенко. Печальная повесть о горестной судьбе. — «Вопросы литературы», 1998, № 6 (ноябрь — декабрь).

К 200-летию Пушкина. О «Станционном смотрителе». Тут же напечатаны статьи Л. Скоковой «Заметки о хронологии в „Евгении Онегине“» и П. Соловьева «„Questa è una figura“ (Еще раз об отношении Пушкина к Александру I)».

Владимир Войнович. Либерал против либерализма. — «Демократический выбор». Газета объединенных демократов. 1998, № 50, 17 — 23 декабря.

Непроизнесенная речь писателя на Учредительном заседании оргкомитета коалиции праоцентристских сил. Наши демократы были недостаточно радикальны. «Суд над

компартией» был фарсом, раковую опухоль не вырезали. Демократам не надо называть себя «правыми» (Ле Пен — правый, Жириновский — правый), не надо называть себя «либералами» (в сознании масс либерал — что-то мягкое, аморфное, готовое к полумерам).

Андрей Воронцов. Булгаков и Сталин. — «День литературы», 1998, № 11, 12.

Булгаков так и не понял, что именно понравилось Сталину в «Турбиных» и что именно хотел от него Сталин.

Людмила Вязьмитинова. От полыньи Полины к снам Пелагеи Ивановны (поэзия поколения 90-х). — «Знамя», 1998, № 11.

См. также статью Владимира Славецкого «Обратная перспектива. („Амелинский сезон” в поэзии конца века)» в «Новом мире» (1998, № 9).

Алексей Галущенко. Россия, которую мы обретем. — «Независимая газета», 1998, № 242, 26 декабря.

Студент третьего курса МИФИ пишет в газету о том, что спасать надо не наши иллюзии, а страну. «Тип государственного устройства, который наиболее отвечает нуждам России, — авторитарный капитализм типа франкистской диктатуры, в исторически обозримый период (30 — 40 лет) переходящий в европейскую демократию».

Анна Гарднер. Лужков и Гоголь. — «Коммерсант-Daily», 1998, № 237, 19 декабря.

В здании Токобанка на Краснопресненской набережной художники-митьки Константин Батынков и Николай Полищкий провели акцию «Маниловский проект». Она происходила в одной из двух стеклянных башен на здании Токобанка, залезание в которые не предусмотрено архитектором (туда можно попасть через люк по приставной лестнице-стремянке).

Дальше цитирую: «Долезши, они (приглашенные. — А. В.) оказались в состоянии радостного недоумения. Радостного, потому что долезли. Недоумения, потому что непонятно, зачем архитектор построил эти башни. Вокруг расстилалась Москва, сплошь усыпанная такими же стеклянными башнями... Внизу растекалась Москва-река с пешеходным мостом в непостроенный центр Сити. Присутствующие не понимали, зачем их сюда позвали и зачем это все построили. Тут и был зачитан текст писателя Гоголя о Манилове. „Он думал, как хорошо было бы жить на берегу реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом крупнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву”. И все поняли, откуда есть пошла современная архитектура. Это — „маниловский проект”, замысел великого русского утописта, воплощенный Юрием Лужковым».

Владимир Глоцер. «Мы жили каждым его шагом». Беседовал Александр Вознесенский. — «Ex libris НГ», 1998, № 48, декабрь.

«Эта книга необычайная по тону. И вообще юбилейные книги делать не нужно — это советская черта...» Речь идет о книге «Слово пробивает себе дорогу. Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962 — 1974» (М., «Русский путь», 1998), еще в конце 60-х ее втайне составили Елена Чуковская и Владимир Глоцер при участии Лидии Чуковской.

Александр Горбовский. Магия и власть. — «Знамя», 1998, № 10, 11.

Президентская клятва на конституции (Библии, Коране...) как магический ритуал. Тайное имя. Политическое застолье. Магия места.

Нина Горланова, Вячеслав Букур. Деятины. Рассказ. — «Знамя», 1998, № 11.

См. также рассказ Нины Горлановой «Лав стори» («Звезда», 1998, № 11) и ее «Рассказы о чудесах» («Новый мир», 1998, № 12). Оригинальное название рассказа, опубликованного в «Звезде», почти совпадает с названием повести Галины Щербаковой «Love-стория» («Новый мир», 1995, № 11); впрочем, писатели друг друга не читают, — может, название популярного американского романа все еще носится в нашем воздухе.

Даниил Гранин. «Перестал быть советским». Беседу вели Юрий Лепский, Ольга Соломонова. — «Труд», 1998, № 240, 26 декабря.

«Понимаете, я ведь в силу моей профессии постоянно ставлю себя, так сказать, на место персонажа... Ну вот представьте себе, что вы — президент и еще не знаете ни результатов, ни количества жертв, ни страшных последствий чеченской войны. И вот к вам приходят Грачев и другие люди, к которым вы относитесь с доверием, профессионализм которых не вызывает у вас сомнений. И они говорят вам, что для наведения конституционного порядка им потребуется максимум три-четыре дня. Какое решение вы примете? Сегодня на его месте я знаю, каким было бы ваше решение. Но тогда — как бы вы поступили тогда?.. Словом, я его понимаю по-человечески, это, если хотите, моя профессия».

Иван Есаулов. Жертва и жертвенность в повести М. Горького «Мать». — «Вопросы литературы», 1998, № 6 (ноябрь — декабрь).

О евангельских параллелях, сознательно вводимых Горьким.

См. также статью Игоря Сухих «Между Марксом и Богоматерью (1906 — 1907. „Мать” Горького)» в его авторской рубрике «Книги XX века» («Звезда», 1998, № 10).

Андрей Zubov. Единство и разделения современного русского общества: вера, экзистенциальные ценности и политические цели. — «Знамя», 1998, № 11.

В апреле 1997 года Институт социологического анализа провел по полной социологической выборке всероссийский опрос по трем блокам: отношение к основополагающим жизненным ценностям, отношение к вере, отношение к актуальным политическим проблемам. «Российское общество оказалось глубоко разделенным по отношению к экзистенциальным ценностям. Но, что примечательно, вполне подготовлено к разговору о них». Одна из самых *существенных* публикаций последнего времени.

Наталья Иванова. Хроника остановленного времени. — «Дружба народов», 1998, № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Литературная хроника перестроечного/постперестроечного десятилетия. Имена и тенденции. *Движение* литературы. Проект завершен. В декабрьском номере «Дружбы народов» за прошлый год напечатан «постскрипtum» к этой хронике, он состоит из заметок Натальи Ивановой «Алфавит на борту ноева ковчега современной словесности», а также размышлений Александра Архангельского, Михаила Новикова, Валентина Курбатова и Леонида Бахнова.

Новый проект Натальи Ивановой «Советская цивилизация» будет разворачиваться на страницах «Знамени», он открывается ее статьей «Личное дело Александра Фадеева» («Знамя», 1998, № 10).

Игумен Иннокентий (Павлов). Термины и ярлыки. — «НГ-Религии», 1998, № 11, декабрь.

О том, что расхожие выражения «либерал», «модернист» или, напротив, «фундаменталист» на самом деле неприменимы *ни к какому* современному деятелю Русской Православной Церкви. Противников церковного обновления автор статьи предпочитает называть «интегритами» (от лат. *integratus* — целостность), считая «интегризм» одной из серьезных опасностей для миссии Православной Церкви в современной России.

В. Кантор. «Принцип христианского реализма», или Против утопического своеволия. — «Вопросы литературы», 1998, № 6 (ноябрь — декабрь).

Книга Семена Людвиговича Франка (1877 — 1950) «Свет во тьме» (1949) — интеллектуальный ответ русского философа на катастрофы, обрушившиеся на Европу в двадцатом столетии. Утопизм как дорога к «власти тьмы».

См. также рецензию Юрия Кублановского («Новый мир», 1997, № 10) на недавнее издание работ С. Л. Франка «Русское мировоззрение».

Константин Кедров. Пиррова победа кайзера Вильгельма. — «Новые Известия», 1998, № 239, 19 декабря.

«У всякого, кто прочтет эту сенсационную, но вполне добросовестную книгу (Элизабет Херш, „Николай II”, Ростов-на-Дону, 1998. — А. В.), не останется ни малейшего сомнения в том, что так называемая Октябрьская революция была целиком и полностью инспирирована и оплачена немецким генштабом».

Николай Климонтович. И питается не шами. Из цикла «Подстрочник». — «Октябрь», 1998, № 12.

О том, как в конце 60-х в московской математической школе № 2 Анатолий Якобсон преподавал литературу Николаю Климонтовичу.

Юрий Коваль. «Я всегда выпадал из общей струи». Экспромт, подготовленный жизнью. Беседу вела Ирина Скуридина. — «Вопросы литературы», 1998, № 6 (ноябрь — декабрь).

Не предназначавшаяся для публикации беседа задумывалась бывшим литсекретарем Ковале И. Скуридиной в начале марта 1995 года как рабочий материал статьи о Ковале для словаря «Русские писатели XX века. 500 имен».

Геннадий Красников. Веселое имя — Тряпкин. — «Независимая газета», 1998, № 229, 8 декабря.

За последние десять лет у поэта не вышло ни одной книги. «В последние два года Николай Иванович Тряпкин тяжело болен. Он попросил убрать из своей комнаты все календари и часы. Не знает ни дня, ни времени. В руки берет только две книги — томик Лермонтова и Библию». К 80-летию писателя.

Станислав Куняев. «Коммунисты, назад!» — «День литературы», 1998, № 12, декабрь.

Глава из мемуарной книги. Очерк-приговор об Александре Межирове. Личность, поэзия, история отношений. Фрагменты переписки. «Я прожил жизнь и умру в России» (из письма Межирова Куняеву, осень 1980 года). Замечательная сцена: на квартире у Глушковой, «словно посланцы потусторонних сил, мы сражались с ним (Межировым. — А. В.) за ее душу, а Татьяна, еще колебавшаяся, стоит ли ей прибавиться к русскому стану, ждала исхода поединка». К утру русский ангел победил еврейского беса, измученный искуситель пообещал: «Не радуйтесь, она и от вас уйдет...»

См. стихотворные подборки А. Межирова «Вавилонские реки» («Новый мир», 1998, № 8), «Стихи о творчестве» («Вопросы литературы», 1998, № 6), «Не забывай меня, Москва моя...» («Литературная газета», 1998, № 38, 23 сентября).

Михаил Кураев. Актуальный Чехов. Заметки о классике. — «Дружба народов», 1998, № 12.

Чехов как альтернатива свинцовым мерзостям (естественно, сегодняшней) жизни. Среди прочего: сравнивается повесть Романа Солнцева «Иностранцы» («Новый мир», 1997, № 6) с рассказом Лескова «Язвительный» и «Новой дачей» Чехова.

Владимир Личутин. В час отчаяния не остави нас, Господи! — «День литературы», 1998, № 12, декабрь.

Писатель о греховном искусе самоубийства.

Натан Мильштейн (в соавторстве с Соломоном Волковым). Рахманинов, каким я его знал. — «Знамя», 1998, № 11.

Глава из мемуарной книги знаменитого скрипача Н. М. Мильштейна (1903 — 1992) «Из России на Запад».

Олеся Николаева. Ты есть то, что ты имеешь... Как потребление делается преобладающим кодом постмодернистского сознания. — «Независимая газета», 1998, № 236, 18 декабря.

Глава из книги Олеси Николаевой «Православие и современная культура». В частности о том, как в общественное мнение внедряется мысль, что *любое* неприятие модернизма есть фашизм, что любая «традиционная» религия тождественна фашизму. Фашизм в данном случае не обозначает собой никакой реальности, это симулякр, пугало. «Весьма вероятно, что новые гонения на Церковь начнутся именно под лозунгами борьбы с фашизмом...»

Юрий Никулин. Письма рядового. Предисловие Алексея Германа. Публикация Татьяны Никулиной. Примечания Марата Вайнтрауба. — «Искусство кино», 1998, № 12.

Юношеские письма из армии, август 1940 — июнь 1941 года.

Александр Образцов. Улица. Диалоги. — «Постскриптум», Санкт-Петербург, 1998, № 3.

Голоса улицы. Подслушанные или сочиненные. Захватывающее чтение.

Пьер Паоло Пазолини. Свиноарник. Предисловие Олега Аронсона. Монтажная запись по фильму и перевод Н. Ставровской. — «Искусство кино», 1998, № 8.

Текст известного фильма «Свиноарник» (1969); не сценарий, а запись по фильму.

Борис Парамонов. Культура и отдых в Нью-Йорке. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 12.

«Философский комментарий»: Вуди Аллен и Вячеслав Иванов.

Алексей Пурин. Недоумение и тоска. — «Постскриптум», Санкт-Петербург, 1998, № 3.

Иннокентий Анненский — «самый философический русский поэт XX века». Русский литературный модерн — «стиль экзистенциальной надежды». См. также в этом номере «Постскриптума» статью Алексея Кокотова «Не только об Анненском».

О поэзии Анненского см. обстоятельные статьи А. Барзаха «Бывает ли „нерусская“ тоска?» («Urbі»). Выпуск восьмой. Санкт-Петербург, 1996) и «Тоска Анненского» («Митин журнал», Санкт-Петербург, 1996, № 53), а также эссе Александра Кушнера «Среди людей, которые не слышат...» («Новый мир», 1997, № 12).

Мария Ремизова. Печально я гляжу... Премию Букера получило произведение, написанное в 1968 году. — «Независимая газета», 1998, № 233, 15 декабря.

«Я не современный писатель», — сказал Александр Морозов в ответном слове при вручении ему премии Букера за написанный им тридцать лет назад роман «Чужие

письма» («Знамя», 1997, № 11). «Стоит ли рассматривать этот жест букеровского жюри как некий символ, означающий неверие в современную литературу? Нет правильного пути в неправильных обстоятельствах. Сделать другой выбор при такой шестерке (финалистов. — А. В.) действительно было невозможно. Но надо ли было выбирать такую шестерку?» — размышляет Мария Ремизова.

Со своей стороны добавлю, что только из шести *новомировских* произведений, попавших в «длинный» букеровский список («Дом в деревне» Алексея Варламова, «Роман с простатитом» Александра Мелихова, «Б. Б. и др.» Анатолия Наймана, «Прохождение тени» Ирины Полянской, «Грибники ходят с ножами» Валерия Попова, «Митина любовь» Галины Щербаковой), можно было бы составить неплохой «шорт-лист», гораздо более занимательный и разнообразный, чем составленный букеровским жюри.

Владимир Рецептер. «Мы все из „партии Пушкина“». Беседу вела Любовь Лебедина. — «Труд», 1998, № 238, 24 декабря.

Известный актер, исследователь пушкинской «Русалки»: «Пушкина лучше играть на голодный желудок».

Дэни Родрик. Тысяча разных капитализмов. — «Независимая газета», 1998, № 242, 26 декабря.

Американский профессор политэкономии о том, что идея глобального капитализма во всемирном масштабе неосуществима, потому что капитализм — *национальное* явление. Успешно работающих моделей капитализма столько же, сколько индустриально развитых стран. Не набор единых правил функционирования мировой экономики, а — режим мирного сосуществования национальных капитализмов.

Натали Саррот. «Я постоянно пытаюсь найти форму...». Перевела с французского Зара Абдуллаева. — «Дружба народов», 1998, № 12.

«Я убеждена в том, что те, кто любят читать, — читают, а те, кто не любят, — смотрят ТВ. Думаю, это свойства врожденные, их можно развивать, но не влиять на них». Фрагменты бесед знаменитой французской писательницы с актрисой Изабель Юппер и критиком, режиссером Арно Рикнером.

Феликс Светов. Ветвь, полная цветов и листьев. Рассказ. — «Знамя», 1998, № 10.

О романе Феликса Светова «Отверзи ми двери» («Новый мир», 1991, № 10, 11, 12) см. статью А. Солженицына в январском номере «Нового мира» за этот год.

А. Смирнов. Ячменное «я». — «Вопросы литературы», 1998, № 6 (ноябрь — декабрь).

История русских переводов баллады Роберта Бёрнса «Джон Ячменное Зерно». Английский оригинал, подстрочный перевод, стихотворные переводы Осипа Сенковского, Михаила Михайлова, Эдуарда Багрицкого, Самуила Маршака, а также еще одна, «расширенная», русская версия баллады, принадлежащая самому автору статьи и более адекватная с точки зрения *процесса пивоварения*.

Юрий Соломонов. Жень, Женечка и Евтух... — «Общая газета», 1998, № 51, 24 — 30 декабря.

«Возможно, что ощущение себя уходящей натурой как раз и бросает его (Евтушенко. — А. В.) на каждодневную борьбу с собственным возрастом, с временем, которое хочется остановить».

Подборку новых стихотворений Евтушенко «Благодарю Вас навсегда...» см. в «Литературной газете» (1998, № 52, 23 декабря).

Игорь Сухих. Прыжок над историей. (1911 — 1913. «Петербург» А. Белого). — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 12.

Рубрика «Книги XX века». О «Петербурге» Андрея Белого см. также статью А. Солженицына в «Новом мире» (1997, № 7).

Виктор Топоров. Когда тайное становится... скучным. — «Постскриптум», Санкт-Петербург, 1998, № 3.

«Самиздат — это не результат, а процесс, — и историю процесса надо писать, а не антологию результатов составлять». Результат же смехотворен, считает Виктор Топоров, а «литературного самиздата как такового не было вовсе». Роскошный фолиант «Самиздат века» (Москва — Минск, 1997), о котором идет тут речь, уже вызвал критические отклики в разных изданиях. См., например, язвительную статью Наума Ефремова «Итоги подмены» («Индекс/Досье на цензуру», 1998, № 2), который, кстати, видит в самиздате *систему коммуникаций, а не способ самовыражения*.

Леонид Филиппов. *Ноггор vasuli*. О маленьких хитростях дурацкого дела. — «Знамя», 1998, № 10.

О прозе Пелевина. Воображаемый «круглый стол», составленный автором статьи из разрозненных высказываний Александра Архангельского, Дмитрия Быкова, Натальи Ивановой, Андрея Немзера, Ирины Роднянской, Алексея Слаповского, *Александра Пушкина, Дмитрия Лисарева* и других. Автор преподает физику и литературу в Петербурге.

Сергей Фомин. «Стихи пронзившая стрела». Тема творчества в поэзии Набокова. — «Вопросы литературы», 1998, № 6 (ноябрь — декабрь).

Проблема «избыточного стиля». Предельный лиризм. Творчество Набокова не беспочвенно, он — не космополит.

Священник Георгий Чистяков. Умирание или эвтаназия? — «Русская мысль», Париж, 1998, № 4248, 3 — 9 декабря.

«Когда у человека остается совсем немного времени на земле, когда силы исчезают с каждым днем, а физические страдания увеличиваются, он на глазах становится другим, парадоксально вырастая из своих слабостей и преодолевая тот потолок, которым он, казалось, уже навсегда был ограничен в своем развитии. Не дать человеку пережить эти дни — недопустимо.

Удивительно много дают эти дни и тем, кто остается с больным один на один, проводит с ним время — в разговорах или молча, но всегда прикасаясь к сердцевине бытия. Это страшно, но необходимо. Беда сегодняшней цивилизации заключается в том, что в большинстве случаев наши родные и друзья, а потом и мы сами умираем в больнице, в изоляции от реальности, вдали от родных и друзей. В страшном одиночестве больницы. Сегодня человек умирает неслышанным».

Игорь Шайтанов. Уравнение с двумя неизвестными. Поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский. — «Вопросы литературы», 1998, № 6 (ноябрь — декабрь).

См. также статью Вяч. Вс. Иванова «Бродский и метафизическая поэзия» («Звезда», 1997, № 1).

Карл Ясперс. Ван Гог. Перевод с немецкого и вступительная заметка Г. Ноткина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 12.

Фрагмент книги К. Ясперса «Стриндберг и Ван Гог» (1922).



ДАТЫ: 29 апреля (12 мая) исполняется 90 лет со дня рождения прозаика Юрия Осиповича Домбровского (1909 — 1978); 10 (22) апреля исполняется 100 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (1899 — 1977); 4 (16) апреля исполняется 100 лет со дня рождения Константина Константиновича Вагинова (1899 — 1934).

Составитель **Андрей Василевский.**

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Апрель

10 лет назад — в № 4 за 1989 год напечатаны повесть Сергея Каледина «Стройбат», «Близкое ретро, или Комментарий к общеизвестному» Андрея Битова и начало романа Анатолия Кима «Отец-лес».

55 лет назад — в № 4-5 за 1944 год напечатана драматическая сказка С. Маршака «Двенадцать месяцев».

65 лет назад — в № 4 за 1934 год напечатана поэма Эдуарда Багрицкого «Трактир» и начало романа Вс. Иванова «Похождения факкира».

70 лет назад — в № 4 за 1929 год началась публикация повести Михаила Пришвина «Журавлиная родина».

SUMMARY



The poetry of the issue is presented by new poems by Yuri Kublanovsky, Vera Pavlova and Ilya Falikov.

We are publishing the narrative «Pinochet» by Boris Yekimov, the short story «Writer's Day» by Fazil Iskander and the mystery-play «The Boat» by Georgy Ball.

The section «Polemics» contains a letter written by Alexander Nosov to our magazine's regular author Tatyana Cherednichenko, as well the reply by the latter.

In the section «World of Science» famous Russian geneticist Leonid Kurochkin and philosopher Irina Siluyanovna write on the problems of bioethics and the impact of the latest genetic researches on public life.

The section «Far Nearness» is presented by extracts from the correspondence between Friedrich Nietzsche and Gottfried Keller, Georg Brandes, August Strindberg (translation by Igor Ebanoidze).

In the section «Writer's Diary» Alexander Solzhenitsyn writes about his meetings with Varlam Shalamov.

In the series of publications connected with the 200th anniversary of Alexander Pushkin, in the section «Les Essais», we are publishing the essay «Pierrot Belkin» by Dmitry Shevarov.

Literary criticism of the issue is presented by the article «The Generation Overtaken by Dusk» by Vladimir Antonenko.

Irina Rodnyanskaya is the author of our traditional section «In the Course of the Text».

In the issue we are also publishing some letters by our readers and «A Brief Speech in Defence of Poetry» delivered by poet Maxim Amelin at the ceremony of presenting him with the prize of the «Novy Mir» magazine for 1998.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. Е. Борщевская, М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко (редактор электронной версии журнала), Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, А. А. Носов,

И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Технический редактор Л. Б. Левова

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики — 229-25-83, историко-архивный отдел — 209-12-50,

для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@deol.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.12.98 г. Подписано к печати 24.02.99 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 п. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 14 950 экз. Зак. 5118. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»

Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

В 1999 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Дух времени и чувство юмора (речь перед австрийской аудиторией);

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);

МИХАИЛ АРДОВ. Вокруг Ордынки (портреты);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Затеси (новая тетрадь);

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

ЯН ГОЛЬЦМАН. Пустынные песни (повесть);

ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);

ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники 1980-х годов;

МАРИНА ДУРНОВО, с участием **ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.**

Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);

БОРИС ЕКИМОВ. Житейские истории;

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. После инфаркта (повесть);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Читающая вода (роман);

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);

МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);

ВИТАЛИЙ СВИНЦОВ. Достоевский и «отношения между полами»;

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Один в зеркале (роман);

АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. День денег (плутовской роман);

А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Путешествие с... (роман);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА**, **АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА**, **ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА**, **МАРКА КОСТРОВА**, **МИХАИЛА КУРАЕВА**, **ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА**, **АНТОНА УТКИНА**, стихи **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА**, **СЕМЕНА ЛИПКИНА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ**, **ЕВГЕНИЯ РЕЙНА**, статьи, эссе **АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО**, **СЕРГЕЯ БОЧАРОВА**, **РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ**, **НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА**, **АЛЕНА ЗЛОБИНОЙ**, **ЮРИЯ КАГРАМАНОВА**, **АНДРЕЯ НЕМЗЕРА**, **ВЛАДИМИРА НОВИКОВА**, **ИРИНЫ СУРАТ** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**